

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Ч Е Т В Е Р Т А Я

А П Р Е Л Ь

---

М О С К В А  
1 . 9 . 2 . 9

Москва, Главлит А 35.845

СТАТ — формат В/5

Тираж 21.000, экз.

Типография им. тов. И. И. Скворцова-Степанова. «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Москва.

## СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр</i>
1. Мих. ПРИШВИН. — Журавлиная родина, <i>повесть</i> . . . . .	5
2. Георгий НИКИФОРОВ. — О майдане, сдобном пироге и женщине ( <i>рассказ бригадира</i> ) . . . . .	21
3. О. МАНДЕЛЬШТАМ. — А небо будущим беременно... <i>стихотв.</i>	41
4. Георгий ШТОРМ. — Повесть смутного времени о Ивашке Болотникове . . . . .	43
5. Евг. ЗАБЕЛИН. — В тайге, <i>стихотворение</i> . . . . .	82
6. С. МАРКОВ. — Путешествие в Пишпек, <i>стихотворение</i> . . . . .	83
7. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. — Дороги, <i>рассказ</i> . . . . .	85
8. АДАЛИС. — Два стихотворения . . . . .	90
9. Вл. ЛИДИН. — Искатели, <i>роман</i> , окончание . . . . .	92
10. И. САДОФЬЕВ. — Песня, <i>стихотворение</i> . . . . .	132
— — — — —	
11. М. И. КАЛИНИН. — К V Съезду Советов СССР . . . . .	133
12. Бела САНТО. — Из воспоминаний о советской власти в Венгрии	139
13. ЭГОН ЭРВИН КИШ. — За кулисами статуи Свободы . . . . .	155
14. Галина СЕРЕБРЯКОВА. — Клара Лакомб, союзница «бешеных»	176

### ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ.

15. А. ЛЕЖНЕВ. — Критика «критиков» . . . . .	189
16. Ник. СМИРНОВ. — Художественное творчество рабкоров . . . . .	199
17. С. ПАКЕНТРЕЙГЕР. — Заметки недоуменные . . . . .	204
18. С. ОБРУЧЕВ. — Анатолий Франс в халате и без... . . . . .	208
19. Бор. КУШНЕР. — Арзгир . . . . .	215
20. АДАЛИС. — По Туркмении . . . . .	220
21. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету (очерки международной политики) . . . . .	230

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

А. ЛЕЖНЕВ. — А. Макаров «Путь секундной стрелки» . . . . .	241
Б. АНИБАЛ. — Н. Колоколов «Мед и кровь» . . . . .	242
Арк. ГЛАГОЛЕВ. — Ив. Тачалов «Мрачная повесть» . . . . .	242

	<i>Стр.</i>
Д. ФИБИХ. — «Дикало Замана» (записки Никиты Лукьянова) . . . . .	243
Б. ГРОССМАН. — А. Бирик. «Старый токарь» . . . . .	244
С. ПАКЕНТРЕЙГЕР. — Петро Панч «Голубые эшелоны» . . . . .	244
И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ. — К. Митрейкин «Бронза» . . . . .	245
Б. ПЕСИС. — Бела Иллеш «Тисса горит» . . . . .	246
Ник. СМЕРНОВ. — Э. Миндлин «На «Красине», Н. Шпанов «Волды за «Италий» . . . . .	247
Н. ПРЯНИШНИКОВ. — Т. Гриц, В. Тренин, М. Никитин «Словесность и коммерция» . . . . .	248
Р. ШОР. — «Сказки из разных мест Сибири» . . . . .	250
Б. ТЕРНОВЕЦ. — Я. Тугендхольд «Художественная культура Запада» . . . . .	252
Б. ГРОССМАН. — Тарас Гуца «В глуши Полесья» . . . . .	254
Л. ТИМОФЕЕВ. — Михаил Коцюбинский «Сочинения» . . . . .	254
Список книг, поступивших на отзыв . . . . .	256



# Журавлиная родина

Повесть

МИХАИЛ ПРИШВИН

## I. ЖУРАВЛИНАЯ РОДИНА

**Р**азные московские организации обратились ко мне с просьбой сотрудничать с ними в деле подготовки юбилея Максима Горького. Если бы я знал тогда, что весна в этом году нас обманет, я бы, конечно, поехал в Москву, но в природе приближалось весеннее творчество жизни, и у меня не могло быть выхода; так мне казалось, что юбилей устроят и без меня, а в природе до того все привыкло к моему сотрудничеству за множество лет, что оставить весну без себя было мне невозможно. С разными извинениями отказал я организациям, а самому юбиляру написал в Италию, что вместо всякого рода выступлений с торжественными речами напишу и посвящу ему книжечку для детей — Журавлиная родина. Не скрою теперь, что в этом названии, кроме действительной моей любви к журавлям, в отношении к Горькому скрывалась и дружеская улыбка: «лучше синицу в руки, чем журавль в небе». Намек на журавлиные посулы тем более был необходим, что Горький по всем моим письмам мог видеть, насколько лично я сам был глубоким врагом этой мещанской пословицы. Я писал Горькому, что, может быть, в этой книжке не все будет специально для детей, что скорее всего она будет обращена к детству, как источнику нашего творчества, и, как древняя сказка, будет объединять старых и малых. Вместо сказочного «в некотором царстве, в некотором государстве, при царе Горохе», я предполагаю взять большое болото, журавлиную родину, недоступную для наблюдений обычных людей, неизвестную, и сделаю ее всем близкой. Главным действующим лицом на журавлиной родине будет моя охотничья собака и с ней все животное и растительное население. Простейшие рассказы, из которых уже много написано и опубликовано в детских и общих журналах, я обновлю фонологическим их расположением в книге, начиная от самой ранней весны света и воды, времени первого пробуждения творчества в природе.

Написав Горькому, я вышел на прогулку и, вернувшись домой, написал рассказик, которым должна бы начаться книга о журавлиной родине.

### Неизвестные птицы

Двигался обоз. Передний мужик вдруг остановился. Все поневоле за ним остановились.

— Чего ты?

— А вот поглядите!

Охотно встали мужики поразмять ноги, покурить. И увидели они на рыжей, выбитой ногами, как рубель, дороге стайку маленьких птиц. Бывают на дороге желтые овсянки, синицы с черными галстуками, красные снегири, пестрые щеглы, сойки с голубыми крыльями, но таких в обыкновенное время у нас не бывает и какие они, сразу рассмотреть и понять было невозможно.

— Это не наши!—сказали мужики.

В это время из леса послышалось—весенний дятел заиграл свое обыкновенное:

— Плыть, плыть, плыть!

Кто-то в обозе сказал:

— Слышите, птичка в лесу поет плыть?

Докурив, мужики поехали дальше, до адываясь, что скоро будет вода. Потом они, когда вернулись домой, приступили к первой весенней работе—распилке сырых дров. За лето эти дрова высохнут и потом зимой хорошо будут гореть. Так, при самом первом движении весны у мужика шевелится мысль о запасе на зиму.

## II. ЗАГОВОР МОЛЧАНИЯ

Весна задержалась, все в природе ужасно расстроилось, замерзающие грачи с полей бросились во дворы к людям под защиту, линяющие звери, ложась в мокрый снег, примерзали ночью и оставляли на лежках множество шерсти. Все это на меня сильно действовало и очень расстраивало «Журавлиную родину». Садись писать о зверях и вместо этого запишешь воспоминание о каком-нибудь учителе своем из далеких времен. Вот вспомнилось, когда, бывало, в гимназическом саду зацветают яблони, а нам приходится готовиться к экзамену, учитель нам говорит: «Человек не должен поддаваться влиянию погоды». Отгуляв лето, осенью мы бывали покойны, а у нашего учителя каждый день болела голова от неприятностей каторжной службы в казенной гимназии. Моросит за окном ноябрьский забойный дождь. Учитель сидит бледный, хмурый, вызывает одного урок отвечать, вдруг вспыхивает, ставит ему единицу с размаху и с яростью, другому ставит, третьему, вижу несправедливость, вижу, до себя дойдет, поднимаюсь и говорю, показывая на окно: «Павел Васильевич, человек не должен поддаваться влиянию погоды».

Ранней весной, ничуть не уменьшаясь с годами, тревога бросает меня из стороны в сторону, и по опыту я узнал, что так и надо бросаться, пока не уходишься. В этот раз меня обманула кажущаяся лег-

кость детской книжки, она привязала в неурочное время к столу, и я больше рисую головки, как школьник, чем занимаюсь работой, а если пишу, то совсем не о том. Журнальные статьи стали впиваться в меня. Сегодня я прочитал в газете замечательную вещь о писателях, страшно рассердился, обиделся и написал себе в тетрадку ответ:

«Во мне самом есть целая деревня с довольно сложным хозяйством, где Я мое, как литератора, занимает место не последнее в десятке. Мой литературный талант или гений в этом семейно-деревенском хозяйстве, однако, не имеет особенных привилегий сравнительно, например, со мной, как охотником, отцом, другом. Здесь, при домашних свидетелях, я, как писатель, просто свой человек со всеми слабостями, удивления моему гению в семье нет никакого: смотрят в моей семье на это все, как на дело, свойственное всякому, кто достоин носить имя мужа. Самоопределение мое в обществе других талантов спокойное. Правда, горизонт мой в сравнении с другими талантами может быть узеньким, влияние на людей сравнительно ничтожным, но пятка моя здорово упирается в землю, и макушка стремится в высь с такой силой, как у подлинного гения. Я буду улыбаться глупенькому читателю или критику, измеряющим писателей метрами, буду снова драться и безобразничать, если, как в 20-м году, комиссия знатоков литературы в отношении академического пайка поставит меня во вторую или третью категорию, буду раздавать все, как Максим Горький, если поставят выше категорий, пропивать, как Есенин, а может быть, как Лев Толстой, переведу все на жену. Одним словом, я не признаю со стороны этого суда по «больше и меньше», — в действительном творчестве все равны. Бывает, я подумаю про себя: «чем мои детские и охотничьи рассказы хуже толстовских и чем мой Курымушка хуже его «Детства и отрочества?» Возможно, когда я возьму в руки книги Толстого, я и оробею, не скрою, однако, случилось, мелькало такое в голове. Но если спросят меня: «а можешь ли, как Гоголь?». Тогда при этом имени от меня, как писателя, ничего не остается, тут что-то действительно для меня вне категорий. Из всего этого выходит вовсе не то, что Гоголь выше Толстого, а что по характеру своего дарования я сосед Толстому, привык к нему и сужу его по-соседски, по-родственному. Напротив, Гоголь постигает мир средствами, недоступными мне, и оттого мне кажется, я просто смертный, он — бог. Вначале, пока я не расписался, не утвердился в своем хозяйстве, я никогда не называл себя писателем или поэтом, потому что на них пальцами указывают, и неприятно было определяться претенциозно в этом высоком положении среди множества людей, в разных областях молчаливо тоже принимающих участие в творчестве жизни. Неприятно вообще выдавать векселя. Если же приходилось по необходимости назвать свою профессию, то писал литератор, а устно отвечал: пишу. Теперь, я слышал, в одной Москве зарегистрировалось пятнадцать тысяч писателей и поэтов, целый корпус, вооруженный перьями. Чтобы у меня был какой-нибудь козырь в бою,

главным образом, в московских гостиницах за сносную комнату, я в своем паспорте отметил тоже писателем. Я ошибся: при множестве писателей и поэтов в Москве на меня, как на писателя, не обратили никакого внимания. Пришлось воевать более простыми и действительными приемами,—я добился положения среди служащих гостиницы, но зато зовут меня там не писателем, швейцары и конторщики меня величают а к а д е м и к о м. Вот как все изменилось. Мое старое представление о писателе, вероятно, так же далеко от действительности, как народное верование, что книга не человеком пишется, а падает с неба.

Зову я теперь себя писателем в смысле словесных дел техника, но до сих пор не смею и не разу еще нигде не сказал ни устно, ни письменно, как многие теперь говорят: мое творчество. С этим моим представлением о творце, вероятно, и в гроб лягу, что или это в отношении меня высшее существо, для которого я расчищаю путь, или, наоборот, творит всякое живое существо, достигающее цели в общем деле путем ограничения жизни своей индивидуальности. Таким творцом признаю и курицу, молчаливо сидящую на яйцах, изнемогающую от жажды и голода, хорошо знающую цель своего великого поста. Всякий делающий новую жизнь человек, в том числе и писатель, мало чем отличается: он тоже сидит, достигая цели, с той разницей, что человек имеет гораздо больше разума и может перемещать цели, курица должна непременно высидеть цыплят, а человек все может,—и цыплят, и галчат, и утят.

Сущность творческого процесса, как изживания своего «Я» в «Мы» до того общепризнано, что часто даже газетный корреспондент начинает описание словами: «Рано утром, отправляясь на место побоища, Мы сели в автомобиль...», хотя сел он один. Ловкому беллетристу едва ли встречается затруднение писать от третьего лица. Но я до сих пор с трудом могу перейти от первого лица к третьему, в начале непременно чувствую утрату силы, и только мало-помалу сживаюсь со своим «героем». Много раз в начале своей деятельности я советовался с другими, начинающими писать, и оказывалось, что так бывает со многими, что-то похожее на девственный стыд. И до сих пор отрывать имена героев своих от себя не могу без утраты, но зато, когда говорю Я, то, конечно, это Я уже сотворенное, это Мы. Мне этого Я никогда не совестно, его пороки не мои личные пороки, его добродетели возможны для всех. Люди, животные, растения, реки—все это я просматриваю как бы до дна, где их индивидуальность исчезает и воскресает личностью не в механическом смешении всех, а в ритмической связи с другими. Раньше я думал, что чувствовать себя как Мы во время писания свойственно всем, и потому научиться писать очень нетрудно. Так думают все новички, но скоро постигают всю трудность, даровитые или честные начинают делать опыты с собственной жизнью, одни из них потом становятся настоящими художниками, а то и просто мучениками, легкие люди садятся в гото-



вую форму, как в автомобиль, и едут легко и выгодно белетристами».

Я записал себе это в тетрадку, прочитав в одной литературной газете статью Заговор молчания, где автор обвинял писателей как бы в жречестве: они сговорились будто бы молчать о тайнах своего творчества, чтобы сохранить за собой возможность бесконтрольного господства над массами. Что-то до конца, до последнего предела меня задело и обидело в этой статейке. Я вспомнил то жуткое время, когда, не смея войти в редакцию, опускал бандерольки с рукописями в почтовый ящик на Малой Охте и потом с трепетом ждал ответа редакции. Я выбрал себе писательство для того, чтобы не зависеть от начальников в казенной службе и как-нибудь прокормиться. Каждый отрицательный ответ был отрицанием меня самого, моей свободы, моего куска хлеба, это вызвало во мне злобу, и мир разделился: на одной стороне был я со своим естественным правом на существование, на другой—заговорщики против меня, жрецы, негодяи. Как во всякой боли есть свои приятные минуты, когда бывает полегче, так и тут, в этой подпольной душевной боли в такие легкие минуты я сочинял с упоением призрачные домыслы, прикрывавшие от себя самого свое личное убожество. Капельки здоровой крови моей матери не дали мне прыгнуть в Неву, и первая удача сразу же открыла мне глаза на моральное ничтожество моего «демонизма». Случилось, наконец-то! редактор детского журнала Родник, старый полковник Альмединген, принял мой рассказик, обласкал, похвалил и, когда я открыл ему, что рассказ обошел все редакции, что это мне доставило много мученья, он ответил мне: «Нужно завоевать себе имя». Старый полковник сказал это завоевать так значительно, так по-военному просто и решительно, что я вздрогнул от счастья и весело сказал ему: «Слушаюсь, господин полковник, буду воевать». Конечно, это я теперь только могу разобраться, почему же именно слово воевать поразило меня тогда и наполнило счастьем и переменяло судьбу. Альмединген был в военной форме, настоящий полковник, и в то же время сидел за рукописями журнала для детей, все это производило на меня впечатление физической военной силы, каким-то чудом переходящей в слова любви для детей. В роде того промелькнуло во мне, что можно и так воевать, и всколыхнуло во мне дремлющие силы моего натурального гения против подполья с дряблыми бескровными идеями. Выйдя из редакции, я повторял про себя: «воевать, воевать!»—и это решение открыло мне любовь к искусству слова, которая больше меня и моих врагов.

Второй, еще до сих пор не совсем разорванный узел на моем литературном пути, завязался, когда имя было завоевано. Мне всегда представлялось, что особенного какого-нибудь таланта во мне вовсе не было, а что он выходит из моего чувства свободы, соединенного с усердием. Выученный за границей, я представлял себе Россию, как страну талантливых бездельников, что в этой мечтательной и ленивой

стране стоит только лет пять поработать над чем-нибудь, как немцы работают, и непременно достигнешь положения. Все осложнялось только моим исключительным личным чувством свободы. Искусство слова давало мне эту свободу, а вместе с тем создавалась иллюзия, что из моего личного дела выйдет хорошее для всех и очень скоро. Каждое свое произведение я считал ключом свободы для всех, кто только читает меня. Все это, конечно, очень наивно, а между тем, я не дурак: бывает физическая юность и бывает непременно литературная, возьми за перо хоть лет в пятьдесят. Вероятно, эта aberrация скорости словесного действия на самую жизнь происходит от усиленного напряжения в литературном труде. И вот приходит время, когда завоеванное имя висит в воздухе, как плакат, как личная грамота вольноотпущеннику, а жизненные рабы говорят: «Тебе-то хорошо, тебе с твоим именем все дороги открыты, ты—жрец!». Может быть, я ошибаюсь, сосредоточивая свое внимание только на литературном труде. Прошлую осень в деревне, где я жил, улита стала жрать молодые озими. Дело шло катастрофически, а во всей волости нашлось только два опрыскивателя и немного медного купороса. Агроном погрузился в изучение улины. Мужики ругали советскую власть, богу молились, чего-то ждали. В это время с утра до поздней ночи один крестьянин с своей семьей ползал по своему наделу и собирал улину руками. Купорос не пришел, рожь пропала у всех, а у одного выросла. Едва ли только спокойно жить ему одному с хлебом среди голодных людей. И уж, наверно, не одна баба скажет: «ему-то хорошо, он знает». Между тем, дело его в поле было открыто для всех. А книга, разве это не открытое поле для всех?

Так вот почему статейка «Заговор молчания» так задела меня: точно такое же душевное состояние было когда-то и у меня, как у них, но я скрыл это от людей, как позор свой, и теперь это опять узнал, как узнает человек свое лицо в лице давно пережитой, но все-таки родной ему обезьяны.

### III. ТАЙНА ТВОРЧЕСТВА

В «Известиях» напечатали путаный мой фельетон под заглавием Молоко от козла, хотя я теперь им и не очень доволен, и теперь могу о том же сказать гораздо яснее и проще, но эта работка имела большое значение для меня ранней весной, когда я делаюсь почти болезненно восприимчивым. Она очень повлияла на мою дальнейшую работу, и потому с ней приходится считаться. Вот она с небольшими сокращениями и переменами:

«В этом литературном сезоне я получил несколько приглашений от различных кружков молодежи почитать у них что-нибудь свое и после чтения раскрыть технику производства своих рассказов. Не очень раздумывая о целях такого рода чтений, я по мере возможности удовлетворял эти просьбы, но каждый раз после чтения,

несмотря на успех его, мне бывало стыдно. Правда, среди молодежи сидели учителя, специалисты по технике литературного дела, просмотревшие в подлинниках рукописи Пушкина, Гоголя, Достоевского и всех классиков. Я знал гораздо меньше их, и в то же время должен был как-то предпочтительно перед ними учить молодежь.

Одно дело — писать, другое дело — учить. Мне каждый раз стыдно. Я стал отказываться от выступлений, но тогда начались предложения в том же духе от газет и журналов. Наконец, мне прислали даже что-то в роде анкеты с вопросами о тайнах моего литературного творчества. Так и написано: «Раскройте тайны своего творчества».

Мне вспомнилась при чтении этой анкеты одна моя весенняя прогулка в окрестностях Сергиева. Я шел по берегу извилистой речки с целью найти какой-нибудь переход на ту сторону шумящего весеннего потока. Невозможно было перейти, я хотел было отказаться от своего намерения, как вдруг заметил, что я иду уже по другой стороне.

Конечно, я был изумлен до крайности, и мне хотелось узнать, где и как я перешел. К счастью на берегу речки был еще снег, мои следы виднелись отчетливо, и по ним я скоро открыл тайну своего творчества. В одном месте след мой переходил через речку по тончайшей ледяной припорошенной сверху арке. Между высокими берегами висела эта арка, внизу по острым камням мчался поток. Если бы я провалился, то в лучшем случае сломал бы себе руку или ногу, но скорей бы всего разбился совсем. Обратное, конечно, я не рискнул переходить по ледяной арке и вернулся, сделав огромный круг с другой стороны. Любопытствующий исследователь, приславший мне анкету, сообщая первую тайну всякого творчества. Раскрываю искренне, положив на сердце руку: страстная жажда жизни заставляет нас так забываться <sup>1)</sup>, что мы рискуем, и это является творческой силой.

Второй вопрос анкеты мне кажется таким странным, как-будто я попал на другую планету. Читая, не верю глазам, спрашиваю себя: где я живу?

Вот этот вопрос:

«Насколько писатель должен быть грамотен?».

К счастью в последние месяцы я не был в отлучке и усердно читал газеты. Только благодаря этому я сообразил, что необыкновенный вопрос возник из иронического заглавия статьи Максима Горького о пользе грамотности. Если бы Горький выразил свою иронию с другой стороны и написал бы статью о вреде грамотности, то, вероятно, в анкете стоял бы вопрос: «Какой вред вам принесла грамота?».

Третий вопрос: «Почему и как вы написали последний рассказ, где черпали для него материалы?».

Этот вопрос прекратил мои колебания и решил в пользу раскрытия тайн последнего моего написанного для маленьких детей рассказа.

<sup>1)</sup> Множество писем было с вопросом: «что значит забываться?»

Главное было в том, что рассказ был еще не только не напечатан, а даже не совсем и закончен. В таком положении дела мне всегда о нем хочется говорить, проверять себя чтением вслух: ведь рассказ для детей, как я понимаю, должен быть так искусно написан, чтобы занимал и старых и малых, как и сказка, реальный рассказ для детей—это не «в некотором царстве, в некотором государстве, при царе Горохе»—это сказка, заключенная в категории пространства и времени. Едва ли не труднее всего написать маленький детский рассказ. И вот почему мне хочется говорить об этом, привлекать к этому искусству других. Словом, мне захотелось самому припомнить все условия, в которых возник этот рассказ.

Начинаю издалека, с моего постоянного увлечения спортом. Всякий спорт имеет серьезное значение, потому что он является для человека школой любимого дела. Мой спорт — охота, мое любимое дело — словесная живопись, которая сложилась во мне по спорту и стала мне охотой за словом. После двух десятков лет постоянной охоты за дичью и за словом у меня сложилось понимание, что за словом охотиться можно совершенно так же, как за бекасом и дупелем. Хороший охотник ищет не птицу, а характерную обстановку, в которой птица живет. По тысячам неуловимых признаков он догадывается: «Вот тут!», пускает собаку, и обыкновенно тут как раз и находится желанная птица. Как дупель — нос длинный, потому что живет на болоте, не будь болота, не было бы и дупеля,—так слово живет в человеческой личности. Нужно привыкнуть слышать такое слово из за-таенной глубины человеческой личности, тогда вместе со словом будет вставать при воспоминании и сам человек. После многих таких охот за словом, наконец, оказывается, что далеко ходить и незачем — в себе самом находится родник неиссякаемый слов, созвучных с другими людьми.

Не в музыке ли тут дело? Я беру все вначале на слух, а потом смысл, догадки наворачтываются, растут этажами. И в этот раз тоже, как всегда, я воспринял рассказик без всякого смысла, на слух. Но, я вижу, раз дело начало приближаться к науке, необходимо установить даты. Было это в апреле. Мы с женой пошли посмотреть музей одного частного лица. Заодно с интересом к искусству нам было нужно в одном хозяйственном деле посоветоваться с женой профессора; Авдотьей Тарасовной — женщина пожилая и как-то все знает. Вот пришли мы, я хожу за профессором от предмета к предмету, жена за чаем ведет разговор с Тарасовной о бане и козах. Мало-по-малу звук речи Тарасовны захватывает мое внимание, волнует, я думаю: «Она говорит точь в точь, как я пишу свои лучшие вещи, ее речь — идеал моего писания». И вместе с тем я вспоминаю, что Тарасовна елецкая, и я сам тоже елецкий. Первый раз в жизни с такой очевидностью я узнал свое литературное происхождение от родной земли...

— Извините, — сказал я профессору, — там очень интересно для меня говорят...

И мы сели за чай.

— Милая, — говорила Тарасовна, — заводите себе коз, до чего же они умны! Подумайте только, в голодное время, бывало, понимали: взять у людей нечего, и в лес! Ночью пасутся, а утром являются сытые.

— И не боялись волков? — спросила жена.

— Какие же волки? Да покажись тогда волки, мы бы сами их с'ели. Заводите, милая, коз.

— Нет, Авдотья Тарасовна, нам нельзя, у нас охотничье хозяйство: семь собак на дворе.

— И-и, да вы, я вижу, вовсе не знаете козью природу: козы с собаками первыми друзьями растут.

Тарасовна принялась рассказывать о своем козле Ваньке.

— Почему Ванькой назвали? — спросил я.

— Иван-Царевич.

— А Иван-Царевич за что?

— За ум и молоко, — ответила Тарасовна.

Жена засмеялась и напонила поговорку: «От него, как от козла молока».

— Плохая пословица, — сказала Тарасовна, — у нас все хорошие козы в городе от Ваньки; как услышите: «Молочная моя коза!», спросите: «А от кого она?», и все скажут: «От Ваньки!». Во всем городе Ванька самый молочный козел. Весь город пил его молоко.

После того Тарасовна принялась рассказывать о дружбе Ваньки с Пуськой, ее дворовой собакой.

### Ванька и Пуська

Было это в одно воскресенье. Верхние жильцы Тарасовны ходили обедать к знакомым. Пуська тоже непременно с ними ходил. Пообедает и на улицу, а когда жильцы победуют и домой идут, находит их и возвращается вместе. В этот раз тоже вышли жильцы. За ними Пуська. Стали переходить линию, оглянулись, а за Пуськой и Ванька идет. Вот жильцы и принялись ругаться на него: «Пошел ты домой, такой, сякой, немазанный». Козел уперся и стоит, хоть бы что! Стали в него кидаться. А он взял и пошел себе, не домой, а вдоль линии. Подумали жильцы, — побродит и вернется. И пошли с Пуськой обедать. А Тарасовна вскоре хватилась Ваньки, туда, сюда, — нет козла! И пошла искать его вдоль линии. Будочник видел, сказал: «Ванька пошел на вокзал». Тарасовна по линии на вокзал. Там козла видел газетчик: «Ванька пошел в кооператив железнодорожников Копжель». А это был обычный путь Тарасовны с козлом: по линии на вокзал за газетой, в Копжель за провизией, в исполком за пенсией своему профессору. В Копжеле теперь сказали: «Был и на площадь пошел». На площади знакомые мужики: «Стоит возле памятника Ленина», а у памятника: «Пошел в исполком».

Так до вечера Тарасовна бегала, не нашла и в большом горе усталая вернулась домой. Только вернулась, видит, жильцы идут и с ними Пуська. Конечно, Тарасовна им о своем горе рассказывать, а они ей, что Ванька за ними увязался обедать, что они в него швыряться...

— Да зачем же вам было швыряться! — вскричала Тарасовна, — что же вам лень было взять его за бороду и проводить домой?

Так слово за слово и начались неприятности. А пока жильцы и хозяйка препирались, Пуська все обнюхал на дворе, в сарае, спустился в подвал, — нигде нет козла, и незаметно, под спор — на улицу, и по линии на вокзал, и в Копжель, и в исполком...

— Хотите жить у меня, — закричала в гнев Тарасовна, — закрывайте за собой калитку, а нет...

И только собралась крикнуть: «Вон убирайтесь!» — видит: со стороны линии по улице Пуська бежит, а за Пуськой Ванька, и вот бегут, вот как спешат!

Обидное слово не успело вырваться у Тарасовны, Пуська привел козла и всех помирил.

### Молоко от козла

Не знаю, как вам, а мне этот рассказ очень нравится, мне кажется, это будет один из лучших моих детских рассказов, его наивная простота не хуже грациозного: «Нет козы с орехами, нет козы с калеными». Конечно, я еще подработаю, например, надо вставить сцену на площади возле памятника: козел прыгал, а мужики смотрели на это и говорили: «женить бы тебя, подлеца!».

Теперь вернусь к поучению. Тарасовна (кстати, прозвище ее, известное всему городу: К о з ь я М а т к а), эта Козья Матка с ее елецкою речью, с ее народным складом ума дала этот рассказ, этот рассказ — ее молоко. Но не будь меня, рассказ не увидел бы света: одно дело — рассказать, и совсем другое дело — написать. Рассказ недаром мне дался, я уже говорил, что постоянно ношу в голове своей мысль: «реальный рассказ — это сказка, заключенная в пространство и время». Как козел свою кличку «Ивана-Царевича» так и я свою наградую получу «за ум и м о л о к о».

Но, скажите, как же этому у м у научиться? Можно увлечь людей на непременно рискованный путь творчества за конечной формой, но научить этому, раскрывая технику своего производства, невозможно. Спрашивать писателя о тайнах его творчества, мне кажется, все равно, что требовать от козла молока. Дело козла — полюбить козу, дело козы — давать молоко. Так и о творчестве надо спрашивать жизнь, нужно самому жить, а не спрашивать художника, влюбленного в жизнь: «каким способом мне тоже влюбиться?» <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Множество писем было получено с проклятием жизни. Другие издевались над влюбленностью, нашелся один попрекнул меня охотой, дорогими ружьями, собаками — чего, чего не писали.

## IV. ЛИШНИЕ МЫСЛИ

До войны тираж моих книг был небольшой, три тысячи разошлось в два года. Большого я и не желал особенно, рассуждая таким образом: «если у N десять читателей, а у меня только один, то мой один стоит его десяти». И вот у меня в «Известиях» миллион читателей, при том в один только день! Письма дружеские, письма смущенные, письма ругательные. Голова у меня закружилась, и то покажется, будто я людям глаза открыл на творчество, то — написал глупость и опозорил себя. Несомненно было одно, что творчество интересовало не одних литераторов, что жизнь, вся круглая жизнь, во всех видах ее проявления жаждала творческого своего преобразования и просветления. Больше всего меня смущали письма, в которых читатели упрекали меня за слово «забываться». «В наше-то время, — писали мне, — когда лозунгом дня для просвещения темных масс стало слово сознательность, вы предлагаете—з а б ы в а т ь с я».

И опять я отстраняю от себя Журавлиную родину и выясняю у себя в тетрадке, что же именно хотел я сказать, предлагая молодым писателям влюбляться и забываться. Нет, не зря я это сказал. Каждый день это я наблюдаю за собой при тренировочной стрельбе из винтовки.

Всякий любитель спорта знает, что лишние мысли, или все, что приходит в голову, не имеющее рабочей ценности при достижении намеченной цели, бывает только в самом начале, потом все лишнее исчезает и остается только самое необходимое. При стрельбе из винтовки вначале моя голова бывает всегда переполнена этими лишними мыслями, потому что я, большой наблюдатель, постоянно занят разбором своих впечатлений и раскладыванием в особые ящички. Но как только мишень установлена, винтовка в руке, левый локоть прижат к сердцу, ложе у правого плеча и глаз ищет мушку в прицельном щитке, весь мой ум перемещается с головы в глаз: ум этот в глазу я узнаю по привычной его тяжести, а голову и весь организм, работающий в это время для глаза, я совершенно не чувствую. Потом, когда мушка установлена, дело глаза кончается, и ум организма мало-по-малу перемещается в указательный палец на спуске. В этот решительный момент, чтобы устранить качание тела от ударов сердца, стрелок задерживает даже дыхание. Указательный палец нажимает не сразу, иначе дрогнет винтовка и выстрел будет неверный. Нащупывая сильнее и сильнее сталь спуска, он как бы подкрадывается к мгновению, и, наконец, поняв его совершенную близость, делает свой роковой прыжок... Хорошему стрелку с отлично пристреленной винтовкой нечего дожидаться, пока ему покажут попадание знаками, в момент выстрела он уже знал, что все им исполнено верно, и пуля пробила сердце мишени. Все утомленные сотрудники указательного пальца возвращаются, радуясь, на свои места, и в голове начинает опять все кипеть.

Однажды, при таком очень хорошо сделанном выстреле, я так обрадовался, что позволил пострелять всем окружавшим меня деревенским ребятам. Трудно представить себе что-нибудь другое, чем бы мог я им доставить такое великое удовольствие. Тогда мне пришла догадка о причине увлекательности стрельбы: она дает возможность каждому проявить своего натурального гения, да при том еще с внешним эффектом грома и молнии. Еще я думал, в связи с психологией выстрела, о гениальности Ленина, что вот винтовка делана не мной, патроны тоже делал народ, и дальше все, положение ног, локоть у сердца, затаивание дыхания, измерение глазом расстояния,— всему этому я научился от других, все это не я сам и лишь самый последний момент спуска указательным пальцем курка, весь я сам, реализованный в одно мгновение со всем своим длинным прошлым; так Ленин был последним моментом в долгом и сложном прицеле всего народа на царское правительство и за то признается гением.

С популярностью выстрела, как всем доступного средства проявить своего натурального гения, можно сравнить только жажду всех получить свое фотографическое изображение. В каждом деревенском доме теперь можно встретить семейный музей портретов людей в натянутых уродливых позах. Это желание фотографироваться, конечно, объясняется естественным стремлением всех как-нибудь проявить свою индивидуальность. Но фотографическое изображение себя зависит не от коренных своих способностей, не от всего себя самого, а только от денег, необходимых для оплаты труда фотографа. И потому у простых людей, невладеющих искусством позы, все кончается изображением не того, что есть лучшего в личности, а худших претензий несовершенной индивидуальности. Напротив, дельный и счастливый выстрел реализует в стрелке непременно его натурального гения. Я вглядывался в лица тех ребят, кто удачно попал, никто из них не бросался к мишени, не кричал: «Вот я, так я». Напротив, каждый удачливый делался скромнее, чем был, вероятно, потому, что ему надо было сохранить в обществе достигнутое им положение хорошего стрелка и, согласно с этим законным желанием, личность его сама собой принимала непринужденно красивую форму.

На человека, достигающего словесного выражения себя самого в законченной форме, весь мир смотрит, тут нет предела возможности; против стрелкового общества круг жаждущих узнать своего гения бесконечно расширен, но психология словесного действия остается совершенно такой же, как у стрелка, и тут при достижении цели, законченной формы, прежде всего, надо убрать из головы все лишние мысли, найти весь ум свой в нажиме указательного пальца на перо, чтобы законченная форма реализовала личность автора во всем длительном ее происхождении.

Смотреть на стенде стрелков, как все ясно у них и просто сравнительно с тем, что делается в редакции какого-нибудь влиятельного органа печати, когда редактор отказывает сотням претендентов, чтобы



удовлетворить одного. Случается, оскорбленный отказом непризнанный гений, как разгневанная страшная человекообразная обезьяна, бросается бить редактора, бывает, достает револьвер и стреляет в себя. У одних первая неудача ломает всю личность, у других возбуждает самому себе неведомые силы к новой борьбе за лучшую форму словесного действия.

Как милы бывают в деревне лица удачных стрелков, хочется иногда расцеловать юношу, который пригнулся к земле, делая вид, что он разыскивает пустой патрон, выброшенный магазинкой, на память о своем удачном выстреле. У нас в словесном искусстве удачливый иногда бывает хорош только в первый момент, а потом на этом пустом патроне своего единственного верного выстрела строит фальшивую жизнь литератора. Только редкий понимает, что при первой удаче требуется сильная воля, чтобы успешно хозяйствовать возле себя в новом положении.

Я выступил в литературе в таком возрасте, когда миновала острая нужда в позе, и расчета на какое-нибудь положение в обществе у меня не было. Но другое, гораздо сильнее, чем самолюбие, гораздо более глубокое, органическое препятствие встречает автор, почему-либо несколько запоздавший явиться на литературный стенд. Так у девушек бывает, пройдет срок живого бездумья, отвердевший разум ясно доказывает всю невыгоду отдачи себя слепому закону размножения, — в болезнях рождают детей. Удаче поздно выступающего автора мешают как-будто переполняющие голову теории, на самом деле происходит совершенно то же самое, что с перестарелой девицей, — он засмыслился и слушает шопот отвердевшего разума: занятие искусством слова по всей правде рискованно, страшно, невыгодно, а просто заниматься, как ремеслом, за одни деньги — неинтересно.

Несмотря на свое запоздание, я не был по своим кровным возможностям человеком загражденным к словесному действию. Но часто эпоха берет человека и делает его как бы засмысленным. Я начал в эпоху лишних людей, чеховских героев, отсутствие бытия, в котором бездумно, как цветок, распускается личность художника, готово было и меня обречь на бессильное раздумье о моральном согласовании с жизнью своего действия. Но к большому моему счастью оказалось, что я удался серым теоретиком и прошел мимо этих знамений времени. Смутную догму свою принял я за ясный метод и чужими мыслями доказывал возможность достигнуть мира разумной действительности путем совлечения иллюзий посредством мировой катастрофы. Но это был не я сам, это была тоже эпоха, создавшая таких людей в противовес чеховским моралистам. Я был революционером, и жена моя, мне казалось, должна быть революционеркой, я был химиком, и жена моя, мне казалось, должна быть химиком. На балерине я не мог бы жениться. Искусство было мне балериной. Бывали, конечно, моменты, когда потихоньку от товарищей я уходил в музей, но это было мне почти как грех. В своем кружке мы постоян-

но говорили, что бытие определяет сознание, но жили обратно: наше сознание идеальной и разумной действительности поглощало все наше бытие. После разгрома кружка, когда каждый в отдельности должен был ответить на свое бытие, одни покончили с собой, другие затихли в Сибири, третьи вошли в быт как лишние люди, четвертые сумели самую революцию объявить лишней мыслью своего индивидуального действия.

Я вышел из положения тем, что не революцию, а себя признал лишним и ушел не в быт с чеховскими героями, а в то бытие, где близится, зарождается поэзия, где нет существенной разницы между человеком и зверем. Меня увели туда дремавшие во мне древние склонности следопыта-охотника. Оттуда я скоро не мог сигнализировать человеку и брать право суда над ним. Я находил там, в природе, иногда ясные ответы своим смутным загадам, об этих находках писал, как о чудесных для самого себя открытиях и был замечен, как без-человечный писатель и еще проще,—описатель. Или, как стали теперь говорить, очеркист. В таком скромном положении меня всегда оставляли в стороне от большой дороги и так я на 'свободе, терпеливым муравьем из далекого бытия, подползал к царству сознания вместе со всеми своими зверями, собаками, букашками и таракашками. Только после большой революции и особенных переживаний я потерял немного стыдливость и тоже, как настоящий писатель, попробовал написать роман и перешепнуться в нем с друзьями о человеке.

Психология писателя такая, что нет возможности удовлетворить себя сделанным: все, что назади, уже не свое и кажется таким несовершенным. Стремление к полному удовлетворению себя законченной формой, в сущности, есть стремление как бы к б л а ж е н н о й кончине своей, потому-то, пока сам не кончился и продолжаешься в жизни, то как же можешь удовлетвориться вчерашним: все ждешь впереди чего-то лучшего. На этом пути я, однако, замечаю в себе в одном постоянство— это все большее и большее приближение к простоте языка, и чувствую, — это не просто. Мне кажется, главным побуждением к простоте языка у меня является страх перед пустотой и обманчивостью литературного дела. Купишь корову и поставишь на двор, — это действительность, но книга, которую написал я и получил за нее деньги на корову, почему-то всегда представляет для меня вопрос в своей действительности, несмотря ни на какие похвалы в газетах. Отсюда и стремление упростить фразу, сжать слова, чтобы они стали сухими, но взрывались, как порох. У наших романистов, начиная с автора «Онегина», было в повадке, сочиняя роман, посмеяться вообще над романом, как над иллюзией. Пусть у них это был лишь прием, чтобы лучше обмануть читателя выдумкой своего собственного романа. Но я знаю наверно,—этот прием, как всякий настоящий прием художественного творчества, у них был бессознательный, и они сами по всей правде верили в изображаемый мир. Я догадываюсь еще о многом, что скрывается в простоте, о которой у нас в обществе сверху до низу говорят, как о чем-то хорошем. У некоторых наших величайших писателей это

стремление к простоте в искусстве слова кончалось разрывом с искусством, они объявляли искусство слова художественной болтовней или искушением чорта. Есть случаи даже обожествления своего собственного образа, как часто простой народ обожествляет образ божий, икону. Сильно подозреваю, что Христос в поэме Блока Д в е н а д ц а т ь — грациозный, легкий, разукрашенный розами—есть обожествленный сам Блок, иллюзорный вождь пролетариев.

Ритм стиха и прозы в моем понимании присутствует во всяком отличном труде, и это он делает увлекающие нас вещи. Есть и у нас в словесном искусстве такие творцы форм, до того они сохраняют в них лично себя, что созданная ими форма становится как бы физической силой, управляющей жизненным порядком вплоть до расстановки вещей: таким я Пушкина считаю. Другая литература, в легкой ветви своей—«для отдыха и развлечения», в трудной—учительская, это именно иллюзорная литература. То и другое мне понятно изнутри в их происхождении. Там и тут для творчества необходимо самоограничение, но разное. Есть самоограничение творческое, в котором создатель новой формы выбирает из себя и утверждает такое, что годится для многих, если не теперь, то в будущем. Чувство утраты при этом счастья поправляется радованием в творчестве. Мне кажется, если бы любая физическая сила, пусть хотя бы теплота, как жизненная сила, имела своих личных носителей в роде людей, то эти тепловые люди при переходе теплоты в свет теряли бы свое тепловое счастье, но, делаясь светом, сохраняли бы всю силу своего первоначального огня. Другой вид аскетизма истребляет в индивидуальности всю ее самость с полом и эросом, от личности остается д у х бесплотный, мертвящий творчество жизни в самых ее зародышах.

Усложненность коренится в недостаточном жизненном хозяйстве, как все равно расточительность, пьянство происходят от слабости. Интересно бывает, но эфемерно, — тут все понятно. Загадочна не усложненность, а простота, скрывающая в себе силу словесного действия. Есть в творчестве страшная форма самоотречения, утверждающая собственное ничто в форме догмата, выдаваемого как метод самого поведения людей. Раз, давно, играя с ребятами, один взрослый прикрыл меня, маленького, подушкой и чуть-чуть совсем не задушил. Я напуган этой подушкой на всю жизнь и, с одной стороны, очень боюсь всяких учителей, с другой, опасаясь постоянно, как бы не задушить кого-нибудь из малых сих своей собственной подушкой. Лично я стремлюсь к простоте языка, главное, чтобы себе самому освободиться от лишних мыслей. И это так трудно, что где тут учить, лишь самому бы только прожить. Но одно радует меня, что во всех своих безчеловечных писаниях о собаках и всяких зверях я вижу человеческий путь к творческой свободе и что на этом пути мало-по-малу оседают во мне убеждения. Так я с твердостью могу сказать, что писать можно о всем не потому, что на свете все неважно,—был бы лишь мастер слова, и он из всякого пустяка сделает вещь. Нет, все на свете так важно, что о всем.

надо писать. Еще я знаю, что у каждого мастера есть своя суженная и что без этой родственной связи с предметом описания не бывает художника. А еще я знаю, что для творчества надо выходить из себя и там вне себя забывать свои лишние мысли до того, что потом, если и напишется о себе, то это будет уже Я сотворенное и, значит, как Мы.

Мысль о себе сегодня скрутила мне голову, я ушел в лес, чтобы долго идти и додуматься до чего-то совсем особенного, но как и в стрельбе, при большой ходьбе голова только в первый час много думает, мало-по-малу тело мое стало нагреваться, голова заняла равное рабочее положение во всем организме, и думал не о «Я», а о лесе. Вернувшись домой, я записал себе в тетрадку:

### Лес и человек

Сколько прекрасных слов говорят о лесах, что там ягоды, грибы, и птицы поют, и благодатная тень ложится внизу для отдыха в жаркие дни. Кто задумается над тем, как живет самими деревьям в лесу. Только на вырубках, где от прежнего леса остается всего несколько деревьев, изуродованных столетней борьбой за свет, всякий понимает, какую трудную жизнь проводит отдельное дерево в лесу, как оно, выключенное из общей связи, само по себе некрасиво. Мне в такие минуты раздумья на вырубках всегда бывает неловко, и хочется бросить причуду лесного шатания, бывать только в садах и парках, где каждому отдельному дереву дается полное счастье обладания светом.

Так вот, когда некоторые восхищаются вообще человеком на земле, как преобразующим фактором, его государствами, наукой, искусством, техникой, то мне кажется, они так же далеки от жизни самого человека в борьбе за свет, как дачники в лесу под благодатной сенью от жизни каждого отдельного дерева.

Но как ни поверхностно обыкновенное восхищение дачников лесами, как ни пусто и ни жестоко удовлетворение себя прогрессом вообще-человека, так же бесплодно и безысходно бывает, когда на место разума диктатором становится сердце с исключительным вниманием к жизни отдельных существ: страдающее сердце за отдельными деревьями не видит леса, в котором все-таки вырастают мачты для кораблей.

Нет, ни в разуме, ни в сердце человек не найдет удовлетворения своей великой потребности согласования враждующих частей, пока не станет сам на свое место творческой единицы. Тогда, в борьбе за счастье и обладание светом для себя и для всех, он даже неизбежную в будущем смерть свою отбрасывает, как лишнюю мысль, и живет, как бессмертный.

*(Продолжение следует)*

---

# О майдане, сдобном пироге и женщине

(Рассказ бригадира)

ГЕОРГИЙ НИКИФОРОВ

## I

**М**ысли у меня углом идут. Не сумею я по-настоящему расписать людей, которые вокруг и другие дальше, если их взять по памяти. Очень меня в жизни моей долго и со вниманием били, оттого теперь не могу я пройти без зацепки мимо человека. Я кипел ненавистью, как паровой котел, мне бы только стан колес, чтобы я мог разбежаться и ударить что есть силы во встречный поезд, который с врагами. Жизнь ложилась со скукой, будто распутная женщина, которой прискучили любовники, и я все ждал, когда придет новая. Сильно любил я ходить по всем дорогам, чтобы угодить в хорошее место, где другая земля, другое небо и другие люди. Все было, оказывается, от глупости.

Тогда я стал биться со всеми, кто мне заграждал дорогу. Со мной были товарищи, и первый из них — Никита Шаронов. Встретил я Никиту Шаронова в семнадцатом году и с этого времени берегу в нем настоящего человека. У меня были такие сильные руки, как паровозные дышла, и я действовал ими во весь разгон. Никита Шаронов долго следил за мной, и, когда мы одолели Перекоп, а потом на свободном пространстве времени лежали в лазарете, он же, Никита Шаронов, сказал мне, что теперь нужно действовать во весь разгон собственно головой и надо мне идти в партию. Тогда я совсем согласился, и вдруг через некоторое время многим прочим господам, против которых я кипел, разрешили жить, как-будто бы ничего не случилось. Тут я в партию не пошел и Никиту Шаронова спросил, пришел к нему в мастерские и спросил:

— Отчего такой поворот? Как буду действовать я руками и головой в дружеском понятии к тем, кого хочется ударить?

Никита Шаронов очень надó мной посмеялся. Он мне ответил:

— В дружеском понятии действовать трудно, Саша. Ты и не действуй в дружеском понятии. Надо повести дело так, чтобы петуха из гнезда выгнать и гнезда не разорить.

— Значит, сумеешь изловчиться?

— Изловчайся, — говорит Шаронов. — Для того тебя и в партию зову, чтобы ты научился этому.

— Пойду работать по моей прежней специальности, Никита, — сказал я. — Моя линия известная, я ведь двадцать пять лет слесарю. Буду работать и поверну мысли в твою науку, чтобы понять и найти объяснение. Я привык своими мозгами действовать, чтобы они утвердились по-настоящему.

Вот как я сказал Шаронову, моему товарищу, к которому все с большим доверием. Тогда я ушел, и мы с Никитой не виделись с год, жили рядом и не виделись. В то время я подумал: «Бери меня на испытание, Никита, как хочешь. Я, может, себя превыше всего ставлю, свои мозги то-есть, у меня для жизни своя азбука».

Потом мы встретились, а перед тем я познакомился с Антониной Соломиной и очень хорошо понял размышления инженера Покровского насчет женщин. Мне показалось обидным, что такой человек, как этот Покровский, ходит по земле с таким дружеским разговором к нашему брату, пролетарию. Тут же пошел я к Шаронову, чтобы достичь потом полного объяснения насчет того, какие враги нас окружают. Ничего не получилось из моего разговора, остыл я и зашлаковался, будто топка без сифона, не сумел объяснить Шаронову, какие мои мысли теперь.

— Видишь ведь, как это случается, — сказал Шаронов, когда я пришел к нему, — нужен ты мне вот так вот.

Никита поднялся и похлопал себя по маковке.

Я тут же сбился с первой моей мысли и ничего не сказал Шаронову про существующее в голове у меня дело.

— Если я тебе нужен, — говорю я, — начинай говорить. Мне со своим делом и погодить можно.

Чорт его знает, этого человека! Он даже и не спросил, какое у меня есть к нему дело, и вышло даже так, в роде я виделся с ним каждый день, и некогда ему со мной разговориться по-настоящему. Я ему упомянул все-таки насчет преданности нашему делу, и не по службе, а прямо по положению, но Никита Шаронов не захотел слушать, Он мне раз'яснил:

— Преданных много, Саша, сознательных нехватает. Поезжай на мостовые работы с техником Соломиной.

Я ни одного слова о Соломиной, да и говорить было, по моим расчетам, ни к чему. Потом оказалось, что инженер Покровский над нами общий руководитель. Теперь спрашиваю себя, как мог я удержаться от моих мыслей насчет инженера Покровского, когда за войну не дрожала рука?

— Как ты теперь будешь, Антонина? — спросил я Соломину.

— Это две прямые через одну точку, — ответила она.

Ничего я не понял насчет точек и прямых и не хотел больше тревожить человека словами.

— Имей в виду и держи всегда в сердце, Антонина, — сказал я Соломиной, — обиды у меня за твое прошлое нет.

Соломина мне чуть кулаком в нос не сунула.

— Иди, Сашенька, дурачек, к чорту! Если бы ты подошел ко мне с обидой, тогда мы с тобой давно распростились бы.

Не особенно я поверил ее словам. Женская гордость — глина. Тронешь глину водой, женщину — лаской, и кончено.

Собрались мы с Антониной и выехали на линию.

Много видел я неприятностей в жизни, прокалился с головы до пят и думал про себя всегда так, будто мне и ад и рай — все едино. Теперь оказалось другое. Прошлую жизнь смыл я, как смывают угольную копоть керосином. К сорока годам я полюбил женщину и весеннему солнцу радуюсь нынче, точно горластый петух. Утрами нюхаю, как пахнет трава, пахнет до того тонко, будто поднимаются испарения нефти, когда одна капля упадет в горячий песок.

В лесу стояла тишина, лес плыл в небе вместе с облаками, над рекой перекинулся мост. Мне показалось, что я в первый раз чувствую землю под ногами и только теперь разглядел все как следует. Тут же подумал, что я не пробегу второй раз по моей дороге, и я сказал об этом Соломиной. Она хотела ответить мне, как вдруг застучала дрелина, и прикатил инженер Покровский.

— Я эту сволочь задушу при первом удобном случае! — закричала тут Антонина.

— Не пори горячку, товарищ Соломина, — выступил я и совершенно сознательно предложил ей действовать в дружеском понятии.

Я отвел Соломину в вагон, где она помещалась в своем отделении, и мы оба должны были выпить водки, чтобы удержать сердце в притворном расположении к инженеру Покровскому, и нам с Соломиной, по совести сказать, было трудно, так что я вышел встречать Покровского один, и Покровский назвал меня «дорогим товарищем», и из того я сразу определил, что этот человек не любит нас — рабочих, а к советской власти стоит боком и с усмешливым чувством, что все перед ним беспросветные дураки, хотя и завоевали.

С инженером Покровским оказалась дочь, и я даже обробел от такой красоты, когда глаза, как голубая паутина на солнце, — все видно, и ничего не поймешь. Почему инженер Покровский и казался при дочери, как при укротителе — зверь. Она с ним совсем мало говорит и обратилась прямо ко мне с протянутой рукой, точно мы старые друзья-товарищи, и с настоящими словами, которые мне дали понять, что дочь с отцом убеждены в жизни по-разному.

— Я учиться у вас буду, Александр Мокеевич.

Ничего не успел я ответить, как тут же подхватила она меня под руку, и мы пошли осматривать мост.

Через неделю моя бригада из шести человек совсем не видела никакой такой особой барышни, и развинтила бригада языки сверх предела, и тогда я должен был восстановить дисциплину. Потом

пошло так, будто явился к нам смекалистый командир, потому что бригада после работ сидела в вагоне за книжками, а Покровская Файка раз'ясняла все по пунктам и даже, случалось, говорила с высокой смелостью против своего отца, и я останавливал Файку, чтобы не нарушать дисциплины, хотя я про себя радовался такому повороту. На работе Файка не останавливалась, и всем остальным стыдно было не то чтобы сесть, даже закурить. Работу гнали с припевом, но я не раз замечал — силы у Файки на краю, а девка держится. Кое-кто пробовал зацепить ее насмешкой спервоначалу, но ничего из этого не вышло; тогда принялись хулиганить и козырять матюками; и вдруг она одна против всех поведет глазами, тогда сразу становится стыдно, хотя в вагоне после работ, если кто «под мухой», непременно сучит ногами и сопит, даже коммунист Ежов позабывал свою сознательность и в сторонку всегда шептал:

— Девка по калибру!

Слесарь Луцихин поддерживал:

— Все на свете отдашь! Уж ежели бы мне в руки, — сок выжал и крендель сделал...

— У собаки собачья хватка! — ругался Клементьич.

Тут я вынужден был выступать для порядка, и всегда меня поддерживал Клементьич, потому что с любовной сердечностью принимал эту самую Файку и даже, кажется, через нее одолевать начал книги хотя по воскресеньям спиртовался обязательно. Я долго сообщал, хорошо бы организовать кружок, если нет никакой ячейки, но вышло так, что из этого соображения ни черта не вышло. В бригаде моей всего шесть человек, и четверо из них в соседнем селе — постоянные жители. Притянуть их к общественной работе, как мне видно стало потом, было невозможно. Обида у меня росла за Файку, когда каждый почти сосал губы, провожая глазами девицу. Большую мне нужно было сдержанность, чтобы сохранить себя в спокойствии и не разойтись, но иной раз думал: «Дочь инженера, который даже при диктатуре держит себя, как господин. Этого инженера надо взять унижением собственной его дочери». Я по-всячески думал, потому что мне боязно было при нашей победе показать слабость рабочего человека, который как-будто бы мстит исподтишка, имея большую силу раздавить мимоходом в любую минуту.

Присматриваюсь к Файке, и совсем она не похожа на отца, и даже я не замечал их хорошего отношения, — они как чужие. Тогда я стал подходить к Файке со стороны рабочего основания, то-есть как она относится к нашему брату. Она меня отчитала, и мне пришлось говорить, что я к ней с доверием, только меня приводит в смущение ее отец, как высокий специалист и с таким льстивым языком к нам.

— Александр Мокеевич (эта Файка со мной всегда, как с учителем), у меня с инженером Покровским одна фамилия, и больше ничего. Я выросла в революцию.



Конечно, я смотрю на нее и вижу вдруг мокрые глаза: тогда у меня неловкость в сердце, и овладеть своим языком я уже не мог. Мне хотелось сказать, что мы все понимаем (мы—рабочие), но как же нам подходить с другими мыслями, когда теперь враги укрываются даже партийным билетом, и тогда бывает совсем трудно разобраться.

Файка засмеялась. Она весело засмеялась и как-будто даже обрадовалась таким моим словам.

— Так и следует относиться, Александр Мокеевич, — сказала она. — Я большая дуреха, я не поняла вначале вашего замысла, а потом разобралась и очень рада.

Удивительная девица эта Файка! Она умеет делать все просто, и голова ее гораздо выше многих других мужчин. Я почуял, что она действительно говорит настоящими словами о своем отце. Я много брал людей своим умом, и мне было в иной прочий раз скучно оттого, что по большей части у людей, которые как-будто по книжной мудрости стоят выше рабочего, душа — маломерка, и ничего в такую душу не лезет по ее небольшой вместительности, а тут я увидел совсем другое и не смог удержаться, рассказал всё. Тогда Файка как-будто расцвела: глаза ее стали понятными, она даже поцеловала меня, и я вовсе ничего не подумал и мог убить себя в ту минуту за плохую мысль.

Потом я только любовался, как терпеньем человек может одолеть железную силу. Файка работала вплотную и всю премудрость, которая рабочему слесарю нужна, поняла лучше лучшего, а я все думал обратное и порой с недоверчивостью к Файке, потому недоверчивости меня сорок лет учили. Я так рассуждаю, что даже родная моя мамаша прокисшим молоком меня из груди своих кормила, чтобы я потом на всю жизнь морщился. Ударит в сердце тепло, а потом соображаю: «Хорошо этой девке молотком побаловаться, если в голове образование, — словно бы тебе новый паровоз про запас, который потом до ста верст в час угонит. При таком положении жизнь, что твое пасхальное воскресенье: солнце на столе, и пирогами пахнет сытно». Вот когда с этакой стороны подойду к Файке, так сейчас же возьмет меня сомнение, и я со всех сторон прав. Начну говорить с ней, и подозрение мое угорает, принимаю человека тогда без обиды и хочу, чтобы побольше таких к нам, тогда не будут стоять у дела мертвые в нашем замысле, в роде инженера Покровского.

Прошел месяц или совсем немного более, тогда же подружилась и Антонина с Файкой. Я, конечно, немного удалился в сторону, потому женщины всегда плотнее друг к другу и поймут лучше. Работа наша становилась веселее, и ребята вели себя спокойнее и уж ругались только по причине уважительной, против которой ничего не скажешь и не исправишь, как вообще в окружающей природе исправить невозможно даже на миллиметр. Наконец, мои ребята из села о селе позабыли, и мы все стали жить в роде коллективом, и я даже написал об этом письмо Шаронову, где прямо указал на практикантку Покров-

скую, удивляясь крутому повороту мыслей в голове мастеровых от подобного действия и подхода одного человека с таким обращением к товарищам. Шаронову Никите я вывел во весь рост женщину, которая может произвести сильный переворот, если ее допустить по-настоящему на равных правах к делу. Про себя же я имел трудные размышления насчет нашего пролетарского пути, когда предстоит еще преодолеть высокие заграждения, не имея умственного напряжения в достаточном количестве, чтобы достигнуть строительства социализма успешнее. Тут легко могут притти к нам досужие расторопные людишки, которые встанут за прилавок у революции и скажут: «Что угодно-с?» — и начнут отмахивать аршином: на двугривенный — идеологии, на десять червонцев — вралогии, и после невозможно будет разобраться, где вралогия и где настоящая идеология. Вот от этого я всегда с подозрением к тем людям, которые, как Клементьич говорит, здорово вокруг нас стараются. Но сколько бы раз я ни пробовал брать Файку Покровскую на умственное испытание, я не мог заметить фальшивости в ней и тогда радовался, что такие люди помогут нам сделать отбор. Файка Покровская сообщила мне, между прочим, насчет среднего устоя моста, — как-будто бы, выходит, указывала на умысл своего отца. Я хотел расспросить и ничего не узнал, и Файка перед людьми скрывала о том, что говорила мне, так что никто не знает об этом, даже Антонина. Вышло, — открыл все я, и мне захотелось предупредить Никиту Шаронова, как нового комиссара дороги.

Тут начинается другой оборот: приехал Никита Шаронов и с ним приятельница нашей Файки, комсомолка Сима Барабина. Шаронов все оглядел и долго разговаривал с Покровским, и потом я оказался в дураках. Ну, я не больно огорчился. Лучше чужого человека взять на зубок и сломать зубы, чем доверяться безыспытательной ошибке. Ну, это мы тоже пропустим, потому что я не о себе взялся расписывать, я хочу — о других, и то о таких только, которые в нашей жизни бугорком выступают, прочие же, может, совсем неинтересны, потому что жизнь — все равно что колея в степной дороге, и весь ее интерес люди для избавления от скуки придумывают сами.

В жизни моей я встретил Никиту Шаронова как тот бугор, о котором упомянул, и через много лет встретил девицу Файку Покровскую, раньше с большим сомнением, а потом с интересом, когда услышал от нее слова, что ставят человека очень высоко, и я сам определил, — женщина эта не может пройти незаметно. Я свидетель тому, как встретились два человека — Никита Шаронов и Файка. Шаронов, которого можно назвать по профессии своей революционером, как-будто бы, показалось мне, почуял опасность и захотел себя уберечь. Я заметил — Шаронов сделал пустые глаза, и тогда я понял, что это у него перед опасностью, но я выждал время и никому ничего не сказал, хотя Файка ко мне подходила с обидой, будто Шаронов ее не заметил, и тут я все взял на учет.

Шаронов Никита позвал меня к себе в вагон, и всю ночь разговаривали мы с ним в вагоне. Тут мне Шаронов сказал, что он должен выехать завтра утром в Москву, и у меня сразу выскочило подозрение, потому что человек собирался пробыть до комиссии и уехать с комиссией. Сначала все слова Шаронова были о работе, о том, когда мы закончим мост и не надо ли увеличить бригаду и подобные этому вопросы и слова. Потом между такими словами вдруг совсем другое:

— Откуда у тебя в бригаде такая?

— Какая, Никита? — это я спрашиваю и в роде как совсем не понимаю, о ком его слова.

Вижу, вопрос мой Шаронов нарочно пропустил мимо и опять заговорил о работе, а у меня тоненькая мысль будто змейкой вильнула: «Живет человек вот так вот и даже прыгает через горы. Все малые и большие горы перепрыгнул, ногой не задел, и вдруг в один такой час, не то плохой, не то хороший, споткнулся у канавки и остановился».

И я слышу.

— Устал я здорово, Саша!

Меня ударило в дрожь, и по телу пробежала рыба чешуя. Я хорошо знаю по себе: если на половине работы покурить захочешь и почувешь ломоту в спине — дело конченное: или работу бросай или держись и совладай.

Я поглядел на Никиту с большой усмешкой, чтобы за живое тронуть. Поглядел и сказал:

— Напрасно такие мысли допускаешь, Никита. Для тебя такие мысли — как в дымогарной трубе трещина. Как только скажешь «устал», так тут тебе и станция с буфетом.

Никита подумал, потом спрашивает:

— Как же, по-твоему, выходить из положения?

— Я тебе говорю: думать не надо об устали, — отвечаю я. — Ну, если даже и устал, так вались с поезда к чорту под откос и не устраивай паники. Вот как я рассуждаю.

Тут я немного помолчал, потом опять говорю:

— Никогда я слов таких не слышал от тебя, товарищ Шаронов, даже когда на фронте вошь ела и в опорках по снегу бегать приходилось, а теперь вдруг такие слова. Если такие слова сказал вслух, значит в мыслях давно держишь.

— Не могу сказать, как это давно, — почти шопотом отвечает Шаронов. — По-моему, я эту усталость почувствовал сегодня.

— Ага! — закричал я. — Если сегодня, тогда я знаю, в чем загвоздка: тебя на островок поманило, Никита. Тут вся и разгадка. Ты плыл, плыл, и все было ничего, ты о берегу не думал и, значит, насчет усталости никак не смел заниматься размышлениями, и вот на тебе! Перед носом островок, и ты говоришь: «Ох, устал я здорово!». Что, скажешь, вру я?

— Нет, Саша, не врешь,—после некоторого раздумья отвечает Шаронов.—Не врешь, хотя и не так говоришь, то-есть не совсем угадал. Ты ведь насчет этой девицы подумал, которая у тебя в бригаде?

— Да, подумал, — признался я по всей совести, — что Файка действительно девица, кого хочешь ошеломить может.

— Тут твоей правды очень немного, Саша, — смеется одними глазами Шаронов. — Я скрепил себя, хотя она не прошла мимо меня. Я даже разрешил себе одну думку: «Почему, дескать, я должен отказаться?». Слышишь, Саша, я говорю тебе начистоту, как всегда говорил, но все-таки у меня есть совсем другое. Если бы ты был со мной всегда, ты увидел бы сам, откуда ко мне пришла усталость. Я только тебе говорю, Саша. Завтра я уеду, и больше ты не услышишь таких слов. Прежде я ходил, Саша, в опорках, это все правильно, а нынче я одеяла в шубу, так скажем, — и вдруг шуба оказалась полна блох. Теперь так получилось: блохи житья не дают, и шубу сбросить нельзя, и мне стало скучно, Саша. Да не только мне одному. Ты знавал Василия Полунина?.. Ну, коли знал, так я тебе скажу, что Василия Полунина ты не увидишь больше... (тут Шаронов горлом хлебнул и потом раз'ясняет, будто бы совсем хладнокровно) умер Василий Полунин, то-есть не то чтобы просто умер... (у Никиты опять клыкнуло в горле!) застрелился... Измотался в работе и застрелился, не захотел жить инвалидом.

— Погоди, Никита, — говорю я. — Ничего же в случае настоящем страшного нет и, может, в этом правильный поступок.

— Пусть правильный поступок, — как-будто соглашается Никита, — но ведь таких поступков несколько. Прежде потруднее жилось, а держались... За Полуниным Лушихин убрался, и тоже таким же способом... Вот и раз'ясни ты мне, Саша, откуда это?

Никита меня спрашивает, а я горячими глазами как-будто всё вижу. Хотел было об'яснить одним только словом и... осекся. Вопрос совсем не легковесный. Никита смотрит на меня, а я молчу и даже чувствую, что мне стыдно за слабость моей мысли. Тут Никита опять заговорил и, похоже, в роде про себя:

— Революция для многих обернулась пирогом с начинкой или как для осла сладкая морковка на конце оглобли. Прежде, Саша, революция была огнем: схватишь — руки обожжешь. Понимаешь ты меня, Саша? Опасно было для жизни гаркать о революции. А нынче каждый гаркает, даже проститутки по пивным романсы на революционный лад задувают. Все осмелели, как лягушки в пруду, до того осмелели, что голосов-то настоящих о революции не слышать иногда, проклятые лягушки заглушают...

Говорил-говорил Никита и вдруг, вижу я, весь просиял, остановился на минуточку, посмотрел на меня с улыбкой; улыбка у Никиты — как на проталинке ручеек весной.

— В общем, — говорит, — меня надо уметь слушать, Саша, и ты не пойми как-нибудь вперевёрт.

## II

Ничего я не сказал Никите Шаронову. В тот вечер обдумывал слова. А на другой день, как отправляться ему, сел с ним на дрезину и, когда мы приехали на станцию, за час до поезда, тут я за короткое время все мои мысли о разговоре вчерашнем выложил со всей душой, хотя и боялся, что дружба наша с Никитой Шароновым может дать разрыв, потому что мы круто идем в гору и, бывает, с горы срываемся, то-есть прямо как тараканы в масляной посудине. В такое время все мы замираем в подозрительности, но тут у меня заклепки осторожности полетели, и я понес крыть, как хотел, хотя начал с издалека. Я сказал:

— Дикари были мозговитее нас, товарищ Никита... Хотя я и работаю тридцать лет почти, но у меня на книжечку хватает время... Был, к примеру, у дикарей бог, такой товарищеский бог. Призывали бога дикари на свадьбу, на гулянку, на совет — куда хочешь. С богом костры жгли, песни пели, с богом даже девок любили, то-есть бог во всем участвовал с людьми по-свойски. Потом пришли прасолы и посадили бога в каменный мешок или, как говорят, в церковь. Посадили бога в каменный мешок, и с той поры пополз человек к богу на брюхе, как последний лакей, ползет и дрожит. Очень уж свирепый бог, и нельзя к нему иначе. Вот видишь, Никита, люди даже выдумку свою не сумели сделать покрасивее, и с тех пор стал бог для людей самым большим наказанием и по-настоящему проклятьем.

Гляжу я, у Никиты глаза закруглились, точно шайбы, и как будто повисли на ресницах. И Никита меня спросил. Приступил к самой груди и спросил:

— Ну?

Я отсекаю с напором каждое слово.

— Вот тебе и «ну!» — отвечаю. — Усохли мозги у людей. И ничего занятного выдумать люди не могут. Ты помнишь, Никита, о чем говорил вчера? Вот, если помнишь, значит, получай от меня по всей откровенности. Много людей теперь, которые к нашей революции в роде пришей-пристебай.

Никита ко мне еще ближе, и вижу я, руки у него трясутся до самых плеч. Я в это время дую дальше:

— И ты перед ними очутился в роде дурака. Подаю вам об этом красный сигнал, товарищ Никита! Что могут майданщики? У майданщика никакого замысла, им все равно чем торговать. И приду я, рабочий человек, посмотрю на сахарное яичко с барашком, и только захочу плюнуть. Нет, товарищ Никита, я против сахарного яичка, и думаю я пойти в партию, как ты меня призывал, товарищ Никита, и вся моя бригада пойдет гужом, чтобы вышибить майданщиков, и все рабочие, товарищ Никита, должны будут пойти. Вот какой мой ответ тебе!..

Шаронов стоял, как перед пулеметом на фронте. Губы сжал, и скулы играют, и не может человек сказать настоящего большого слова. Так мы с ним и простились, и я отправился обратно, чтобы продолжать мою работу.

На другой день приехала комиссия, а до этого я имел разговор с Файкой. Она хотела меня расспросить о Шаронове, но подходила к этому несмело, и я удивлялся, потому что всегда видел ее другой, то-есть смелой до невозможной дерзости. Про Никиту я сказал ей, что он все видит, хотя будто бы и не видит. Тогда Файка приободрилась опять. Я видел, как она встала на работу; она позабыла даже о своей подруге Симе, которая подвергалась опасности со стороны инженера Покровского. Я все это хорошо видел и по этому случаю разговаривал с Антониной. Между прочим, Антонина мне сказала:

— Ты насчет тонкого рассуждения негоден, Саша.

— Хорошо, пусть негоден, — ответил я. — Но нельзя инженеру Покровскому позволять гулять, как быку в стаде, потому что для всякой девицы всегда большой вопрос в любви и крушении душевного состава на всю жизнь.

Антонина посмеялась в глаза мне.

— Душевный состав, Саша, не при чем. Тут главное — наша женская доверчивость, если к нам подходят с честными глазами. Жалость, когда человек, кажется, погибнуть может, и большая сила в вашем брате. И еще скажу — прошлые века, которые укрепили в нас желание подчиняться.

Тогда я спрашиваю:

— Значит, инженер блюдет закон прошлого? И по-настоящему может быть мил?

Конечно, я делаю совсем спокойные глаза, как-будто говорю со стороны, но Антонина заметила, какое в моих глазах ворочается сердце. И тут же меня успокоила:

— С инженером Покровским мы будем иметь особый разговор, Александр Мокеевич.

Я услышал, что Антонина говорит не спроста, и успокоился. «Значит, — подумал я, — комсомолка Сима будет отбита». Думаю так и вижу, что Антонина шарится по карманам, папиросы ищет. Хотел было я торжественно посмеяться над женской ее слабостью, но сообразил, что лучше будет мне, если умеючи отойду в сторону. Кстати, Антонина тоже убежала, и у меня по-настоящему пробудился интерес к женскому самостоятельному действию.

Иду на работу и соображаю, как это дело отрыгнется и что будет в будущем у инженера Покровского. Хотя я успокоился насчет его фальши и даже был рад, что промахнулся в своем расчете в людской подлости, а все-таки про себя держу: «Чорт его знает! За всю мою жизнь в первый раз вышла у меня промашка». Иду по работам и глазами по-заправски, точно революционный чекист, за всем слежу. Под мостом на отмели, вижу я, стоит инженер Покровский с

комсомолкой Симой, и целует инженер этой девице руки. И вот тут же я схватываю взором, как инженера родная дочка Файка рубит болты, сидя на подмостках. Видит она ту самую картину, промахивается молотком мимо зубила и бьет по руке. Я стоял совсем близко и услышал Файкины слова при ударе и сразу, с тайным смехом, заметил, что хотя в беспорядке и без настоящего смысла, а все-таки ругается Файка очень здорово, как хороший мастеровой. Но тут же по существу женской своей слабости начинает плакать. Про себя порадовался я: «Ничего, дорогой товарищ, хорошее переварит плохое, и тогда будет настоящий сплав человека, который будет понимать рабочего не с налету». Мысли мои оправдались, когда вся комиссия, осматривая работы, подошла к Файке, и Файка на слова главного инженера о женщине ответила насмешкой. Мне было весело тогда, и для меня, можно сказать, день возвеличился. В тот час я не предвидел скандала и сам, когда подошла моя очередь, ввернул старшему инженеру словечко с усмешкой.

Потом мы спокойно отправились кататься на лодках по реке, в полном согласии со всей комиссией. И вздумал я отказаться, но Антонина взелась, обругала меня «дураком». Тогда, конечно, я принял участие, подозревая, что тут затевается что-то по женской стратегии. Вижу, Антонина крепко привязалась к инженеру Покровскому и донимает его разными темными для меня словами. Тогда я делаю предложение Файке, и мы уходим к лодке, катаемся по реке, и я спрашиваю ее насчет Никиты Шаронова. Файка краснеет, и слова ее такие, будто Шаронов Никита хороший товарищ и настоящий партизнец, каких мало. Я слушаю и не нахожу в ее поведении согласия со словами. Вижу, она думает о чем-то другом, и когда я приступил с вопросами поглубже, то сразу получил отпор, и Файка повернула руль к берегу. Ресницы ее стали тяжелыми, и я угадал чистоту ее сердца и сообразил, что тут, может, встретились два человека на всю жизнь. Я выскочил на берег, не оставляя мыслей о Шаронове, и все время упрекал себя за то, что в разговоре моем с Никитой ударил словом не туда и напрасно только смутил старого товарища разговором о майданщиках в нашей пролетарской революции. Вдруг слышу любовные слова, и между кустов, в роде как в уборе каком, инженер Покровский с комсомолкой Симой. Первым делом хотел было я разговариваться по рабочему нашему правилу с этим господином и даже рукава засучил, шагнул вперед, да к счастью вспомнил, что за мной Файка идет, и захотел я спасти ее от неподобающей картины. Обернулся, а она за плечами стоит, и глаза горят. Тогда я хорошо понял, что все для нее открылось. Тут я удивился ее спокойному лицу. Но Файка падает вдруг на землю и бьется, как подстреленная птица. Я говорю ей какие-то совсем нескладные слова и вытаскиваю на поляну, где находились все. Подумал я увернуться от скандала, а вышло наоборот. Я услышал, как Антонина смеялась, и сразу дога-

дался, что скоро будет бабий суд над инженером Покровским и вообще над мужской совестью.

— Остановись, Антонина, — крикнул я.

— Дай, Сашенька, потешить сердца, — отвечает Антонина.

В это время выступает из лесу инженер Покровский с комсомолкой Симой, и Антонина встречает инженера строгими словами за свое прошлое. Тогда происходит всеобщий скандал и большой стыд. Я не помню своей головы и кидаюсь прямо к инженеру. Что было бы — я не знаю, только тут меня оттащила Антонина в сторону, и господа инженеры ушли в большом конфузе. Я почувствовался, когда никого не было вокруг. Оказывается, я проплутал в лесу с невыносимой тяжестью в сердце целый час. Мне чудилось, будто тлеет весь лес в тоске, и земля перестала поить соками произрастания.

«Тяжелее всего людское раздумье» — вот как размышлял я, потому что когда шел под пули на фронте, передо мной была правда, и так близко, что я даже о смерти своей совсем, выходит, не думал. Теперь же, когда все прекратилось, и будто мирная жизнь, я увидел — правда моя издали маячит, и враг, который передо мной с острыми зубами, улыбается мне, в роде как и не враг вовсе. Тогда я испугался. Откуда же рабочий класс возьмет настоящий запал для борьбы, которая будет и разразится еще сильнее?

Я твердо держу в своей памяти все обиды. Я хочу приготовить себя к тому, чтобы отбить руки врагам. Мысленно я кричу моему старому товарищу Никите Шаронову: «Поддержись, Никита, как настоящий машинист, который ведет поезд! Ты нынче позабудь о слабых своих словах, и я о них позабуду».

Так я перебрасываюсь моими мыслями, шагаю вдоль пути по высокой насыпи и почтовый поезд, может, с буржуазными пассажирами, пропускаю мимо себя, как хозяин. И вот глаза мои бегут впереди поезда и видят на рельсах дочь инженера — Файку Покровскую. Тогда я несусь, сломя голову, к месту происшествия и на левом пути нахожу ее в беспмятстве. Я сильно радуюсь, что она спаслась. Я беру ее на свою спину, как неживую. Длинные косы оплели меня, будто тросы, голова ее у меня на плече, и, когда я переносу Файку под сосны и хочу принести воды, она открывает глаза на одну короткую секунду и говорит невнятным голосом:

— Я его люблю, Александр Мокеевич, и я говорю вам об этом и совсем не могу сказать ему, когда у меня все теперь высохло в душе.

— Душа, товарищ Покровская, для меня сапожное голенище, — отвечаю я. — А если ты касаешься Никиты, то я тебе советую сделать отбой, потому что человек этот для большого дела нужен и расходоваться на любовь никак не может, да еще на инженеру дочь, у которой мысли в другую сторону.

Если бы вы слышали, как хохотала Файка. Я не знал, куда мне деваться (Вот какие мои слова, они всегда у меня слепые и попадают



не туда, куда нужно. В голове у меня уместается все, умом я, может, землю просверлил, а на словах один смех, то-есть слов моих не хватает, получается словно бы молоко через сепаратор: молока — ведро, сливок — ложка. Все горе рабочего человека, что не может он словами убеждать, поэтому разговорные люди имеют большой успех во всем, и в революции нашей также. Слова большую имеют силу, я долго над этим думал: оказывается, ловкими словами можно неправду на правду перешить).

Я хотел сказать Файке, что наша страна погибельная и без настоящих людей может закружиться, значит, настоящих людей нельзя отвлекать даже любовью, даже своим сердцем от большой работы. Это все равно, что стрелочника за руки хватать, — тогда он может перевести стрелку на другой путь.

Ничего у меня не вышло из размышления. Файка вскочила на ноги, как-будто разговора и не случилось у меня с ней. Чувствую себя большим дураком, а с какой стороны — не могу додуматься.

Вернулся я к вагонам ночью, когда комиссия уже уехала. Мыслей моих за все это время я не успел перебрать. У меня так выходило: каждая мысль — большая станция, каждая догадка — полустанок. Тут я только понял, почему Никите Шаронову трудно; оказывается, и ненавидеть нужно уметь. Я оберегаю Никиту, а к нему, может, хочет подойти друг; хотя она и дочь инженера, но мысли ее в одну сторону с Никитой, а не с отцом своим. «Трудно женщине быть другом для мужчины» — так думал я, и никто мне не отвечал в полночи, и хотя закричи на всю землю, никто не ответит, потому что волк привык резать овец, и овцы привыкли бояться волка и сохраняли себя только хитростью. За ночь я не мог пробежать всего даже мысленно. Мир передо мной — будто весенняя вода, и глаза мои совсем другие, чем у прочих, оттого мы и не можем понять друг друга. Сколько каждый человек мучился в жизни? Если, думаю, сложить мучения воедино, то загорится земля, и небо потускнеет навсегда.

Мысль моя ударилась в Файку, и тут я совсем было собрался пойти к ней и растолковать, хотя ночь еще не разъяснилась как следует. Я сел на шпалы. Я не захотел спать, да и не стоило туманить сном голову на два или на три часа. Сверху мне было видать, как за лесом курились облака темно-синие, потом они помутнели и опустились совсем низко. Высокие сосны рвали их на клочки.

«Человеку в одиночку страшно смотреть на небо и на землю».

Я потерял себя. Потом передо мной встала заря, как-будто за лесом открыли двери плавильной печи. Тогда я очувствовался и увидел, что прямо на меня, из лесу, по просеке катилось солнце. Я почувствовал тепло, подставил солнцу спину и задремал. Рядом в кустарнике попискивала птица, и так тонко, как-будто кто-то ввинчивал ржавый болт в тугую гайку. Дремлю и даже вижу сон, и голова все тяжелее; совсем было заснул, как в это же время услышал писк сильнее, дер-

нул головой и открыл глаза. Солнце свернуло с просеки в лес и запуталось в хвое. Гляжу, отворяется в вагоне дверь, и выходит инженер Покровский с простыней на плече. Я ничуть на это не удивился. Инженер жил строго, как солдат, и наблюдал за собой. У меня даже мысль такая метнулась, что и рабочему человеку было бы хорошо это, да вот только за работой так намотаешься, что строгости над собой не соблюдаешь.

Уходит инженер к реке, а шея у него на солнце розовая.

«Моли бога, гражданин Покровский, что мы еще умом не владем по высокой линии, — подумал я, — а то бы мы нашли, куда тебя посадить за твою честность. Но погоди!..».

Инженер Покровский скрылся, и я спросил себя:

«Не ослабело ли мое сердце, которое как-будто и не бьется совсем?».

Солнце глядело теперь прямо на меня. Я прикрыл ладонью глаза и за красными кругами увидел Файку. Я увидел ее и чуть было не окликнул, — такое у нее непонятное лицо, будто мертвая, и совсем без движения. Я сдержал себя, притаился за шпалами, и, когда она прошла мимо, я стал следить.

Впереди была тропинка между мелким осинником, по тропинке скрылась Файка: она держала руки так, как-будто хотела их сделать незаметными. Она прижимала руки плотно к телу и совсем не двигала ими, в правой руке у Файки я увидел железный прут толщиной в три четверти дюйма. Тогда я умственно спросил себя:

«Какой чорт ходит купаться с железным прутом?»

Я не могу нести в голове непонятных вопросов, и я побежал за Файкой. Вдруг она спряталась в чаще. По тропинке показался инженер Покровский. Тут у меня в голове как-будто просветлело. Я остановился, или меня остановила моя мысль. Сначала мне стало радостно на сердце от этой мысли, но цена инженеру Покровскому была дорогая, как высокому спецу, и радость моя повернулась на испуг. Я бросился по тропинке, я подумал закричать, чтобы остановить инженера Покровского, — только подумал, а не закричал, потому что не успел, и еще потому, что думал надвое, то-есть мне хотелось того, чего втайне хотелось и чего втайне пугался я.

«Что может сказать Никита Шаронов, и как же я сумею ему ответить, и, помимо всего прочего, как я сам мог это допустить?»

Так вот я думал и не то бежал вперед, не то топтался на одном месте. (Нет, на фронте лучше. Там видно, куда штыком колоть, а тут...) Так и вышло, что я не успел во время. Ну, ясное дело, потому и не успел, что не верил своей догадке.

Инженер Покровский шел и розовел лицом и открытой грудью. (Ах, какая же скотина! А вчерашнее, вчерашнее?..) И солнце светило на инженера Покровского.

«Все-таки свинья живет лучше человека» — подумал я с большой обидой.

Я подумал только и обиду чувствовал, а другой же человек действовал. Выскочила из чаши Файка и с размаху ударила железным прутом своего отца. Должно быть, я все-таки успел крикнуть (не помню хорошо, что такое крикнул я, потому что Файка промахнулась. Может быть, нарочно? Ох, черт меня возьми, почему я не умею верить людям?). Железный прут скользнул по затылку и сонулся на плече. Инженер остановился. И вот что страшно, — он как шел со своей улыбкой, так и замер с ней, даже глаза не закрылись от боли. Я до того напугался, что тут же свернул в лес, сделал большой круг и тогда только возвратился к себе в вагон. Может, меня видели или не видели, — я не знаю этого. До начала работы целых два часа оставалось. Брякнулся я на свою постель и проспал их. Ну, прямо как-будто в нефти утонул.

Перед самым сном я много передумал. Времени ушло на это думанье всего минуты две, а может быть, и меньше, а передумал я за все, с того дня как приехал инженер Покровский с дочерью. Сразу она мне понравилась, эта девица. Вижу, тянется человек к настоящей жизни. Тянется и обрывается, потому что настоящая жизнь только-только ладится, и люди еще ходят умственно вниз головой иногда, и сообразить бывает трудно.

Еще подумал я:

«Бывает так, когда самый настоящий интерес скопится вдруг в одном месте на всей земле, только люди этого не замечают. Не каждый час и не каждую минуту убивает дочь отца. Как же никто не ужасается, и даже близкие люди спят в одном вагоне со мной и не чувствуют сердечной тревоги?»

Тут я, должно быть, уснул. Но когда проснулся и побежал на работу, мысль моя ничуть не оборвалась. Я про себя решил:

«Никакой интерес не интересен, потому что он уже на земле побывал когда-нибудь».

Я вышел из вагона, и как раз у ступенек стоял инженер Покровский. Голова его была забинтована, а правый глаз горел в крови, как горящий уголь под сифоном.

— Товарищ Брякин, — сказал мне инженер, — попросите сюда техника Соломину и с ней вернитесь ко мне.

Я ни одного слова инженеру Покровскому. Я повернулся по военному, и мы встали перед инженером, как два красноармейца перед командиром.

— Товарищ Соломина (инженер попробовал улыбнуться), я случайно упал с подмостей и разбил себе голову. Прошу вас и вас, товарищ Брякин, — обратился он ко мне, — продолжать работы без меня. Сегодня я уезжаю в Москву.

Только всего и слов было от инженера Покровского. Меня как-будто обухом по голове. Ведь он хорошо знал, кто его ударил. Вот какой я дурак: я считал себя героем и даже, было время, гордился этим про себя. Смешно даже, какого я еще ждал скандала? Ну, мне

думалось, например, что инженер Покровский застрелит себя или убьет дочь.

Инженер стоял, пощипывая кончик носа, и говорил так, будто нас и не было или, как бы это лучше сказать, были мы только как часовые; которым на бегу показывают пропуск, а в лицо и не глядят вовсе.

Утро сейчас лучше прошлого, а прошлое утро я теперь (после происшествия-то) и не помню даже. У меня осталось только одно: что утро было зеленое, то-есть когда все темнеет и солнце, показавшись при начале, вдруг ныряет за облака. Тогда все становится густым и недвижимым.

Антонина козырнула по-военному. Лицо ее еще строже. Она после вчерашнего стала совсем другой, и задушевный взгляд ее покрылся в роде ржавчиной, хотя я догадываюсь, в чем секрет; но молчу, не желая вредно раздражать женский организм.

Инженер Покровский тут же и уехал, через короткие минуты после нашего разговора. Тогда я спросил Антонину о том, как она думает.

— Ничего особенного, Саша, нет. Перекрыть фермами два мостовых пролета можно и без инженера Покровского.

Все-таки я не утерпел и, как-будто бы между прочим, заметил: — Чего ты достигла, Антонина, вчерашним скандалом? Только чуть было Файку не сгубила и разделила навсегда отца с дочерью.

— И не дала коту полакомиться комсомолкой, — добавила Антонина. — Ты, Сашенька, или мудр или прост до глупости.

— Может, я так, нарочно, — говорю я. — Может, так прозрачнее жизнь для меня.

— Ну, я не буду головы ломать, — отрезала Антонина. — Да теперь мне, пожалуй, и поздновато рассуждать, кого и с кем я разделила. Понял, Сашенька, дурачек? Ступай, тащи сюда Файку, хочу поговорить с ней.

Пощел я за Файкой. Мне всегда приятно было на нее глядеть, с ней говорить и просто быть с ней, а вот как это приятно — рассказать-то не расскажу. Никакой манометр не покажет настоящего сердца и что в сердце происходит, когда глядишь на человека и находишь его в себе. Это все равно что в жаркий день лежать в тени, ничего не делать и никуда не торопиться, — тогда чувствуешь, как ты живешь с землей, с каждым сучком дерева. Все молчит, и ты молча говоришь со всеми, — вот какое у меня сознание, когда мне очень хорошо около человека и сильно хочется, чтобы человек тот понял меня.

Файка была на своем месте и работала. Рядом с ней стояла комсомолка Сима и разговаривала, и обе смеялись. И ни черта я не понял в этих людях, то-есть как это могли они разговаривать после того, что случилось вчера и что произошло нынче утром. Файка сейчас же и ушла с подругой, как только я сказал ей, что ее просит Антонина. Я посмотрел вслед ей, и я подумал, что для Никиты Шаронова она неопасна.

## III

Одного только я боялся, когда думал насчет Файки, что за прилавком у революции встанет еще один лишний приказчик, и будет угождать. (Это опять все то же, о чем говорил я Шаронову, только с другой стороны.) Может быть, нужно перестать говорить об этом, а я твержу, потому что все близко мне, и все мое, и все боязно потерять. Революция имеет пасть широкую, зубы жадные; за хлебом и всего другого подавай, да, пожалуй, всего другого-то побольше в сто раз. Хлебец в роде фундамент, — заложил покрепче и катать все сорок этажей. И каждый этаж с вывеской. На первом вывеска кричит: «Поддай хорошую книжечку!». На втором: «Построй невиданный театр, чтобы без слез, но с большим волнением!». В третьем: «Дай любовь новую, где соловьи хотя и не поют, зато влюбленные жить друг другу дают!». Вот тут сейчас же и начинают выскакивать ловкачи со своими товарами. Они тебе и театр построят — глазом мигнуть не успеешь, и любовь наладят по всем статьям закона, и, одним словом, что хочешь изобразят.

Вот уж сказать можно: «Возвеселился дух мой». Файка оказалась совсем другой, она ничуть не кричит насчет пролетариата, и этому радоваться можно. Когда человек кричит, значит, глаза отвести хочет, значит, затаился в его сердце вор. Над этим можно было бы посмеяться, если глядеть издали, но как же могу я смеяться, когда все толкаются и суетятся вокруг меня? И многое у нас на крикливости держится при настоящей пустоте крикунов. И тогда я говорю себе: «Хвастуна от богача не отличишь». И зачем только хвастуну позволяют греметь, когда у него пятак в кармане? Значит, нечего ему орать, что он весь базар закупит.

Все это я для того, что Файка по-настоящему наш человек, и голова ее за десять мужчин в честном направлении работает с нами. Теперь я ее вижу в мастерских каждый день, и как-то не помнится даже ее отец, уважаемый господин Покровский, который теперь где-то на Кавказе; и мост, отстроенный нами, остался у меня на карточке с полным составом строителей, кроме самого Покровского.

Стоит зима. В мастерских холодно. Рабочие клянут все на свете, работая на капитальном ремонте паровозов. Голыми руками нельзя взять гаечного ключа, а в перчатках какая же работа, когда все в нефти и в керосине. Я не виноват, а все-таки жду, что меня стукнут где-нибудь в углу молотком по голове. Может, и стукнули бы, только Файка и спасает. Она носится по мастерским и на правых инспектора труда тычет в нос администрации каждым упущением по охране труда.

— Вы не рассказывайте мне, дорогой товарищ, что у вас нет материалов! — шумит Файка. — Если будете сидеть в конторке и греться у печки, никогда ничего не будет.

Так почти каждый день: Файка ругается, в цехе моем радуются... И в конце концов все стали ходить на собрания, чтобы коллективно улучшить условия работы.

По вечерам все наши мастерские в клубе. И тут я замечаю, что и другие цеха как-будто прочистили мозги, и никто друг от друга не отстаёт.

Человеку надо устроить жизнь очень умело. И вот у нас как раз и нет устроителей. То-есть мало устроителей. И надо подумать над жизнью, как с ней справиться лучше.

Иду к Файке. Файка с Симой и Антониной орудуют в читальном зале. Иду и спрашиваю себя: «Чего мы не оценили как следует в своей жизни?». Об этом же спрашиваю и Файку. Файка смеется легко и необидно. Я тоже начинаю смеяться. Потом Сима наскაკивает на меня.

— Вы, товарищ Брякин, спросите об этом себя и своих друзей,-- говорит она, — а нам не мешайте работать.

— Себя я спрашивал, — отвечаю я.

Конечно, хочу показать себя перед женщинами в превосходной степени своего ума. Но не могу догадаться, в чем моя превосходная степень. Слышу, говорит Антонина:

— Ты, Сашенька, подумай, может, и сам решишь задачу.

Так я и отошел, ничего не добившись. Но, когда я увидел на другой день Файку в мастерских, услышал ее разговор с рабочими, тогда я понял, что мы в своей жизни не оценили женщину, и оттого, что мы ее не оценили с начала жизни, она пошла другим путем, и ей было унижительно жить. Чтобы окончательно утвердиться в своей догадке, я однажды пошел к Файке на квартиру (нарочно так сделал: пусть, дескать, один-на-один будем, когда человек может и соткровенничать).

Комната у Файки узкая, как проходная будка в мастерских. Прямо широкое окно, и глядит окно на трубу машинного отделения, а внизу расположился кузнечный цех.

Файка меня очень любит. Она ничего не говорит, а я вижу. Это ведь самая настоящая любовь, когда люди не говорят. И любит она меня расположительно к душе, то-есть не как любовника.

На светлом месте комнаты стоит столик, и около всего-на-всего два стула. Я помолчал немного, а может быть, я много молчал.

— Александр Мокеевич, — звенит у меня над ухом голос Файки, — скажите, Александр Мокеевич, если я напишу о наших бюрократах прямо Шаронову, хорошо будет?

Конечно, я смекнул: она хочет видеть Никиту Шаронова и все ищет заделье. Она и теперь вот бегаёт от стола к двери и, может, убежала сию минуточку к нему своим умом, чему я, по настоящей правде, был бы и очень рад и очень таким поворотом доволен. Я держу это в уме, и так как пришел совсем с другой мыслью, то обрываю себя и спрашиваю ее.

— Только по совести, товарищ Покровская! (Голос у меня строгий).

— Что такое? — пугается Файка.

— Только по совести, — приступаю я еще строже, — скажи мне, за что ты стукнула в тот раз папашу? Почему он тот раз так и ничего не сказал? Ты тоже молчишь, и мое дело в роде как сторона, хотя я был во свидетелях, только струсил.

— А может быть, поощрить хотели, Александр Мокеевич? — спрашивает Файка и бледнеет до настоящего цвета выбеленной стены.

— А может быть, — сознался я. — Мало ли у меня мыслей, товарищ Покровская. Тогдашних я не помню.

— Так, так... — бормочет Файка.

Она все бегаёт от стола к двери. Ну, бегаёт и бегаёт, при чем я сижу спокойно и в роде как ничего не замечаю. Только мысли мои из комнаты ко всем гражданам непролетарской закалки.

— Дорогие граждане, — хочу крикнуть я, — а не ошиблись ли? Бывает ли так: возжелаешь — и вдруг напугаешься, когда пожеланье твое исполнится или, к примеру, только что начинает исполняться, вот так прямо начинает исполняться, и как сейчас же ни оттуда ни отсюда выплывают сдобные мысли о прошлом и — конченное дело, и прости-прощай, революция!..

— А может быть, Александр Мокеевич, я тогда хотела испытать себя! — смеется Файка и прямо глядит мне в глаза.

— Угу... — мычу я. — Вот я то же самое и подумал, товарищ Покровская, что у тебя были тогда мысли насчет испытания, насчет того, как ты близко подошла к пролетариям. И вышло, что подошла, да не совсем, сдобные мысли смутили.

— Какие сдобные мысли? — удивляется Файка. — Ничего не понимаю.

Я приободряюсь и тут начинаю раз'яснять по моему домыслу, как я это дело понимаю.

— Такие сдобные, которые на прошлогоднее солнышко потягивают, то-есть будто в прошлых днях все удовольствия жили, да так там и остались, а у нас теперь одна изморозь цветет. И потом будто оттуда, из прошлых дней наносит таким сдобным духом, в роде там все пироги или не знаю какие яства горой росли, и вообще там все праздники собрались, и, конечно, прошлые праздники удержались в голове, а нынешние из-за прошлых не замечаются.

Файка все бегаёт от двери к столу; она бегаёт, и ей, должно быть, легче меня слушать, — ведь говорю я для нее тяжелыми словами.

— Вы хорошо насчет сдобных мыслей рассказываете, Александр Мокеевич, — кивает мне Файка. — Только меня такие мысли не смущали. Просто в тот раз, тогда, в лесу-то, не хватило силенки расплатиться за обиду женщины. Может быть, и еще кое-что шевелилось в голове.

Файка остановилась около окна, поглядела на трубу машинного отделения, должно быть, увидела кого-то на улице, потому что вся порозовела вдруг, и даже синяя блуза на ней как-будто порозовела.

И вздохнула Файка не грудью, а всем телом. Мне показалось, что она и сама-то в роде взлетела над полом. И мои мысли о ней, насчет ее настоящего подхода к нам, вильнули неизвестно куда, упали, как дым из паровозной трубы, разметались, что твои облака в ветреный день. Очень я удивился, глядя на Файку. Поднялся тихонько, сам взглянул в окно через Файкино плечо и поймал я глазом спину Никиты Шаронова, который шел по другой стороне прямо к нашему клубу; и я вспомнил, что нынче его доклад о дорожном положении, и какие у нас беспорядки по всей линии имеются.

Тут обернулась ко мне Файка (после того, как проводила глазами Шаронова). Она обернулась, и мне захотелось заплакать от таких глаз ее, в которых голубая паутина задымилась вдруг.

— Все-таки, Александр Мокеевич, — заговорила Файка, — я выдержала испытание. Немножко, совсем немножко потрусил. Только вы ничего не подумайте дурного, Александр Мокеевич, слышите, ничего дурного. Я ведь совсем на другой стороне жизни выросла, Александр Мокеевич. Отец — там, а я — здесь. Я не приходила к вам и не уходила от вас.

— А может быть, он дал тебе такие мысли?

Я подмигнул этак по-хитрому на окно, откуда мы смотрели на Шаронова, подмигнул я и засмеялся, чтобы она обиды не заметила в моих словах.

— Товарищ Брякин, могу я...

Файка махнула рукой, метнулась к двери и в мыслях своих, должно быть, переменяла слова.

— Может, товарищ Брякин, женщина выбирать или не может? Разрешаете вы ей это после революции?

Я немного сдал назад и за ничтожную секунду промахнул полжизни. Я остановился на Антонине, которая встала передо мной вот так же, как Файка.

— Товарищ Покровская, — сказал я, — женщина может выбирать, и я никакого протеста против не имею...



# А небо будущим беременно...

О. МАНДЕЛЬШТАМ

Опять войны разногласица  
На древних плоскогорьях мира,  
И лопастью пропеллер лоснится,  
Как кость точеная тапира.  
Крыла и смерти уравнение  
С алгебраических пирушек  
Слетев, он помнит измерение  
Других эбеновых игрушек,  
Врагиню ночь, рассадник вражеский,  
Существ коротких ластоногих  
И молодую силу тяжести:  
Так начиналась власть немногих...

Итак, готовьтесь жить во времени,  
Где нет ни волка, ни тапира,  
А небо будущим беременно  
Пшеницей сытого эфира.  
А то сегодня победители  
Кладбища лета обходили,  
Ломали крылья стрекозиные  
И молоточками казнили.

Давайте слушать грома проповедь,  
Как внуки Себастьяна Баха,  
И на востоке и на западе  
Органные поставим крылья!  
Давайте бросим бури яблоко  
На стол пирующим землянам  
И на стеклянном блюде облако  
Поставим яств посередине.  
Давайте все покроем заново  
Камчатной скатертью пространства,  
Переговариваясь, радуясь,  
Друг другу подавая брашна.  
На круговом на мирном судьбище  
Зарею кровь оледенится.  
В беременном глубоком будущем  
Жужжит большая медуница.

А вам, в безвременьи летающим  
Под хлыст войны за власть немногих —  
Хотя бы честь млекопитающих  
Хотя бы совесть — ластоногих.  
И тем печальнее, тем горше нам,  
Что люди-птицы хуже зверя  
И что стервятникам и коршунам  
Мы поневоле больше верим.  
Как шапка холода альпийского,  
Из года в год, в жару и лето,  
На лбу высоком человечества  
Войны холодные ладони.  
А ты, глубокое и сытое,  
Забременевшее лазурью,  
Как чешуя многоочитое,  
И альфа и омега бури;  
Тебе — чужое и безбровое —  
Из поколенья в поколение,  
Всегда высокое и новое  
Передается удивление.

1923.

---

# Повестъ

**СМУТНОГО ВРЕМЕНИ О ИВАШКЕ БОЛОТНИКОВЕ, О ЕГО  
ТУРЕЦКОМ ПЛЕНЕНИИ, СЛАВНОМ ЖИТЬЕ В ВЕНЕЦИИ  
И О МНОГИХ УЧИНЕННЫХ ИМ НА РУСИ МЯТЕЖАХ**

**ГЕОРГИЙ ШТОРМ**

Народ нас создал, возвеличил.  
Что ж, приходи казнить, народ!

Хлебников.

Часть первая  
**ПЕРЕД СМУТОЙ**  
**Юрьев день**

И тем крестьянам отказывается один  
срок в году: Юрьев день осенний.

«Р о с п и с ь,

что прислал поминков <sup>1)</sup> Руделф цесарь к царскому шурину,  
к слуге и конюшему, боярину и воеводе... к Борису Федо-  
ровичю Годунову...

...часы стоячие боевые со знамены небесными, два же-  
ребца, а попоны на них бархат черфчат. Да государя Бориса  
Федоровича сыну Федору Борисовичю... шесть попу-  
гаев, а в тех попугаев два есть: один самец, а другой  
самка... а Федору ж Борисовичю две обезьяны...»

Царь Федор преставился.

Слуга и конюший, боярин и воевода сам «учинился на царстве».  
Вознесены были и попугаи, дареные цесарем: из боярского—в царский  
пожалованы чин...

## 1

Как солнцу над Москва-рекою блеснуть—скрипят под кремлевской  
стеной досчаники, и слышится волжский говор. А сухопутьем, цепляясь  
на заставах за мытные дворы, лениво ползут по слободам возы с

---

<sup>1)</sup> Подарков.

кладью. Зорко осматривают товар щупом — не сыщется ли вина, не везут ли из-за литовского рубежа грамот с умыслом на великого государя.

А царя Бориса в Москве нет. Опять пошел на Оку «проведывать» крымского Казы-Гирея. По весне отовсюду согнали людей: из Чернигова, из Ельца, из Воронежа, из Курска. Дали всем по медному грошу: как вернутся с похода—те гроши сдадут в приказ,—сочтут воеводы, сколько пришло, сколько побежало.

Окна курных черных изб закрыты деревянными втулками. Мимо огородов и пустырей тянутся возы. Крестьяне везут на боярские дворы тягловый сбор: шерсть на епанчи, масло, свиней, кур, красные резные ложки.—«Юрий холодный оброк собирает» — говорят мужики и нахлестывают вязнущих в грязи лошадемок.

На Красной площади—лавки; каменные, сводчатые, с одним малым окном за железными ставнями. А перед ними спозаранку—каждый на свой голос и манёр—шумят ряды.

Осеннее солнце бьет по васильковым и темномаковым сукнам, по песцовым с цветною выбойкою одеялам; глухо позванивают оловянные блюда, чаши-кунганы; громоздится «служилая рухлядь» — пищали и бердыши.

Толпятся холопы, раз'езжают дворовые конные. Их нынче много.—Воеводы пришли на государеву службу со всем своим скарбом, с челядью, женами и детьми. У Фроловских ворот вовсе проезду не стало: приезжий народ на Постельное крыльцо ходит, день-деньской бьет челом.

На земле меж рядов стрелец и старец играют зернью.

— Отче, за што тебя из монастыря выгнали? — спрашивает стрелец.

— Зане я на кабаке пью, иноческое платье с себя пропиваю и зернью проигрываю,—со вздохом отвечает старец.

— Эх, кости пёстры—зерньщику сестры!—воскликает стрелец и ловко раскидывает кости.

Холопы, крестьяне и городские зеваки собрались подле них в круг.

— Крещение!—раздался вдруг голос.—А не Юрьев ли ноне день?—Рослый крестьянин, оглядываясь по сторонам, вышел на середину.

— Юрьев! Вестимо, Юрьев!

— Сохнет и болит мужик по Юрьев день, а все ему льготы нету!

Игравший в кости стрелец вскочил и взял крестьянина за плечо.

— Косолап! Друзе! Не чаял тебя на Москве зрети!

Тот усмехнулся и проговорил:

— Верно, крещение: народ без выхода вконец погибает. Мысленно ли дело, чтоб нам с земли на землю не переходить?

Кругом зашумели:

— В иных вотчинах и корму нет, да на промысла рук не напасешься!

— Побежим, куда очи несут!

— Да по цареву указу беглых велено сыскивать и возить назад, где кто жил!

— Пойдем - ка всем миром к царю,—сказал крестьянин,—пущай нас не томит, выход даст, о людях своих порадует.

— Да царь - то где?—крикнул стрелец.—На Оку сволокся, нешто не знаешь?

— Ино—к царевичу! Он потеху любит,—яз его шутейной речью уважу.

— Ходим к боярам! Им о Юрьеве дни слово молвим!

— Шумом праву не быть. Эх, смутники!—прошамкал старец.

Сбивая лари купцов-рядовичей, народ двинулся по Кремлю.

Звонили к обедне.

В ясном безветрии плавала паутина.

Медленно кружился лист боярышника.

## 2

Меж жилыми покоями и теремами—Постельное крыльцо—место челобитчиков—Боярская площадка.

У крыльца—дьяки в высоких горлатных <sup>1)</sup> шапках. На столах, крытых багрецовым сукном,—лубяные коробки, гусиные перья, заморская бумага. Два боярина стоят, не глядя друг на друга, оба грузные, красные, то и дело вытирая потные от гнева лица.

— И он меня обесчестил,—сказывали, молил про меня: «пьяный князь»,—говорит боярин.

— Черти тебе сказывали,—отзывается другой.—Молил я: «есть-де у него в лице искра пьяная».

— Из-под бочки тебя тащили!

— Псаренков ты внук!

— Вольно вам лаять, бояре!—говорит дьяк.—Уймитесь! Ужо вас царь рассудит.

Звон множества малых колокольцев раздался в сенях. Народ впопыхах неловко стал на колени.

Вышел царевич. Сокольничие несли за ним птиц: кречетов и челиг; подсокольничие держали птичий наряд: колокольца и клубочки, шитые по хозу золотом волоченым.

Федор был толст, бледен и улыбался без причины.

Конюший, Дмитрий Годунов, сказал:

— Вёдро, государь! Радостен будет высокого сокола лёт. Натешись в поле вдоволь...

Невдалеке закричали стрельцы, сдерживая толпу напивших холопов. Рослый, бывший впереди детина прорвался; за ним устремились другие. Федор спросил:—Чего им?

<sup>1)</sup> Из горлового меха.

— Не в многом биваньи, не в большой докуке,—сказал детина, кланяясь царевичу в ноги,—не мы жалобим, государь,—Юрий осенний челом бьет!

Федор славно, по-детски засмеялся.

— Кто таков? Скоморох?—хмурясь, спросил конюший боярин.

— Зовусь я Фомою, а живу с сумою, в гости хожу нечасто и к себе не зову.

— Эй, буде глумы творить!—крикнул боярин.—Сказывай, пошто народ поднял?

Толпа, заволновавшись, придвинулась.

— Крестьяне мы искони-вечные!

— Выход нам, государь, пожаловал бы!

— Посылают нас на работу за два часа до свету, а с работы спускают—час ночи!

— Вона што,—сказал боярин Годунов.—В сем деле царевич не волен. Промышляет о том великий государь Борис Феодорович.

— Да мы ж, сироты, притомились, выхода ожидаючи, душою и телом!

— Невтерпеж нам служба бесконечная!

— Пожалуй нас, государь, для своего многолетнего здоровья, укажи выход дать на легкие земли!

Федор, перестав улыбаться, нетерпеливо поглядывал на небо.

— Ну, сказано вам,—закричал боярин,—чего докучаете? Ступайте с миром!

— Государь,—сказал вдруг челобитный дьяк, указывая на Косолапа.—Сей человек—вор, он меня прошлым летом под Тулою бил и мучил и голову вертел кляпом!

— Шиш подорожный, вестимо,—поддакнул и второй дьяк.

— В приказ—для расспросу!—молвил Дмитрий Годунов.

Стрельцы скрутили Косолапа.

— Начальные!—по чину возгласил ближний боярин.—Время наряду и час красоте!

Сокольничие взялись за птичий наряд: кто за клобучек, кто за серебряный рог, кто за вызолоченный колокольчик.

— Булат! Свертяй! Олай!—раздавались имена ловчих птиц. Кречета быстро поворачивали головы на коротких шеях, стреляя по сторонам грановитыми глазами.

Конюхи-кологривы подвели аргамаков. Царевич сел на коня.

Поезд двинулся к Фроловским воротам.

### 3

В терему на окнах настланы червчатые сукна. На лавках—полавошники с разводами, реками. На столе—букварь, перья для письма цветные лебязьи. В столовой доске—подстолье на четырех отводных ногах на польский образец.

Дремлет на лавке дьяк. В углах тонко звенят мухи.

«... А в тех попугаев два есть: один самец, а другой самка, и те два—Борису Федоровичю...»

Посреди палаты—клетка; ее спускают и поднимают на векшах-блоках: — «Це-сарь!» — кричит попугай и бьет широким, жаркого цвета опахалом. С крыльев сыплется лазоревая пыль. На голове самца перистый рдяный круг.

— Тьфу!—сердито говорит дьяк и раздрает слипшиеся глаза ладонью. Он приведен ко кресту, что «быть ему у государевой птичьей потехи и никакого дурна б ему над государевы попугаи не учинить».

На Постельном крыльце—шум. Дьяк, зевая и крестясь, выглядывает в оконце.

Еще только занялся трудный челобитный день, а столы уж завалены грудой жалоб. Холопы и крестьяне, насильно закабаленные, изувеченные боем приказных плетей,—всяк молит «учинить по его делу сыск и указ, оказать милость и пощаду»...

«Сыскать накрепко»—пишет на бумаге дьяк, ставит помету: «чтена» и откладывает в сторону.

— Ныне нам докука беспрестанная,—ворчат судьи-бояре.

Из толпы выходит старая жонка, держа за руку хилого парня-недоросля; степенно, не торопясь, бьет челом.

В окне над крыльцом—заспанная волосатая голова дьяка...

Жонка говорит быстро, срываясь с голоса, то и дело заходясь плачем:

— С Черниговщины мы, князя Ондreja Телятевского дворовые людишки... Жил муж мой и я, бедная вдова, у князя на селе по доброте — бескабально. А как мужа моего не стало, и князь, видя нас беспомощных, похолопил насильно меня и дочеришку мою Марью, прозвище—Грустинку.

Хилый, тщедушный недоросль стоял, переминаясь с ноги на ногу, глядя на бояр большими разными глазами.

— И то жалоба моя—не вся,—продолжала со слезами выкрикивать жонка.—Прошлого году на Юрьев же день брела дочеришка моя по воду, и поймал ее княжой сын Петр Ондреев к себе для потехи. И я прибежала к нему, ко двору, и люди его били меня смертным боем—палец на правой руке перешибли, вдовье платье на мне изодрали. И по сю пору возит княжой сын дочеришку мою за собой и ныне, приехав к Москве, мыслит ехать под Серпухов к отцу своему в большой полк с нею ж.

— Добро!—сказал челобитный дьяк.—Видоки у сего дела есть ли какие?

— Един видок у меня,—молвила жонка, указывая на недоросля,— он же, дай ему бог веку, и жалобу писал...

— Эй, жонка!—крикнули за столом.—Коли на Руси повелось, чтоб робята челобитному писанью навычны были?!

— Истинно так! Да он же в княжой домовой церкви поет и грамоте гораздо знает. А с дочеришкой моей сошлись они от малых годов в любовь да совет. А людишки наши—никто жалобы писать не захотели, потому что княжой сын уграживал убойством и московскою волокитюю.

— Спытать его,—сказали дьяки,—верно ли молвит жонка.

Боярские шапки над столом качнулись и сдвинулись; над склоненными шеями вздыбились высокие воротники.

— Дать ему сперва писати, да потом честь какие ни есть указы!

Недоросль шагнул к столу, взял перо, написал полууставом треть столбца, слушая речь дьяка.—Ишь, строчит!—сказал тощий рыжий боярин.— В приказе б ему сидеть. А ну, дати ему честь указ!

Отрок бегло, единым духом прочел:—«Указ царя и великого князя всея Руси Бориса Федоровича»...

— Буде!—оборвал челобитный дьяк.—Изрядно, бояре, чет. Прытче нас с вами...

Заспанная голова в теремном оконце затряслась от смеха.

— Це-сарь!.. Дай сахарку!—прокричал за дьячьей спиной попугай!..

Дьяк, оборотясь, посмотрел на кричавшую птицу. Взгляд скользнул по столу с лебяжьими перьями и букварем. Усмешка раздвинула заросшее космами лицо. Забавная мысль взбрела на ум. Он раздельно, четырежды хлопнул в ладоши...

## 4

Теремные слуги ввели в палату оробевшего отрока.

Синие с беловойтой струйкой глаза пробежали по стенному письму, по изразчатым печурам, по ш а ф а м — полкам с дверцами.

— Ступайте! Ненадобны!—сказал дьяк слугам и молвил:—Здорово!

— Здорово, дьяк! Прощай, дьяк!—закричали попугаи.

Отрок, попятившись, боязливо уставился на птиц.

— Дивно тебе?—со смехом сказал дьяк.—Не страшись, папагаи—они пригожие. Поговорки поговаривают. Да ближе ступай. Пошто сробел, грамотей?

Холоп нерешительно двинулся к клетке.

— И чин на мне есть,—молвил дьяк,—а грамоте куды хуже твоего знаю. Просто сказать—не умею и ступити, по Псалтири едва бреду...

Взяв со стола букварь, он протянул его недорослю.

— Вот што удумал. Обучи для потехи птиц грамоте.

Холоп, все еще робея, усмехнулся и, взглянув на клетку, бережно развернул букварь.

Азбука.



На полях—указ-правило, сверху—речь золочёна. На одном листе—голубок и подпись: «Нескоро поймаюсь», на другом—кулак, и подписано: «Силно бью».

— Што тут первое?—спросил дьяк.

— Первое тут большая полная государева титла.

— Сие пригоже. Титла—зело разумно. А то все: «цесарь» да «цесарь». Нешто наш государь немец? Ну, теперя чти!

Цепкие чешуйные когти стиснули поперечные жерди клетки. Увидев вблизи холопа, птицы разинули клювы и забили крыльями. На свету отрезом тонкой цветной тафты повисла лазоревая пыль.

— «Великий государь, царь и великий князь, Борис Федорович, всея Руси самодержец!»

Наука шла плохо. Попугаи кивали головами, отвечали холопу неусветным вздором. Титул прочитывался до конца, и птицы умолкали.

— «...Борис Федорович, всея Руси самодержец!»

— С а м о р - р - р е ж е ц! — вдруг тонко прокричал попугай.

Отрок прыснул.—Ах, язви вас, потеха!..

Дружным скрипучим хором птицы повторили слово.

Затрещина прозвенела под палатными сводами. Дьяк быстро вырвал у холопа букварь.

— Ну, ты, шпынь!—просипел он.—Кнута орленого не ведал?!

Крикнул палатным слугам:

— Сведите его иным ходом, да нешумко, чтоб никто не приметил!..

Оставшись один, он долго озирался, вытирая со лба пот.

## 5

Вытолканный из теремов холоп брел Ивановской улицей на Варварский крестец, где с весны стояли домочадцы Телятевского.

В Китае—за Гостиным двором—шла торговая казнь: там ставили на правёж—выбивали из должников «напойные деньги». Царь Борис закрывал кабаки, но все же их было вдоволь. Москва холопу была не в радость. Заслышав крики, он пошел быстрее...

Вспомнился родной Черниговский край. Бортные—медовые леса, куда он, бывало, уходил с Грустинкой. Дупла и пни стояли залитые медом. Пчелы гроздьями усеивали ветви. Они собирали их звуками рожка...

Пройдя огородами на княжий двор, он пошел мимо служб и жилых строений.

Холопы седлали для молодого князя мглистого «Звездку». Конь зевал, обнажив ясные челюсти; через весь его лоб шла лысина. Грива и хвост были до половины черны.

У крыльца пересмеивались боярские девки и грызли хрупкий зеренчатый сахар. Волосы их были убраны в подубрусники и связаны так туго, что едва можно было моргать.

— Хорош ишел, да не поклонился!

— Чего смутен таков?—закричали дѣвки, завидев холопа.

Венцы в роде теремков качались на них, униженные туманной ряской. Они затормошили его, закричали все разом:

— Отколе бредешь?

— Али изобидел кто?

— Да молви што ни есть? Немтá!

— А бреду я из терема государева,—сказал он, усаживаясь на приступках.

— Из те-ре-ма? Государева? Ох, а верно ли то?

— Ей, право! Папагаев смотрел.

— А какóвы папагаи-те? Страшные аль пригожие?

— Птицы они сметливые,—молвил холоп,—поговорки поговаривают. Я их грамоте учил.

— Потешаешься!—закричали дѣвки.—По глазам видать—обманываешь!

— Да ей же, нет. Обучал я птиц государевой титле. Ну, и за посмех то стало...

На крыльцо в алой дорожной фerezее, с витой пелтью в руке вышел княжий сын Петр.

Холоп, не видя его, продолжал:

— Учал я, стало-быть, титулу вычитывать. Папагаи-те: — «брувру», — первое — назади, а последнее наперед твердят. А как молвил я: «Всея Руси самодержец», и они вскричат: «саморежец! саморежец!»... Не лгу. Истинно так.

— Скоморошишь!

— Мысленно ли то?

Витая плеть, свистнув по крылечным балясам, ожгла спину холопа.

— Эй! Каково слово про великого государя молыл?! — заорал, сбегая вниз, княжич Петр...

## 6

В приказе, куда приставы привели холопа, было чисто и тихо. Медный рукомойник висел у печи. В железных шанданах торчали сальные свечи. Дьяк и судья «заедино», в голос чли «отписки». Перья скрипели на столах, крытых багрецовым сукном.

Со двора доносился крик:

— Да мы ж, как воеводе били челом, рубль денег дали, да княгине сгб полтину, да племяннику гривну, да д в о р я н а м их столько ж! Пусти нас, служивый, вот те крест, — негде гроша взять!

— Ступайте!—слышалось в ответ.—Недосуг нынче.

— Эх ты рожа жадушая и пьяная!—раздался голос, и тотчас кто-то быстро побегал от избы прочь...

— Кого приволок?—спросил дородный большеухий судья у пристава.

Тот, склонившись над столом, что-то тихо сказал.

— Вона ка-ак!—молвил судья и задвигал ушами.—Сие дело высокое. Надобно учинить особый сыск тайно. Покаместа—на с'езжую его...

Обитая войлоком дверь с'езжей избы затворилась.

Шагнув из полутемных сеней на свет, отрок вступил в клеть с одним малым, забранным решеткою оконцем.

На земляном полу лежали люди. Ноги одного плотно стискивались притесанными брусками: он был «посажен в колоду» и заперт в ней на замок.

Рослый детина встал и подошел к холопу.

— Не бранись с тюрьмой да с приказной избой?—молвил он.— То верно?

Холоп тотчас узнал шумевшего на Постельном крыльце.

— Своровал што? Али так? Без вины, напрасно?—спросил детина.

Борода у него была светлая, льняная, а глаза темны.

— А и сам не ведаю,—ответил холоп,—за государеву титулу, бают...

Сведав холопью вину, детина сплюнул и проговорил:

— Эх, и дело-то пустое, а все ж учнут тебя завтре плетьюми драть... Ну, ништо,—торопливо сказал он, — ты чей-то будешь?

— Телятевского князя, Ондreja.

— Не чул на Москве такова.

— Да мы с Черниговщины, издалека.

— Вона што. Отец, мать есть у тебя?

— Мать,—сказал холоп,—не упомяну, когда бог прибрал, а отец при царе Федоре сгинул. Сказывали—ведомо было ему некое княжье умышленье. А посылал его князь в лес, на суболотья пути ставить, да из лесу не воротился отец, сшел безвестно куда...

— Та-ак-то, — промолвил детина и опустил голову.

За оконцем смерклось. Медяная полоса зари была, как меч, упертый рукоятью в запад. Волоча по земле бердыш, прошел мимо стрелец.

— А дьяк-то наклепал на меня,—сказал детина,—сроду я вором не был. Да, знать, рок таков: и впрямь придется под дорогою стоять, зипуны - шубы снимать.

— Уйти бы,—тоскливо сказал холоп.

— Дело говоришь. Только молод ты. За мной не ходи, а ступай на Волгу. Доброй совет даю. Как вспомнешь—знай: зовусь Хлопком-Косолапом...

Невдалеке раздались частые глухие удары.

Сторожа, перегородив улицы бревнами, заколотили в доски.

Косолап подошел к оконцу, ухватился за решетку и тихо запел:

Как и эту тюрму  
Мы по бревнышкам разнесем.  
Всех товарищей-невольничков  
Мы повыпустим!..

Город спит.

Окна домов плотно задвинуты деревянными втулками.

Ветер с запада гонит орды туч, и с запада же, от литовского рубежа, летят семена смуты.

От яма к яму, из посада в посад глухо ползет:

— Ца-ре-вич Ди-мит-рий Уг-лец-кий!..

Многим в Москве внятна смутная ночная весть, иным она в радость, иным—в страх, мешающий смежить очи.

Юрьев день отошел. Спят на боярских дворах холопы. Приютились на окраинах пришедшие издалека ударить Москве челом.

Темно и тихо в Кремле. Только близ келий Патриарших палат—свет. При мерцании прорезной с «сиянием» лампы дьяк ведет повседневную запись—«Дворцовый Розряд».

«Лета 7106,—пишет он,—в Юрьев день, тешился царевич в поле птицами».

И, поразмыслив, кончает:

«И сей день было вёдрено, а ночь тепло»...

## Я с ы р ь <sup>1)</sup>

Ахтуба пуста, а без караула не гуляй.

### 1

Близ большой дороги на Тулу у деревни Заборья, на перевозе через Оку—передовой полк.

Бывшие «на вестях» воеводы донесли, что татары опять стали немирны. На сей раз царь пришел с небольшою силой.—По весне москвитяне так напугали хана, что крымцы едва ли осмелились бы пойти в набег.

И верно: под Серпуховом царь застал лишь послов Казы-Гирея. Государев летошний дар—золотные шубы—оказались недомерками, и татары явились требовать новых шуб.

С царем были московские стрельцы, отряд иноземных войск, да шедшее во-свояси черниговское ополчение князя Телятевского. От речки Серпейки до деревни Заборья раскинулись по берегам обозы и шатры...

Ездовые бурнатные полсти разостланы на земле; над ними колышутся на снурках вышитые львами и грифами завесы.

Царь—в обычном платье «малого наряду», чтоб не выказывать послам большой чести. Круг него—иноземцы, воеводы и князь Телятевский в бахтерцах — доспехе из пластинок и колец.

Татары, в коротких однорядках и тубетеях, поглядывая на толмача, торопились начать править посольство. Царь подал знак. Татары

<sup>1)</sup> Невольники

пошли «к руке». Но Борис руки целовать не дал и лишь возложил ее по очереди послам на головы.

Думный дьяк спросил о здоровье хана. Послы отдали ему грамоту в мешке. Тогда царь велел снять с татар однорядки и надеть на них золотные шубы. Дьяки налили витые ковши медом и дали послам пить.

Толмач сказал:

— Великий государь вас пожаловал: триста шуб царю Казы-Гирею дано будет!

— А шубы узки и недомерки не были б!—тотчас закричали татары.

Тут один из послов спрятал опорожненный ковш за пазуху. Также поступил и другой.

— Что эти люди делают?—тихо спросил молодой иноземец соседа-боярина.

— И они всегда так,—шопотом ответил боярин,—мыслят: когда царь пожаловал их платьем и питьем, и тем ковшам годится быть у них же. А царь отнимать тех ковшей не велит, потому что ради тех бесстыдных послов делают нарочно в Англинской земле сосуды медные, позолоченные...

Иноземец отвернулся, едва сдерживая смех.

Посольство окончилось. Татары, пятась, вышли из шатра. Царь встал. Он был невысок, дороден и волочил левую ногу.

— И все ты, государь, ножкою недомогаешь,—молвил думный дьяк,—дохтура какого бы ни есть смысленного сыскал.

— Ужо как будет в Москве,—сказал Борис,—Ромашку Бекмана снаряжу в Любку<sup>1)</sup>.

Воеводы разошлись, выходя чередою, по чину...

Перед шатром всадник в забрызганной грязью алой ферезее соскочил с мглистого жеребца.

Через лоб коня шла лысина, грива и хвост были до половины черные.

— Батюшка! — крикнул приезжий, завидев Телятевского.

Отец и сын облобызались.

— По добру ли, по здорову ехал? — спросил старый князь.

— Ништо!—молвил Петр.—Конь маленько храмлет.

— Ну, каково детей да людей моих бог хранит?

— Все изрядно. Ден через пять пойдут за нами всугонь. Скарб укладывают.

— А на Москве што?

— На Москве о Юрьеве дни смутно было. Холопы о выходе челом били—вор Косолап народ мутит. Да еще на меня за девку Грустинку челобитье подано. А писал жалобу наш холоп дворовый, недо-росль; он же и про великого государя нивесть што молил. И его с тем вором Косолапом свели на с'езжую, а вор Косолап и тот наш холоп Ивашка Исаев сын Болотников в ночи побежали неведомо куда...

---

<sup>1)</sup> Любек.

## 2

Рыжий осенний лес принял поутру беглого холопа. Он быстро пошел по берегу, обходя рыхлые клинья отмойн у речных излучин. Москва и Хлопок-Косолап остались далеко позади.

В полдень рыбные ловцы, прозываемые кошельниками, накормили его рыбой. Никто не спросил, куда он держит путь.

Сновали по реке челноки. Скоро стали встречаться и струги. В них сидели беглые.—«Ярыжки в стругу!—привыкай к плугу!»—дразнили их с берегов.

Под вечер третьего дня холоп услышал песню:

Сотворил ты, боже,  
Да и небо—землю,  
Сотворил ты, боже,  
Весновую службу.  
Не давай ты, боже,  
Зимовые службы.—  
Молодцам кручинно,  
Да и сердцу надсадно.

Кинувшие «зимовую» службу стрельцы гребли по середине течения.

А емлите, братцы,  
Яровы весельца!  
А садимся, братцы,  
В ветляны стружочки!  
А и грянемте, братцы,  
Ино вниз по Волге,—  
Сотворим себе сами  
Весновую службу!..

Беглые приняли холопа.—«Гость—гости, а пошел—прости»—сказали стрельцы.—«Ходи в кормовых, места те хватит».—Они посмеялись над его разными глазами, малым ростом и впалую грудью. Он усмехнулся и промолчал.

Дикий черный лес стоял кругом. В лесу неведомо кто жог костры. Минуя их, то нос, то корма струга становились черлеными.

— Тебя как звать?—спросил холопа молодой парень с рябым плоским лицом и злыми глазами.

— Ивашкой.

— А я Илейка буду. Тоже с Москвы убег. Жил я там у дяди своего, у Николы-на-Садах...

Они помолчали.

— На Волге-то вольно будет?—спросил Ивашка.

— Вестимо, вольно. Да я-то на Дон сойду, либо к терским казакам.

— На Дону живут воры, и они-де государя не слушают,—сказали со смехом в темноте.

— Боярское присловье!—отозвался другой голос.—А я чаю,—не на Дону токмо воры, ворует ныне вся государева земля.

— Да и как не воровать? Царь об нас и порадел бы, да воеводы-псы переводят жалованье.

— Народу из-за них кормиться стало немочно.

— Эх, Москва, Москва, уж вся-то она на потряс пойдет!..

Ивашка с Илейкой притихли. Голоса во тьме звучали ровно и глухо:

— ...Вмещали нам, будто царевича Дмитрия не стало и будто похоронили его в Угличе, а ныне, сказывают, об'явился царевич и скрывают его до поры в монастыре...

— А еще сказывают: у царя Федора сын был—Пётра. Подменил его нынешний государь девкой Федосьей. Девку ту в скорости бог прибрал, а Пётру сбыли неведомо куда...

Илейка широко распахнул в темноту глаза и тотчас снова закрыл их. Лицо его стало и вовсе плоским.

Реркие удары весел рвали черную воду, гасили ненадолго звезды, глушили жалобы стрельцов.

## 3

Под Касимовом беглые встретили кизылбашей и горских черкесов: они везли полонянников—девок и жен.

За Нижним стоял на мели разбитый струг с московским товаром. Беглые перегрузили товар к себе.

Волга кишела кинувшим службу людом. Стрельцы и холопы плыли в белянах, расшивах-досчаниках, челнах. Иные из них составляли ватаги—промышлять рыбною ловлей; другие—шли на Оку под Муром, мысля «торговых перещупать»,—поджидали с верховьев караван.

На Гостином острове близ Казани беглые сбыли товар. Стрельцы подивились: ни черемисов, ни ногаев не было видно.

На берегу сидел бурлак.

— Эй, ярыжный! —окликнули его стрельцы.—Пошто ныне ясашных людей не стало?

Бурлак обернулся. Темный рубец от лямки виднелся на его груди.

— Да все—воеводы,—сказал он.—Едучи по реке, ясашных людей пытками пытаются и грабят; рыбу и жир,—все, чем они сыты бывают,—емлют насильством. Оттого в ясашных людях стала измена, и на Гостиный остров они не приходят...

Стрельцы, покачав головами, воротились на струг...

Братья Глеб и Томило подбили беглых итти ватажить.

— В Астрахани порядимся, —сказали они Ивашке, — ты-то сой-дешь в ловцы, аль иное удумал?

— Сойду, Глебушко,—молвил Ивашка,—куда вы, и я туда же. Любо мне с вами.

А Илейка—тот сплюнул на воду и озорно засвистал...

Упругая литая гладь качала струги. Распахивалось орлиное раздолье плесов. Новгородец Ждан песнями бил челом Волге. Всем было легко и вольно. И только двое таились молча: Илейка да хмурый с рысьими глазами стрелец Неклюд.

Рябой плосколицый холоп не помнил родства. Однажды он сам признался в этом. Неклюд сказал: — Эх, ты, гулёныш семибатешной!

Илейка впился в него глазами. Так стояли они долго—волченек против барса.

«И кто из них лютей будет? — подумал Ивашка. — Пожалуй, Илейка...».

Неклюд отвел глаза и усмехнулся, как только Волга качнула струг...

Тетюши был последний город населенной земли; далее — шла пустыня.

Ногаи по натянутой просмоленной ткани гнали через реку скот. Шапки у них были подбиты диковинным мехом. Из-за этого меха едва не побили их стрельцы. Ногаи сказали: поблизости в степи растет мохнатый огурец «баранец», похожий на ягненка и убивающий вокруг себя траву; стебель его вкусом напоминает мясо; его едят волки. Если разрезать—потечет кровь.

Стрельцы долго бранили ногаев, укоряя их за неправду и хитрость. И еще одно диво встретилось им: яблоки, столь прозрачные, что семена их можно было видеть, не снимая кожуры...

От Сызрани до Хвалынска—Черно-Затонские горы, от Хвалынска до Вольска—Девичьи, около Саратова—Угрюмские, под Камышином—Ушьи.

Кручи понизились. Смотрели с берегов татары. Едва струги подплывали—прятались. Сидели на мелях орлы. Горько пахли степи полынью и ромашником. Изредка солонцами пробегал верблюд.

Ночью струги подошли к городу. Во тьме высились наугольные башни. «Неужто Кремль московский?»—со сна подумал Ивашка. И, словно в ответ Ивашкиным мыслям, сказал Томило, стрелец:—Чисто—Москва!—И сплюнул за борт, на миг загасив плясавшую на воде звезду.

Город спал.

Струги пригрянули к Астрахани.

Тянуло горечью с низких песчаных берегов.

#### 4

Задолго до света струги ушли вниз. Сперва—решили проведать, что в городе, нет ли о стрельцах какого указа. Всех удивил Неклюд.

— Мне с вами—не путь,—сказал он,—ватажить не стану, иным делом кормиться мысляю. А было б чем вам меня вспомнить—схожу для вестей в город...



Он быстро исчез за буграми, в песчаных барханах. Стрельцы долго смотрели ему вслед.

Потом они вышли на берег. Совсем близко лежала Астрахань. Крупный степной скот пылил по дороге. Усатые чумаки покрякивали на волов. Рыба серебрилась на возах. Небо медленно наливалось светом. Казачки, смеясь, подходили к стругам; на головах их были повязки с висящими по щекам чикиликами, а поверх них—кики наподобие стоячих лопат...

Веселый хмельной поп пришел в полдень к беглым.

— Ныне весна была красна, пенька росла толста,—кричал он, топая коваными сапогами.—И мы, богомольцы, ратуя делу святу, из тое пеньки свили веревки долгие, чем бы из погребов бочки ловить. А нам в церковь ходить не поспеть, пива не пив, ей, право!

— Где подпил?

— Эй, робята, кабак близко!—закричали стрельцы.

— Веди, отче!

— Гуля-я-я-й!

Поп увел несколько человек с собою.

С ними ушел Илейка...

Беглые бродили по берегу. Лежали в челнах. У воды трещал костер. Солнце тонуло в песках. Волга плескала звонким крутым накатом.

Смерклось. Неклюда все не было. Не возвращались и стрельцы.

— Должно, загуляли,—сказал Глеб,—а Неклюда, мыслю я, зря послали,—у меня к нему никак веры нет.

Костер задымил. В воде замутилось рдяное струеватое корневище.

— Я чаю, поздно тут рекостав бывает,—сказал Томило.

— А у нас в Новгороде Волхов вовсе не мерзнет,—промолвил Ждан.

— Полно!

— Верно говорю,—под Перынью, урочищем, вода всегда живая.

— С чего то?

— А как царь Иван у нас лютовал, с тое поры и учинилось.

— Дивно дело!

— А ну, поведай!

Голос у Ждана был густой, певучий. Грея над огнем руки, он заговорил:

— Приехал Грозный царь в Новгород. Пошел к Софеи к обедне. Глядит—за иконою грамотка (попы положили), а што в грамотке—нихто не дознал. Только затрепенулся царь, распалился и велел народ рыть в Волхов. Сам влез на башню. Учали людей в реку кидать. Возьмут двух, сложат спина со спиною и—в воду. Как в воду, так и на дно. Нарыли народу на двенадцать верст; остановился народ, нейдет дале. Послал царь вершников. Прибежали вершники:—Мертвый народ степной встал!—Сел царь на-конь, поскакал за двенадцать верст.—«Стоит

мертвый народ стеною. И тут стало царя огнем палить, учал огонь из-под земли полыхать. Поскакал прочь, огонь—за ним. Скачет дале—огонь все кругом. Брык—с коня, на колени приклякнул:—Господи, прости мое прегрешение!—Ну, пропал огонь. Да с тое поры Волхов и не мерзнет на том месте, где царь Иван людей рыл.—Со дна речного тот народ пышет...

Заскрипел песок. К воде, стороной, метнулась тень Неклюда.

— Заждались!—крикнули на берегу.

— Дознал што? Али так ходил, впусте?

— Годи!.. Дай срок!..

Неклюд, хмельной, молча оглядывал стрельцов, искал глазами струги. На нем были новые цветные портища. Искривленная шапка валилась с головы.

Частой, нехорошей дрожью затрясло Ивашку.

— Глебушко! Ждан!—резнул уши тонкий его голос.—Не с добром он! Чую, што не с добром!..

Неклюд, повернувшись, шагнул в темноту.

— Эй, куды сшо-ол?!

— Што за диво?!

— Неклю-юд!

— Ту-ут я,—раздался голос. И вдруг засвистали.

На берег ватагой высыпали городские стрельцы.

— Не чинись супротивны! С пищалей бить станем!—вопил стрелецкий сотник.

— Вона што!

— Неклюд! Пес!

— В челны-ы-ы!

— Има-а-й воровских людей!..

Ивашку впихнули в челн. Мокрое весло ткнулось в руку. Глеб и Ждан быстро гребли стоя. С берега—раз, другой—грохнула пищаль.

Челн зарывало серебром и чернью. Ждан говорил Глебу:

— В межеустье сойдем. Ловцами станем... Эй, пошто не гребешь?—кликнули они Ивашку.

— Худо мне.

— Ахти! Неужто пулей зашибло?

— Да не... Неклюд-то, мыслю, довел на нас... А с нами ведь был заедино, ел, пил вместях...

— Эк ты мяжок,—сказал Глеб,—ништо, парень! Неправды еще сколь много на свете. Ну, не томись, веселей угребай, не рони весла!..

Стал Ивашка рыбным ловцом.

Ездил на «прорези» — садке с прорезанным дном, где по зашитому решеткою полу ходили большие репьястые рыбы.

В старицах—ставших озерами протоках—ловили бешенку. Сеть опрастывали в бударку: бешенка билась и трепетала, и бударка казалась наполненной мерцающей водой...

Дула моряна. Ветер ставил ледяные шатры. Громозда острых, как ножи, пластов воздвигались и рушились со звоном и плеском...

По весне в устье шел сбор яиц. Тихими летними вечерами сети покрывались белым, как снег, налетом. Это были подденки...

Так прошел год. И снова была весна с счастливыми голосами уток, с немую рыбьей свадьбой.

Красная рыба скатилась в море.

Опять осень пришла...

## 5

«... Ваше царское и княжеское величество не только сами ученых людей любите, но и всемилостиво... намерены в своем царстве и землях школы и университеты учредить... Ваше царское и княжеское величество этим себе имя истинного отца своего отечества снискаете, какого только бог к особому благополучию страны создал и утвердил...»<sup>1)</sup>

В Золотой палате на стенах и сводах написаны притчи.

Ангел держит рукой солнце. Под ним — земной круг и полкруга: вода и рыбы. У царского места — в а р г а н ы — «художества златокорваны»: на деревцах птицы поют сами собой, «без человеческих рук».

На лавках расселась боярская дума.

У Бориса в руке «царского чину яблоко золотое». У него союзные брови, лицо чуть раскосое, круглое; борода и волосы у висков поседевшие; голос сыроват и глух.

— Уложили мы, — говорит он, — послать во всякие иноземные городы звать научных надобных мужей к Москве, мысля научить русских людей неметцкому и иным языкам и разным наукам и мудростям приобщить.

Встал с передней лавки Шуйский, подслеповатый хилый старик.

— Великий государь, дозволь мне, холопу твоему, молвить!.. И што ты, государь, умыслил, и то, государь, умыслил ты не гораздо. Коли в нашей единойверной земле учнут люди говорити розно, — порушится меж нас любовь да совет.

— Как мыслите, бояре-дума? — с усмешкой спросил Годунов.

— Не гораздо, государь! Не гораздо! — закричали бояре. — Иноземных обычаев нам не перенимать! Своей веры держаться и языка русского! За то стоять!..

— Ино будь по-вашему, — сказал Борис и свел брови. — Ну, пошлю иных робят ваших во Франки, в Лунд-город<sup>2)</sup> да в Любку — грамоте навывать.

<sup>1)</sup> Ответ Борису Товия Лонциуса из Гамбурга по поводу приглашения в Москву для учреждения универсального типа школ. Русский перевод текста опубликовывается впервые.

<sup>2)</sup> Лондон.

— И то, государь, не гоже, — молвил Шуйский. — Побегут робята наши от немцев. Не станут они ихнюю грамоту учить.

— Не побегут, — сказал Годунов.

— Побегут, государь, — тихо повторил Шуйский и виновато повел носом.

— И доколе, князь Василей, будешь ты мне молвить встрешно? Царь встал.

— Приговорили и уложили мы, — молвил он твердо, — боярских лутчих робят послать за рубеж; да еще снарядить Ромашку Бекмана в Любку да написать Луидже Корнелию и Венецею да Товию Лонцию в Гамбурх. И те Луиджа с Товием нам ремесленных нужных людей сыщут, и вы бы, бояре, промышляли о том со мной заедино, без опаски, а не дуром.

На миг стало тихо...

Князь Василий Туренин спросил:

— Государь, а как мыслишь: — выход дать ли крестьянам?

— Покуда — нет, бояре. В малых вотчинах доходов ныне вовсе не стало. Коли выход дать — побегут крестьяне в большие вотчины, а то служилым моим разор... Ну, ступайте, бояре-дума!

Полы кафтанов, разлетаясь на ходу, понесли бояр к дверям палаты. Посохи один за другим глухо простучали по ковру.

Семен Годунов, прозванный «правым ухом царевым», задержался и, опустив голову, ждал слова Бориса.

— Ну? — спросил царь, подходя и дыша ему в лицо.

— Объявился, — глухо ответил боярин, — в Смоленск от рубежа слух прошел.

— Вона! — воскликнул царь и заходил по палате, волоча левую ногу.

— Государь, — сказал Семен Годунов, — памятуешь ли, что ты молвил, как ездил в Смоленск город крепить да разными людишками заселяти?

— Говорил я: «будет сей город ожерельем Московского государства...».

— И што тебе боярин Трубецкой сказал, и то памятуешь?

— То не упомяну.

— А сказал он: «и как в том ожерельи заведутся вши, и их будет и не выжити»...

Рдевшая в окнах слюда померкла. Травы и притчи на стенах скрыло тенью. Ангел в колеснице все еще держал рукой солнце. Под ним дотлевала подпись: «Солнце позна запад свой, положи тьму и бысть ночь»...

«...От великого государя, царя и великого князя Бориса Федоровича всея Руси... города Любки буймистрам и ратманам и полатникам.

Ведомо нашему царскому величеству учинилось, что у вас в Любке дохторы навичны всякому дохторству, лечат всякие немощи. И вы б прислали нашему царскому величеству лутчего дохтора, а приехать и от'ехать ему будет повольню, безо всякого задержанья...»

За красной Китайской стеной — Гостиный двор.

В лавках — лисицы белые и черночеревые, сукно «брюкиш»<sup>1)</sup> и муравленое, дешевая бархатель и дорогой турецкий алтабас.

Блестят ножи с желтыми черенками; лежит олово в бочках, свинец — в «свиньях».

Купцы выхваляют товар, хватают прохожих за полы:

— Эй, ступай сюда! У нас торговля государева! Казенная цена за посмех дешева!

— Ствол мушкетный — 20 алтын! Полупика — 4 деньги!

Толпятся, щурятся на «служивую рухлядь» чуваша и ногаи. Им оружие продавать заказано: «не случилось бы мятежей».

В меховом ряду старый хромой купец встретился с немцем.

— Здрав будь, Роман! — сказал купец. — Верно ли бают, что с государевым делом в Любку едешь?

— Еду, — ответил немец, — уж и кони запряжены. Одеял камчатных теплых ишу.

— И я в путь збираюсь. — Сын мой в Азове на окупу скован. Товар вот, какой ни есть, приторгую, да и поеду чадо свое вызволять.

— Давай бог удачи!

— Без числа русских ныне в плен сведено, — сказал купец. — На Ивановскую площадь почти что ежедень ногаи ясырь привозят... А ты пошто в Любку едешь — за дохтуром для государя али с каким товаром?

— За дохтуром. Да еще посланы со мной государевы грамоты суконным мастерам и рудознатцам, что знают находить руду серебряную. Да велено ж мне промыслить мастеровых трех или четырех, которые умеют золотое дело делать, чтоб ехали к царю мастерством своим послужить.

— В гору пойдешь, Роман, — сказал купец, — пожалует тебя царь гостиным именем. Давай бог и тебе удачи!

Купец и немец разошлись: один — приторговывать для Азова товар; другой — искать камчатные ездовые одеяла. Немец то и дело клал руку за пазуху, — остерегался, не стащили бы вору царский наказ:

«Память Роману.—Проведати ему, где, ныне цесарь... в Праге ль или в ином которм городе, и война у цесаря с турским салтаном есть ли... Да что проведает, и Роману то себе записывати. А держати Роману у себя наказ... бережно, тайно.»

<sup>1)</sup> Или «брюггиш» (из Брюгге); отсюда и — «брюки».

Купцы запирали на обед лавки. Ложились отдыхать у дверей на землю.

Врезанный в небо, осыпанный крестами Кремль лучился на солнце. Дни все еще стояли погожие, теплые, а утра были свежи.

## 7

Меж тех тиховодных протоков-воложек и затонов курился редкий дым ловецких становищ.

Среди ильменей, позароставших чилимом, где весной расцветал лотос, притаились рыбные промысла.

Скоро бударки жирным слоем покроет обледь. Каспий тяжело заволнует плотные железные воды, и студеными молотками утренников все будет заковано в лед.

Ловцы готовили снасти. Дверь лубяного лабаза была открыта, и запах просоленной рыбы шел от влажно черневших чанов и ларей.

— А Ивашка наш где? — раздался голос в глубине лабаза.

— Чилим резать поехал, — откликнулись на берегу...

На излучьи затона едва приметно чернелась утлая однодеревка. Гребня одним кормовым веслом, Ивашка уходил от стана в глушь трогников.

Синие с беловатой стружкой глаза стали еще синей на волжском приволье. Он смотрел на воду. Спугнутое челном, обманной близостью сверкало «руно» — стаи рыб.

Мир был близок и юн, одних лет с Ивашкой.

— Свис-свис-свис, — заговорил он с пролетевшей уткой.

Карши темнели, оплетенные ужами.

Черепахи грели на солнце древние свои щиты.

Выбрав чилимистое место, он вышел на берег. Пахло стоялой водой и камышевой прелью. Вокруг обильно рос годный для засола водяной орех.

Став на колени, он принялся резать скользкие стебли чилима.

В слитный шум камышевых метелок ворвался быстрый вороватый хруст.

— Кабан! — подумал Ивашка, вскакивая на ноги.

Смазанная жиром петля, больно резнув в локтях, бросила его на землю.

— Ясырь! — крикнули над ним, и чья-то рука вырвала у него нож...

Челн с пленником полетел по затону, поднимая громко крякавших уток. В камышах были спрятаны татарские кони. Утемишь-Гирей — тот, что выследил Ивашку, первый вскочил в седло.

— Бегай, урус! — весело сказал он и отдал конец аркана второму татарину.

Они погналы коней в степь.

За волнистым руном стад, в добеда вытопанной степи — скрип телег, ржание кобылиц, расставленные полумесяцем майданы.

Натянутая на кольях бечева отделяла от стана небольшой загон. Злые кудлатые псы стерегли ясырь, их то и дело натравливали на пленников татарские ребята.

Смуглый кольцеволосый пленник подошел к Ивашке и что-то сказал. Ивашка не понял.—С Венеци он,—проговорил лежавший в стороне казак,—не уразумеешь его, друже!

Итальянец был на голову выше Ивашки и старше его года на три. — «Знатный плечник!» — подумал Ивашка, разглядывая бархатную шапчонку и дорогой иноземный кафтан.

— Francesco! — сказал итальянец и показал себе на грудь пальцем.

Они уселись на траве.

Грустный степной дым прикидал к пустому небу. От улуса в степь проносились табуны. На белой кошме сидела татарка; волосы ее были распущены на висках в тонкие пасмы. Она сбивала со щек пушок шелковой тетивой.

Франческо раз за разом быстро дернул рукой, как если бы что резал. «Нож ему надобен!» — смекнул Ивашка и вывернул з е п и <sup>1)</sup>; вместе с обрывками бечевы на землю упал гвоздь.

Взяв его, как перо для письма, Франческо стал водить им по куску бересты. Вскоре на сером поле выступила голова коня.

— Ишь, мастер! — промолвил Ивашка.

Франческо кивнул головой и обернулся.

Утемишь-Гирей, меднощекий, в зеленой тафье, прищелкивал языком и пыхтел, надуваясь до горла.

— Шёмыш-ай-тамга делай! — сказал он и начертил на земле чашу и полумесяц. Потом вынул из ножен кривую тонкую саблю и подал ее итальянцу, тыча пальцем в гладкий, как струя воды, клинок.

Франческо знаком показал, что ему нужен чекан. Утемишь-Гирей присел на корточки, закричал. Принесли чекан. Франческо ногтем испытал резец и принялся за работу...

Татары несли чугунные кумганы для омовения при намазе. Дробно стучали барабаны — обтянутые кожей глиняные горшки.

Франческо подал татарину клинок. Утемишь-Гирей надулся от радости и покачал головою: врезанные в сталь, сияли «шёмыш» — чаша и месяц — «ай»...

Стоявшие живою стеной стада ревели. Над ними поднималось облако пара. Еще выше — над облаком — закачался звездный ковш.

Ивашка лежал на спине. Ему было тоскливо и зябко.

«В Москве ли, — думалось ему, — на Волге ль — все едино: плеть да аркан всякую спину найдут... Неладно живут люди. И с чего это — невдомек мне. Вот эдак, доколе не узнаю, и буду лежать, не смежая очи...»

<sup>1)</sup> Зепи — карманы.

И он долго лежал, не закрывая глаз.

А звездный ковш над ним все качался, качался.

Чудилось Ивашке: это — из него, из ковша, льются на степь синева и прохлада. Острая звездочка вытягивалась, вонзалась в землю. Татары называли ее «Железный Кол».

Гоня перед собою скот, ставя на привалах шатры, татары прикочевали к речке Камышенке. Оттуда они двинулись на Дон.

Итальянцу каждый день давали работу. Он чеканил кубки, наводил чернью клинки и связал из стальных колец боевой колонтарь Утемишь-Гирею.

Ему носили кумыс, но он, брезгуя, пил и ел мало. За резьбой и чеканкой он не замечал плена; временами же становился хмур и подолгу не брался за резец.

Из куска дымчатой пенки он сделал перстень. Однорукий бородатый старик был вырезан на широкой дужке. Лицо старика было совсем, как лицо Франческо. Итальянец подарил перстень Ивашке. Приложив к его груди руку, он сказал: — Fratello! — И прибавил по-русски, единственное, что знал: — Брат!..

Однажды перед кочевниками встали серые стены и каланчи Азова. Приказав раскинуть шатры, мурзы повели пленников на Ясырь-базар.

Было время привоза «полоняничных денег». Московиты ежегодно приезжали вызволять своих, привозя серебро, взятое со всей земли в виде оброка.

Турки в белых и зеленых чалмах торговали ясырь. На Дону стояли галеры со свернутыми парусами. Чередою, вглядываясь в лица пленных, проходили московские купцы.

Утемишь-Гирей хлопотал подле своего ясыря. Итальянца он поставил впереди всех, разложив тут же напоказ колонтарь, связанный из стальных колец, и черенные им сабли.

Старый хромой купец подошел к Утемишь-Гирею.

— Здрав будь! Махмет-Сеитова сына где сыскать мочно?

— На что тебе Махметка надо?

— Сын мой у него на окупу скован. Из Москвы, вишь, я,—чадо свое вызволять.

— Худы дела! — сказал Утемишь-Гирей. — В Хазторокань пошел Махметка. На дороге видел. Езжай в Хазторокань, спроси Алибека, он тебе Махметка — живой-мертвый — найдет...

Купец оглядел разложенную подле пленника утварь.

— Покупай! — закричал Утемишь-Гирей. — Золотое дело знает, серебряное дело знает! Хорош ясырь! Мурза-ясырь!

— И впрямь, — вслух подумал купец, — не худо б купить, свезти к Москве царю в челобитье. Ромашке Бекману про таких мастеров и наказ дан...



Сторговал. За 80 рублей пошел итальянец.

— Так молвишь ты, — в Астрахань пошел Махмет? — спросил купец, уходя.

— В Хазторокань! В Хазторокань! — закричал Утемишь-Гирей.— Один раз сказал правда, два раза — тоже правда; еще спросишь — брехать учну!..

А Ивашку купил тощий турок, торговавший дынями в Стамбуле. На галере его пахло табаком и русмой <sup>1)</sup>. Звали тощего турка Мус-Мух.

— Мир и спокойствие царили в землях шаха Аббаса, когда прибыл к нам Мухаммед-Ага, великий чауш Турции, и с ним триста благородных особ. Посол просил отправить двенадцатилетнего сына шаха, Софи-мирзу, в Стамбул, где ему будут оказаны большие почести. Но шах, зная коварство оттоманских государей, велел вырвать у посла бороду (это был старый долг). Тогда же прибыл ко двору шаха англичанин по имени Антоний Шерли (человек великого ума, хотя и малый ростом и притом любящий роскошь на чужой счет). Он сказал, что, будучи известен всем христианским государям, послан спросить шаха Персии, не заключит ли он с ними союз против султана—общего врага?..

Так, оглаживая розовую бороду, говорил в Астрахани, в доме Али-бека, знатный перс из свиты посольства, отправленного через Московию к разным иноземным дворам.

Урух-бек (имя посла) сидел на горе парчевых подушек и говорил тихим ровным голосом. В бороде его запуталась вишневая косточка. Персы слушали его молча, чинно, как на молитве. И один только суетился юркий старенький Али-бек.

В стороне от персов держался гость — московский купец, приехавший из Азова.

Оставив итальянца и пожитки на гостинном дворе, он пошел разыскивать Ахмет-Сеита. Он видел в лавках персов, которые без денег брали товар, и очень этому дивился. Купец не знал приказа воеводы: «корм гостям давать безденежно, а буде кто учнет товар имать в цену, и те береглись бы двусот ударов кнута».

Он долго сидел, зевая и томясь длинной непонятной для него речью перса. Наконец, Урух-бек умолк, и купец решился заговорить.

— Утемишь-Гирей, — молвил он, подходя к хлопотавшему вокруг гостей Али-беку, — Утемишь-Гирей сказывал, знаешь ты, где Махмет-Сеитова сына сыскать мочно. Да он же, Махмет, должно, с тобою и торг ведет.

— В-вах! — закричал перс и выбросил ладони обеих рук кверху. — Кюльзюм-море твоего Махметка носит! В кизылбаши Махметка ясырь повез!

<sup>1)</sup> Турецкий порошок для сведения волос.

Купец вспотел и так рванул себя за бороду, словно она была чужая. — Всугонь пойду! — глухо проговорил он. — Где ни есть да сыщу его, псарева сына. Чтоб под ним земля горела на косую сажень! Чорт!..

Али-бек засмеялся. Купец, взглянув на гостей, спросил:

— Что за люди? Пошто у вас ныне персов много стало?

— Шах к Москве послов шлет, — тихо сказал Али-бек.

— К Москве?.. — Купец потоптался на месте и молвил:

— Толмача близко нет ли?

Али-бек покричал за дверь, и тотчас в горницу вошел толмач.

— Персам, что сидят в углу, таково молви, — сказал купец. — Есть-де у меня на гостином дворе доброй ясырь — иноземный золотого дела мастер. У царя Бориса — молви — в таких людях нужда. Я-де в кизылбаши мыслю ехать, и мне его прохарчить никак не в силу. Пущай везут ясыря с собою к Москве. А в цене-де я не постою, ино и товаром могу взять...

Толмач, поклонившись, обернулся и, мягко скользя по ковру, подошел к Урух-беку. Согнувшись колесом, он приложил руку к губам, ко лбу, к груди...

### Кавалер ордена Подвязки

Борис многое хоте в народе искоренити, но не возможе отнюдь.

«... Пресветлейший государь царь и великий князь Борис Федорович... холоп вашего царского величества Ромашка Бекман челом бьет...

Как я, холоп вашего царского величества, приехал в Ригу, и я спрашивал со знакомцы своими, есть ли в Риге доброй дохтур; и мне сказали, что есть в Риге 4 дохторы ученые и дохторскому делу навичны, а лутчей из них именем Каспарус Фидлер...»

### 1

1601-й год пришел незапамятной лютюю. Хлеб стоял, налившись, зеленый, как трава...

Вызванный Бекманом Каспар Фидлер оказался не в меру болтливым немцем. Он тотчас заговорил о своей жене, об опасных русских дорогах, о том, что их, Фидлеров, три брата: один в Кенигсберге, а другой в Праге и что все они рады служить московскому царю...

Борис лежал на резной писаной кровати, откинув кунье, с атласной гривой одеяло — травы и опахала по малиновой, по желтой, по зеленой земле. Набитый хлопчатой бумагой тюшак глубоко западал под грузным телом. Пристяжное ожерелье было расстегнуто, обнажив на шее трудное биенье боевых жил.

Семен Годунов и Василий Шуйский стояли по правую и левую руку немца. Фидлер, бережно заголив больную ногу, осмотрел сустав.

— Недуг приключился от многого сиденья и холодных питей, главная же болезнь государя — меланхолия, сиречь — кручина.

— Государю доуки по вся дни хватает,—со вздохом сказал Шуйский, — то гляди за рубеж — не было б какого воровства от поляков, да и на Москве гляди, — не шептали б людишки нивесь што...

Годунов медленно повернул к Шуйскому лицо и опустил веки. То было знаком самого страшного гнева. Шуйский попятился, заморгал и стал боком быстро выходить из палаты. Царь не открывал глаз, пока он не вышел вон.

На стольце у кровати лежала узкая, тьмосинего бархату подвязка. Оковки ее были позолочены и резаны с чернью, а по самой ткани слова шиты в-вязь серебром.

Немец покачал головой и сказал:

— Государю нельзя носить. Сие мешает прохладенью крови, Ноге царского величества всегда должно быть легко.

— Не для ношенья то, — с усмешкой сказал Годунов. — Жалован я при царе Иване Елисаветой Англинской неким чинном, а чина того ради носят в английской земле подвязки сверху, на платье. И то у них самая великая честь слывет...

Семен Годунов слушал, насупясь. Борис говорил немцу:

-- И ты б, Кашпир, отписал братьям своим в Кенигсберх и в Прагу, чтоб приехали к Москве послужить мне, кто чем умеет. А приехать и от'ехать им будет повольно, безо всякого задержанья. Ну, ступай с миром!..

Фидлер, уходя, подошел «к руке».

— Государь, — сказал Семен Годунов (у него были злые глаза и волчьи уши), — не гневайся, — пошто над стариной глумиться изволишь?

-- Невдомек — про што речь.

— Да царь-то Иван Елисавету втайне всяко корил, а ты ее в чести держишь и подвязку поганую бережешь, на кую русскому государю и глядеть стыд.

— Боярин Семен Никитич!—весело сказал Борис.—Коришь ты меня без вины, а надо бы тебе сперва сведать, а после корить. Да вот, смекни-ка.—Был у короля английского стол. И, как стали гости за стол садиться, жонка ихняя обронила подвязку; и стало то ей в стыд. А король подвязку ту подобрал и, жошке отдав, молвил:—«Да посрамится, кто о сем помыслил дурно. Жалую от сего дни лутчих моих людей подвязкою, и будет вам то в самую большую честь»... И я то ж взял себе за обычай и своих всяких нужных дел говорить не страшусь. И то мне не в стыд, что к делу пригодно, а людям моим зазорно....

— Боярин Семен Никитич!..

Царь сел на кровати. Взметнулось одеяло — травы и опахала по малиновой, по желтой, по зеленой земле.

— Един Борис, как перст. Сын мой — младень, горазд лишь чертежи ладить да с обезьяною глумы творить впусте. Куды ни гляну — ино кто рогатиною в грудь толкает... Романовых с Бельским услал, да боярство все шепчет противу меня.

— И то ты, государь, — зря. За боярами я сыск веду неоплошно, а Романов, Федор Никитич, бают, вовсе духом пал.

— Един я, един...

Борис трудно покачал головою.

— Великая надобна сила, чтоб землю соблюсти. Служилые мои обедняли, а холопы из вотчин бредут розно. Крестьян облегчишь — бояр изобидишь, не знаю, кому и норовить-то нынче... О народе мыслю: ему моя хлеб-соль — все корочки. С того и молвят: «Царство Москва — мужикам тоска»...

— Государь! — сказал Семен Годунов. — Еще не ведаешь: под Москвою многие воры собрались. С голодных мест, с Комаринщины пришел с силою Хлопок-Косолап. А идут с огненным боем, живы в руки не даются, по клетям грабят да на дорогах людей разбивают...

— Басманова со стрельцами пошли, — сказал Борис, — давно чуял я: заворует Северская земля... С голоду ведь... Да, смутно стало, Семен Никитич. Побил хлеб мороз, а меня корят: «Пошто зиму сделал еси?..». Вот што, боярин, вели на Воскресенском мосту лавки строили б да у звонницы Петрока столп кончали б. Все будет, чем людям кормиться... А в приказах дел не волочить, посулов ни с кого не брать, за тем смотри зорко... Да сядь, боярин, возьми перо, указ составишь...

«Великий государь царь и великий князь Борис Федорович... и сын его... царевич князь Федор Борисович... пожаловали... велели крестьянам давать выход»

Боярин записал.

— То — к смуте, — сказал он, не глядя на царя.

## 2

Слепой дед деревянным голосом пел:

Во сте было во седьмом году<sup>1)</sup>,  
 Во седьмом году в осьмой тысяце,—  
 Не было в Москве содержатая,  
 Содержатая в Москве, сбережатая...

— Эй, убогой! Содержатая был — государь Борис Федорович! Стрелецкий десятник толкнул старика:

— Таково не пой! На правёж сведут. Чуешь, темной?!  
 Безместные попы бранились у Фролова моста.

<sup>1)</sup> 1598 — год смерти Федора.

Бахари, певавшие про стару-старину, про Велик-Новгород, приумолкли. Всюду толковали о преставленьи света. Странники, шедшие ко святым местам, говорили, крестясь:

— Взыде в море кит-рыба и хоте потопити Солеветцкой монастырь, да молитвами преподобных пошел опять в море...

— Седни виднели: огненные сражались в небесах полчища...

— Два месяца стояло над московским Кремлем...

В толпу клином врезались пестро одетые всадники. В воротах мелькнули чалмы и халаты. Народ повалил-потек вслед за ними. С высоты тягучей медной каплей падал размеренный звон.

Царь осматривал новую колокольню. Бояре стояли, задрав головы. Окольничий Афанасьев вел беседу с Ричардом Ли, весной прибывшим из Лунда. Над прежней звонницей Петрока столпом высился «Иван».

Англичанин говорил:

— Получил я вести. — Посла вашего Микулина приняли у нас с великою честью. Видел он рыцарские игры, был на празднике Подвязки и остался весьма доволен. Особливо утешил его наш славный лицедей Шекспэр. На приеме Микулин один сидел, тогда как прочие лорды не сажались. Королева славилла вашего государя, своего брата сердечного, и, с т о я, пила чашу Борисову...

— Добро, Личард, — сказал окольничий, чуть улыбнувшись, — и государь вас пожаловал — вольный торг вам дал.

Недалеко от звонницы были штофные палаты Марка Чинопи, вызванного при Федоре для тканья парчей. Чинопи стоял в толпе своих подмастерьев, ища кого-то глазами. К Ивану Великому подходили люди в чалмах и халатах — персидские гости, прибывшие ко двору два дня назад.

Среди них был венецианец, выкупленный у московского купца Урух-беком. Франческо не удалось уехать с посольством: он заболел и остался в Астрахани. Поджидая караван, прожил он около года у земляка Антония Ферано. В Москву итальянец прибыл вольным. Чинопи взялся представить его царю...

Борис двинулся к теремам. Штофный мастер, подойдя к Афанасьеву, глазами указал ему на венецианца. Окольничий выступил вперед.

— Государь, — сказал он, — венецейской земли доброй резчик и золотого дела мастер Франческа Ащентини бьет челом, желает тебе мастерством своим послужить.

Годунов, взглянув на Ащентини, спросил:

— В камнях иноземец толк знает ли?

— Марк сказывал — ведомо ему и то.

На груди Бориса висел крест, наведенный сквозным зеленым фирифтом; четыре яхонтовых искорки горели по его концам.

— Молви-ка, добрые ль камни? — спросил он, знаком подзывая к себе итальянца.

Асцентини приблизился. Чинопии перевел ответ:

— Все камни, государь, зреют в земле. Сии камни немного еще не дозрели.

Борис усмехнулся.

— Изрядно, — молвил он, — будь у нас у стола нынче. А жалованье положим тебе смотря по тому, как будешь пригож.

Царь медленно пошел по двору, за ним потянулись бояре. Порывавшийся с Афанасьевым Шуйский спросил:

— Про што у тебя с Личардом речь была?

— Да сказывал, каково Микулина у них в чести держат. Королева-де государеву чашу, стоя, пьет.

— Как бы та честь Борисовой казне в убыток не стала,—ответил Шуйский.

Бояре засмеялись и прибавили шагу. В тот же миг на дороге показались бегущие люди. Стоявший у звонницы народ зашумел.

— Хлопка-Косолапа везут. Живьем взяли! — крикнул одноглазый холоп в рваном распахнутом тулупе.

— Эй, полно!

— Верно, крещеные, — под Москвой у него с Басмановым дело было. Государевых людей, бают, без числа побито!

Толпа, рассыпавшись, побежала к воротам.

— Эх, воров — што грибов!

— Бунт — не перцу фунт, а живет горек! — выбились из нестроицы гула отдельные крики.

— Вали, робята, глядим, каков он есть, Хлопок-Косолап!..

### 3

«... И преста всяко дело земли... и не обвея ветр травы земные за 10 седмиц дней... и поби мраз сильный всяк труд дел человеческих в полях...»

Привозный хлеб зорко стерегли закупщики. С утра поджидали они возы, толпясь у застав. Сторговав зерно, боярские люди набавляли «многую цену». Покупать хлеб бочками стало не под силу московскому люду. — Объявилась неслыханная мера четверик.

Вотчинники гнали от себя холопов, велели им кормиться «собою», но отпускных не давали. Холопы питались милостыней, шли в Комаринщину, мерли с голоду на дорогах. — Нас, сирот, никто не примет, — говорили они, — затем, что у нас отпускных нет.

У городских стен в четырех местах раздавали казну — на человека в день по одному польскому грошу. Толпы кинулись в Москву. Опустел торг. Сильнее стал голод. Неведомо кто распускал слухи:

— В Новгород-де прибыл немецкий хлеб, да царь не принял его, велел кораблям плыть обратно.

И еще говорили: — Казаки на Дону караван грабили и хвалились: скорее-де будут они на Москве с законным царем...

Каждый день прибывали новые люди, а город, казалось, пустел, замирал, — такова была принятая им на себя печать смуты. Бояре прятали хлеб. Всюду шептали «укоризны» на царя Бориса. — «Овса полны ясли, а кони изгасли» — со злобой говорил народ.

Осенью ко двору прибыл датский царевич Иоганн. Ему устроили пышную встречу.

Царевич ехал на чубаром, как рысь, аргамаке. Он был очень видный и юный. По сторонам шли стрельцы с батогами «для проезду и тесноты людской».

Нищий голодный люд радовался приезду Иоганна. Столь горька была ярость скудных убогих лет, что всякий блеск ослеплял и обмагывал надеждой...

В теремах—тоже радость. Чубарый, что рысь, аргамак был одним из многих «поминков», которыми пожаловали датского гостя.

Ксения! Сватовство! — вот что занимало мысли царя...

В тот же день Борис и Семен Годунов вошли к Асцентини.

Итальянец выправлял мятые места у кубков. Кругом лежал «снаряд» — все, что потребно к золотому делу: пилки, наковаленка, волюки, чекан.

Франческо быстро прижился в теремах. Он ловко перенимал русскую речь, усердно работал и столь же усердно отвешивал поклоны царю и боярам. Венецианец надеялся не с пустыми руками покинуть Москву.

Борис остановился, разглядывая золотодельный снаряд и цветное камень, залившее стол сухим и жарким блеском.

— Царевичу Егану,—сказал он,—выгранишь для перстня синий корунд <sup>1)</sup> да распятые сделаешь на агате черном.

Резчик Яков Ган, бледный худой немец, помогавший Франческо, стоял подле. Царь смотрел на камни. Кололи глаза, рдели, текли венисы, топазы, заберзат, ящуры, бакан.

— Сие што? — спрашивал Борис, касаясь рукой то одного, то другого камня. Франческо отвечал. Яков Ган каждый раз пояснял ответ.

— То — алмаз, — говорил итальянец, — ест и режет все камни, а сам не режется... Это — ясп кровяной, в нем искра, что кровь, смешалась; а то — изумруд, его подержать перед змеєю, — глаза ее раздуются, из них потечет вода...

Цветные оконницы освещали палату и стоящих в ней людей празеленью, багрецом, летучей синевою. Горкою ясного, нестерпимого для глаз праха лежал толченный камень, похожий на алмаз.

— Им камни шлифуют, — говорил Франческо, — если же выпить с водою — пойдет кровь из глаз, ушей и носа; то — смертно.

<sup>1)</sup> Сапфир.

— То — смертно, — глухо повторил Борис и погрузил пальцы в холодную светлую пыль, словно проверяя слова итальянца.

Внезапно он повернулся и быстро пошел прочь из палаты. Резчики, склонившись, растерянно смотрели вслед...

Борис ожил с приездом Иоганна. Он радовался за Ксению, забыв о голоде, раскинувшем погост от стен Кремля до окраин царства. Душевный мир его длился недолго. Москву поразил мор.

Люди падали на улицах и торгах, их било о землю, и они, синяя, застывали в корчах. Простой народ хоронили в домах, заколачивали потом окна и двери. Обували в красные башмаки, отвозили в божедомы бояр.

Заболел царевич Иоганн.

Докторов—Рейтлингера и Фидлера—позвал к Борису. Царь сам повел их в Аптекарский Приказ.

— Лекарства, — сказал он, — стоят в казенке за дьячьей печатью; без дьяка сюда никто не ходит. А вы ходите, когда будет нужда, берите все, что потребно, промышленяйте неоплошно — царевич здоров бы стал.

Фидлер, уходя, проговорил:

— Государь, по слову твоему я братьям своим писал и получил ныне ответ. Фридрих, что в Праге живет, желает к тебе в Москву ехать.

— Ладно, — молвил Годунов, — ступай!..

В нищем, наполовину вымершем городе стало и вовсе смутно. Люди шептали: — Царь умыслил извести Егана. Все до кореня погинем за царем за Борисом. Сказывают — Дмитрий-то Иваныч жив, — хоть бы скорее на Москву шел.

Царевичу давали немецкие «аквы», темьяную водку и сандаловое дерево в порошке для «прохлаженья крови».

Тихо стало в теремах у Ксении наверху. Попугаи нехорошо кричали в клетках.

В конце осени в шестом часу паморочного дня царь с боярами пошел пешком к дому Иоганна.

Они пробыли там долго, и, когда возвращались, наступила уже ночь. Дождь-косохлест прибывал к коленям царя плащ-ферезею. Он шел с торчащей вперед бородой, дородный, хромой и страшный. От него с рычанием убегали собаки. Не доходя Кремля, он споткнулся о бревно.

Тогда сорок бояр зажгли по свече. Так вошли они в терем. В Крестовой палате их встретила Ксения. Она смотрела мертвыми глазами.

— Дочь моя, — сказал, не глядя на нее, Борис, — мы потеряли твою радость и мою сердешную отраду...

За оконной слюдой лил дождь. Там были: мор, голод, смута, об'явившийся где-то близ рубежа Дмитрий.

Борис посмотрел вокруг.

Лица бояр были тусклы, едва различимы.

Ксения медленно падала на ковер...



«Комаричане-мужики своровали—государю изменили».

Такие вести пришли из Смоленска.

И вскоре:

«Самозванец

идет с Северы!» — О чем прежде и шептать боялись, о том теперь говорилось громко. Неведомый человек, называвший себя Димитрием, шел от Киева на Москву.

«Мужики-севрюки, забыв бога и души своя, стали при- ставать к вору.»

А «вор», шедший берегом Оки к Чернигову, клялся «дать казачеству поместья и вотчины и богатством наполнить». Северская земля волновалась; руки хватались за пищали и сабли. Народ целовал крест «истинному» царю...

Семен Годунов, тот, у которого были волчьи уши, имел чин: «ради остерегательства великого государя здоровья ближний аптекарский боярин». И еще он ведал сыском. К нему приходили с «наносами» купцы, пономари, дворяне, просвирни. Получал он и отписки из Сийского монастыря, где жил в заточеньи Филарет...

В мае «аптекарский боярин» известил Бориса:

— Воеводы от Брянска пошли на Чернигов, вор-от не нынче — завтре учнет к Новугороду-Северску приступить.

— Еще сказывай, радости какой нет ли, — молвил Борис и опустил веки.

Он поседел и казался больным и старым. Про него говорили: «по- мрачился умом».

— Еще, государь, по слободам неладно стало. Чинится над жонками разная кликотня и ломотная порча. Кличут бабы медвежьём, зайцём и всякими иными голосами. А высказывают про тебя, государь, невместимые речи, что тебе, государю, боле на Москве не бывать.

— Послать для сыску людей! Кликуш пытать пытками накрепко! Ну, еще што?

— На дворянина Михайлу Молчанова нанос есть. В чернокнижстве повинен. А про тое свою ворожбу сам же он многим людям сказывал. Ходил-де он к жонке Манке, что живет в Кузнецах, — муж у ней на Украине второй год уж ворует... И та жонка показала себе на правую руку и на персты дунула, и в избе-де почали быть луны и светлость, и виделось ему, что сидят косматые и сеют муку и землю... И с той его сказки об'ял людей великой ужас и страх.

Крест на груди Бориса закачался. Яхонтовые искры по концам его замерцали.

— Жонку, — молвил он, — взять для расспросу, а Михайлу Молчанова сечь кнутом!

Да жонка та убегла, сказывают, к мужу своему на Комаринщину укрылась...

— Ступай-а-ай!—внезапно завопил Борис.—Ступай, боярин! Держи гнев без сыску!.. Эй, годи! С хлебом-то што? Каково раздачу дают?

Семен Годунов ответил несразу.

— А и вовсе-то хлеба не стало, — сказал он тихо, — бают, в боярских клетях лежит хлеб, гниет, скуплено столь—на десять годов хватит.

Он медленно пошел к дверям. На пороге обернулся, сказал:

— Запоматовал. Иноземец Франческа челом бьет, во-свояси ехать желает.

— Во-свояси! — усмехнулся Борис. — Летят с гнезда птицы!.. Ну, да сильно держать не станем. А пожаловать его изрядно. Был он весьма пригож.

Царь вдруг посветлел и сказал почти весело, ясно:

— Семен Никитич, где он, Франческа, работал камень, и там есть прах толченный, с алмазом схожий. И ты б сулею того праху у него взял, да, водой разведя, отнес ко мне наверх — в аптечный бы ставец поставил...

Боярин двинул ушами; слушая что за словами царя, нахмурился.

Лицо у Семена Годунова было серое, когда он выходил из палаты. Быстро поднялся он наверх, в высокий терем, раскрыл ставец и взял граненую сулею; на деревянной втулке был вырезан единорог.

Боярин налил сулею всклянь чистой ключевой водою, поставил на место и поспешно спустился вниз... В палате золотого дела он собрал со стола весь запас толченого камня и вытряхнул его в оконце.

День прошел тихо. Ничего не случилось.

Да вот лишь: дворянина Молчанова секли кнутом.

В полночь от Кремля на город двинулись холопы. Они шли, как на приступ.

Впереди ехал всадник, закутавшийся в плащ-ферезею. Перед ним несли пальники-ж а г р ы: копыя с железными орлами; в когтях их чадно горели фитили.

У боярских домов всадник спешивался. Бревном высаживали ворота. Холопы выносили из клетей зерно, тут же ссыпали его в припасенные мешки.

Треск отдираемых досок, вопли и брань звучали глухо, словно накинуди на город душный сырой войлок.

Из одного дома выскочил боярин. Свет мазнул по лицу всадника. Мелькнули: соболий терлик, крест; четыре зорких искорки брызнули во мрак.

— А-а-а! — закричал боярин и повалился всаднику в ноги...

Холопы разбивали дома.

Звезд не было. Без ветра, мелко дрожали на деревьях листья.

С огнем в когтях летели железные орлы...

После духова дня во второе воскресенье, в самый полдень, явилась комета. Она была больше и светлее той, что видели при царе Иване. В пасмурном небе возникал и рос ее бледный свет.

Дьяк Афанасий Власьев спросил о ней лифляндского звездочета. Звездочет ответил:

— Бог сними звездами остерегает государей, пусть же и царь ныне обережется и велит крепко беречь рубежи от иноземных гостей.

На Красной площади с утра сколачивали лари, открывали торг, раскладывали товары. Стрельцы осаживали народ. Никому ничего не продавали. С государева Сытного двора волокли снедь.

До полудня не знали, что означает открытый торг, почему десятичники отовсюду гонят плетью холопов. Потом объяснилось: в Москве ждали посла цесаря из Праги. Борис приказал: — Чтоб запасов по городу было вдоволь и чтоб ни один нищий не встречался на пути...

Из Фроловских ворот бойко выкатился возок. В нем сидел покинувший Борисовы терема Франческо Асцентини.

Итальянец был «изрядно пожалован»: ему достались соболья шуба, муфта и согня червонцев. Он держал путь на Киев, надеясь пробраться на родину через Стамбул.

Народ со страхом смотрел на небо.

Бояре стояли, отощавшие, с зелеными лицами, разодетые в муравленое сукно и рытый бархат. Высокие воротники смешно и жалко торчали над худыми шеями. Они ждали посла. Всем им смертно хотелось есть...

Кони рванули, и возок едва не перевернуло на ухабе. — Прямо на лошадей тяжело и слепо шел рослый чернец. Он вопил:

— Рече господь: положу вам небо, аки медяно и землю, аки железну!..

— Страшный город! — прошептал Франческо и вжал голову в плечи.

— ... И не воспет ратай на нивах ваших, и поля ваши родят былье и волчец!..

На дороге стоял боярин. У него прыгала борода, и прыгали по ней слезы. Он отворачивался от Асцентини.

В черном гнилом небе, распушив хвост, летела звезда. Она падала на терема, и они тлели тихим жаром...

---

К верховьям Оки пролегали торные дороги.

Они огибали погосты выморенных сел, внезапно стреляли в лес, раздольно выкидывались на старые, с'еденные зноем жнивья.

Возок бросало на гатях, ставило стоймя и тащило по воде там, где настилы быль щербаты и ветхи. Франческо по ночам трясся от страха. Если бы он мог, то спал бы, не закрывая глаз.

Обозы преграждали путь, пугали сумятицей, храпом коней, громом пушечного запаса. Воеводы шли под Кромы — выбивать крепко засевших казаков. Не давшая хлеба земля уродила без числа «воров».

Во многих местах было смутно. Приходилось об'езжать казацкие заставы. В Алексине и Кашире бранили патриарха: «он-де на Москве весь хлеб под себя собрал, ждет, цена поболее возросла бы». В Курске люди, не таясь, «прямили» Димитрию. Чем ближе подвигался Франческо к Путивлю, тем громче слышалось вокруг: «Борис нам боле не царь».

Пыльным июльским полднем возок прикатил в Севск. На площади стоял крик. Шумели ямщики, посадские люди и ссыльные казаки. Они пинали друг друга, бранили царя и воевод и протискивались к лабазам. Сладкая желтая пыль висела над крикунами. Это ссыпали привезенный из Литвы хлеб.

При носке один из мешков разорвался. Зерно полилось. Из мешка выпорхнула грамота. Тотчас отыскался дьяк. Прямые, как стрелы, космы торчали из-под его траченной временем скуфейки. Он взобрался на воз, лёг животом на мешки и стал читать.

Дать ратным людям поместья, оказать всем милость и землю в тишине устроить сулил Димитрий. «А как лист на дереве станет размываться, — говорилось в конце, — будет он к ним государем на Москву».

Возок, стиснутый напиравшей толпою, трещал. Казаки влезали на него, чтобы лучше видеть, наваливались на Франческо и кричали, бросая вверх шапки:

- Дай ему бог здоровья, царевичу!
- Да мы ж за него головами стоим!
- Хлеб-солью стретим!..

Северская земля первая изменила царю, и воеводы так обошлись с нею, что комаринцев едва на семена осталось. Новый клич Димитрия искрой упал на сухой, заждавшийся огня валежник.

- Воеводы нашу землю огнем прошли! — кричали казаки.
- У многих глаза повынуты!
- У иных руки посечены!
- Жаловал нас царь хоромами — двумя столбами с перекладной. Пес с ним!..

Дьяк на возу свесил ноги с мешков, помахал грамотой и сказал:

— Служилые! Што есть: конь ходит, а траву грызет двомя головами?

- Невдомек, к чему клонишь!
- Ну-ка, молви!
- Да конь тот — наш воевода-мздоимец, — с обеих сторон посулы берет. Нехудо б его взять, в железа посадить, братие!
- В железа! Вестимо!
- На воеводин двор! Бегим, робята!
- Кто таков? — закричал вдруг молодой казак, подбегая к Франческину возу.

Итальянец быстро ответил:

— Иноземный мастер, к царевичу Димитрию в Чернигов — на службу.

Казак исподлобья оглядел седока, взглянул на державшего коней крестьянина и буркнул: — Ин, ладно!..

Возок медленно двинулся. Народ бежал к воеводину двору. Выл набат с ветхой колокольни. Выехав за город, Франческо велел пустить лошадей вскачь. В лицо било солнце, и по сторонам дороги тысячи пыльных солнц поворачивались за одним: шершавые стебли качали тяжелыми, похожими на соты шапками...

И опять, нескончаемый, курился пылью большак, возок трясло на рубчатых гатях, набегали слева и справа белехонькие хутора и села. Застав нигде не было. Началась Димитриева земля. Лишь изредка встречались вотчины, оставшиеся верными Борису.

Франческо спрятал московскую проездную грамоту. Глаза его научились издали распознавать встречных людей. Крестьяне подолгу смотрели ему вслед. Лицо итальянца стало совсем, как маска, — блестящее и литое, а отросшие, седые от пыли, кудри закрывали воротник.

В сорока верстах от Чернигова из-за березовой рощицы выбежало село. Тотчас за околицей стояли оседланные кони. Шел ратный сбор. Волокли пищали, порошницы, сабли. На возы второпях укладывали скарб.

На юру, у церкви, старый боярин ругал мужика. Отливали голу-бым бахтерцы — связанные из колец доспехи.

— Охнешь ты у меня, — кричал боярин, — как я тебя дубиной по спине ожгу, чтоб впредь на меня зла не мыслил!

Мужик валился на землю, боярин пинал его ногой; битый поднимался, выслушивал брань и покорно, без крика, валился снова.

Жадная зелень кипела у домов. Тут и там вызревали вишни, тимьян и птичье сердце. Дорога, круто свернув, повела через гумно.

— Стой! — выпрыгивая из возка, внезапно закричал Франческо.

Работавший на гумне дед обернулся на крик и прикрыл глаза рукой.

У входа в ригу лежали жернова. К круглому камню была прикована девка. Тяжелая короткая цепь охватывала шею. Иссиня-черный волос буйно хлестал на грудь через плечо.

— Что это? — спрашивал себя Франческо, робея под синим до темноты девичьим взглядом. И вдруг ему вспомнилось: на тихом, далеком берегу Brentы — другое, столь непохожее лицо!..

Франческо подошел ближе. Взглянув на него слепыми глазами, она высоким густым голосом пропела.

Шуме, гуде, дубровою иде, —  
Пчолонька-мати пчолонку веде...

И снова взглянула, как бы смотря сквозь него в степь, через дорогу.

— Эй, кто она? — окликнул Франческо стоявшего на гумне деда. Старик медленно подошел, снял шапку и проговорил:

— Да Марья ж, прозвищем — Грустинка. Тутошняя. Третий годок, сердешная, на цепи сидит.

«Maria della Tristezza» — подумал Франческо и улыбнулся. — За что ее мучат? — спросил он.

— Да вишь, дело какое, — заговорил старик. — Жила она с матерью своей у князя в вотчине по доброте — бескабально. Да похолопил их старый князь, и поймал ее княжой сын Пётра к себе для потехи. А мать ее, как была на Москве, — царю о сем деле челом била. И с тое поры мстит княжой сын на девке недружбу. А в расспросе сказаться она не умеет, потому что сбродит с ума.

— Давно так?

— А с месяц, не боле. Все пасека блазнится, пчелок зрит, сердешная, да друга свою, Ивашку, кличет. А Ивашка тот, Исаев сын Болотников жалобу ей писал, да што с ним сталось — неведомо, должнó — уморили.

— Чье.это село? — спросил Франческо.

— Телятевских, князей. Нынче они за царя Бориса крепко стали. На рать обрядились; завтра, мыслю, с вотчины пойдут в поход. Да ты, знамо, видел старого князя — вон он где — на юру лютует...

И старик махнул рукой в сторону церкви.

Стриж черкнул над гумном. Острый горючий визг ударил в небо.

Франческо взглянул на прикованную Грустинку и вдруг, словно чего-то испугавшись, вскочил в возок и велел гнать лошадей прочь...

## 6

«...Грех ради наших... бог попустил... литовского короля Жигимонта: назвал вора, беглеца, ростригу Гришку Отрепьева, будто он князь Дмитрий Углицкий... А нам и вам, всему миру о том подлинно ведомо, что князя Дмитрея Ивановича не стало в Угличе в 99 году... а тот рострига—ведомый вор, в мире звали его Юшком Богданов сын Отрепьев и, заворовався, от смертныя казни постригся в чернцы...»

В Москве подле самых теремов убили черную лисицу. Один купец заплатил за нее девяносто рублей.

Кремль запустел. Воеводы стояли под Кромами. Оттуда приходили скверные вести. Борис выпустил из тюрем воров, и сотни шпигов шныряли по городу. Но люди научились молчать.

И все же слухи росли. Все чаще вспоминали стрельцов, которые видели ехавший по небу возок. В нем сидел поляк; он хлопал кнутом, правил на Кремль и вопил...

Челобитчиков гнали батогами. Царя более никто не видел. И от этого народу становилось страшно.

Пришли вести из Сийского монастыря. Боярин, прозванный «правым ухом царевым», известил Бориса:

— А Романов-то, Федор Никитич, боярства с себя не состриг. Пишут: «живет-де старец не по монастырскому чину, всегда смеется неведомо чему, а говорит про птицы ловчие и про собаки, и как он в мире жил; а к старцам жесток...».

Царь устало кивнул, спросил:

— А боле ничего не говорит Федор?

— А еще говорит старцам: «увидят они, каков он вперед будет».

— На вора надею кладет, — молвил Борис, — мысля — не он ли и Гришке вложил в ум искать царства? Эх, бояре!..

Апреля в 13-й день царь собрался на богомолье, но выхода ему «за грязью» не было.

День начался так.

Из-под Кром прибыл гонец. Воеводы, — извещала отписка, — вели осаду оплошно. Шереметев и Шуйский только «проедались», стоя без дела, а Салтыков-Морозов, «норовя окаянному Гришке», велел отвести от стен пушечный наряд.

В полдень — еще гонец. — Боярские дети и служилые, «сойдясь в совет на царя Бориса», смутили многие земли. Братья Ляпуновы с советниками своими поднимали новые города.

Борис послал за Федором. Царевич принес чертеж царства.

Суровый пергамент блекло расцвел баканом, голубцом, немецкою охрой. Чернели города и люди. Мохнатыми червями змеились рубежи.

Борис закрыл ладонью отпавшие земли. Руки нехватило. Царь положил обе ладони... — «Земля моя!» — прохрипел он, и ногти его в двух местах вдавились в пергамент. Федор, бледный, пытался отнять у него чертеж.

Потом был стол.

Царь вышел в парадном платье, бархаченном внизу червчатым шелком, в диадеме и бармах, с державой в руке. Справа от него был Большой стол, слева — Кривой, заворачивавший глаголем в угол. На широкой скамье сидели послы.

«В столы смотрели столыники». Они говорили, чтоб ставили и снимали блюда. Бояре сели «по роду своему и по чести», а не по тому, кто кого старее чином. У среднего столпа застыл дворецкий. Чашники с золотыми — крест-накрест — на груди цепями подошли к царскому месту и, поклонившись, удалились попарно, обходя вокруг поставцов.

Борис много ел и был весел. Бояре сидели молча. С надворья темью налетала непогода. Острия протазанов меркли в руках ж и ль-ц о в, стоявших в об'яринных терликах у дверей палаты. И вдруг проясняло: по двенадцать месяцев восходило на каждой стороне...

Унесди кривые пироги, зайцев в лапше, лосье осердые. Налили ковши старым приварным медом. Семен Годунов что-то шепнул царю.

— А ты мне не докучай, Семен Никитич,—сказал Борис, у меня нынче радость. — И, тотчас встав, ушел наверх, в высокий терем.

В палате стало темно...

— Таково-то! — сказал царь, отворяя теремное косячатое оконце.

Острый тучевой морок раскраивал небо на медное и голубое. Над рекою, золотая и шумя, ниспадал слепой бусовый дождь.

Далеко было видно поле, монастыри, вилась дорога в Коломенское.

Тут он пускал на птиц кречетов... Однажды сокол сбил ему дикого коршака... «А покосы сей год будут добрые,—подумал Борис.— Да и к потехе поле весьма пригодно...».

Внизу, у стены, рвал тишину докучный звук. То у Портомойных ворот бабы стирали ветошь.

Он затворил оконце, отошел от него и сказал вслух:

— Царь Федор, хорошо ты, умираючи, молвил: «Уже бо время пришло и час мой придет...». Он отпер укладку, достал из нее связку вперехлест сшитых листков. Потом вынул из аптечного ставца сулею. В горлышке торчала втулка с резным единорогом . . . . .

Борис не читал (он же был «грамотного учения не сведый»)... Гнев и жалость сводили пальцы, кляпом закладывали горло. Расспрос мамки Волоховой желтел полууставом на столбце:

«...Разболелся царевич в среду... а в субботу, приходчи от обедни, велела царица на двор царевичу итить гулять, а с царевичем были она, Василиса, да кормилица Орина, да маленькие робята жильцы. А играл царевич ножичком. И тут на царевича пришла опять тажь черная болезнь, и бросило его о землю, и тут царевич сам себя ножом поколол в горло, и било его долго, да тут его и не стало...».

Он бросил листки в укладку. Долго стоял, приложив к груди руку. Засмеялся:—Скажут бояре: Бориса судом божиим не стало... Эх, служилые мои, чаяли вы себе от меня большого жалованья!.. — И пошатнулся—к голове сильно приливалась кровь.

Спеша и хромя, спустился в палату. Семен Годунов быстро шел навстречу. — Вести, государь!.. — завидев его, крикнул боярин и не докончил: Борис упал. — Патриарха!.. Клубук!.. — сказал лишь, и — отнялся у него язык.

Звон! — сорок сороков, разом зазвонили во всем теле царевом. Кровь хлестала из глаз, ушей и носа. Боярин, вопя, бежал из палаты. И, руша тишину, разбойный накатывался топот ног...

Ковер был толст и нагрет солнцем сквозь мутную слюду оконниц. По голубому полю цвели птицы и травы. Неловко подвернув ногу, лежа, бежал царь по тканому полю. И было невдомек, почему земля и травы — над головой, а небо — внизу...



Шел чин пострижения. Патриарх в лазоревой ризе склонялся над Борисом...

... Однажды сокол сбил ему дикого коршака. Расклеванная птица забилась с острым человеческим криком. Тогда впервые не стало сердца... «Бог с ним, с коршаком, — подумал Борис. — Ахти мне, — сколь еще много нынче дела!».

Травы жгли и щекотали шею. Отрезанные волосы падали за бобровый ворот.

Едва подали царю монашеский клобук,—он умер.

В Крестовой палате стояли бояре. Доктор Фидлер, подойдя к ним, сказал:

— Государь ваш был hidropicus, что значит, — страдал водянкой от сердечной болезни.

— Истинно, судом Божиим его не стало!—молвил, крестясь, Семен Годунов.

К дверному косяку, дрожа и сутулясь, приник Федор. — Щука умерла, а зубы остались, — вдруг шопотом сказал кто-то, и лица бояр стали злы и красны. Было три часа пополудни. Народ по обычаю громко вопил и плакал. А на крестцах и площадях уже читались «прелестные» Дмитриевы листы:

«...Меня, господаря вашего прироженного, бог невидимою рукою укрыл и много лет в судьбах своих сохранил; и яз, царевич, великий князь Дмитрий Иванович, ныне приспел в мужество.. иду на престол прародителей наших...»

«...А как лист на дереве станет разметываться — буду к вам государем на Москву...»

*Конец первой части*

# В тайге

ЕВГ. ЗАБЕЛИН

Один — охотничьей рукой  
курков оскаленных не трогай...  
Лесной, медвежьей сединой  
дымится иней над берлогой...  
Пусть у зимующей сосны  
смолистой силой крепнет хвоя,  
и бьется сердце тишины  
среди великого покоя.  
Мы в дар для сумрачной тайги  
приносим горсть тяжелой дробь..  
Костерный пепел разожги,  
лукавый след ведет к трущобе.  
Его распутай до конца,  
тайга обветренному сыну  
взамен горячего свинца  
отдаст заветную пушнину.  
И звездной изморозью в ней  
опять осыплется, мерцая,  
ухвостье нежных соболей  
на мех густого горностая.  
Живьем не выпустит капкан.  
Скрываясь в выщербленной яме,  
он шерсть, усталую от ран,  
прокусит дикими клыками.  
Ты затаился, ты застыл.  
Чью кровь в неистовом разгуле  
из молодых звериных жил  
пригубят меченые пули?  
Здесь после выстрела звенят  
осины, вздрагивая тихо,  
в последний раз своих волчат  
вчера баюкала волчиха.  
Курок охотничьей рукой  
взведи, прислушайся к тревоге.  
Дымятся древней сединой  
заиндевшие берлоги.

---

# Путешествие в Пишпек

С. МАРКОВ

На окнах вагона косые лучи  
Хитрее, чем взоры сарта...  
Так бейся же, сердце, бунтуй и стучи  
В соседстве с пробитой плацкартой!

Ведь это — мираж шафранных сторон,  
Томящий, как свист аркана, —  
Под грохот вагонов летит под уклон  
Скользящая тень Тамерлана.

Наездник промчался... И лошади пах —  
Крыло трепещущей птицы,  
И ветер стыл у меня на губах,  
И тихо лег на ресницы.

Но...  
Третий звонок... к посадке успеи!  
Гудков торопливых всплески...  
И, путая ноги в железе цепей,  
Хрипя, прошел Достоевский.

Подрубленный дымом летит под откос  
Ощипанный чахлый тополь,  
И ты не уйдешь сейчас от колес  
В тоске своей, Сергиополь!

Снега, облака и кипень садов,  
Цветенья пухлая вата,  
И город назвали: Отец-Плодов,  
А имя звучит Алма-Ата.

О, ласковый, тихий, белый старик,  
Прими стальных постояльцев,  
На землю яблоки, ярче гвоздик,  
Роняй из зеленых пальцев!

В деревьях сок — хмельнее руды —  
Что кровь — боится пореза,  
Но ты, Джеты-Су, обменяешь сады  
На тысячу верст железа.

Считавший за солнце отблеск грозы,  
В разливе барханного света,  
Пржевальский здесь грыз густые усы  
И бредил снегом Тибета.

Чего ты ищешь у каменных плеч,  
Обрюзгший и синий, как пуля?  
Тебе суждено, успокоившись, лечь  
В холодный ил Исык-Куля!

Чугун и сталь рассыпает бег  
И версты — смятенное стадо...  
Мы раньше тебя приедем в Пишпек,  
Седеющий конквистадор!

Копье опустив, рассержен и хмур,  
Чугунному вняв совету,  
Спешి назад, побежденный Тимур,  
На дымную серую лету!

Усталый дым к деревьям приник,  
Сейчас он с сердцем в союзе,  
Ну, что ж!

Кричи скорей, проводник:  
— Стоянка!  
— Станция Фрунзе!

---

# Дороги

Рассказ

И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

**В**ыезжаем из города на рассвете. Над рекою, над городом стоит молочно-белый густой туман. Над туманом видением плывет—стоит на валу городской белый собор. Где-то из тумана поет—разливается рожок пастуха.

Древнее, призрачное во всем этом. Мы проезжаем мост, старую площадь, ямщину, сворачиваем на большак. Солнце встает над лугами, ярко играя, внизу за кустами блестит и дымится река. В лугах копошатся косцы, лежат густые валы, нет - нет блеснет и погаснет на восходящем солнце коса. От лугов тянет туманом, медовым запахом трав. Под крутым обрушившимся берегом мелькнул изумрудом над черной дымящейся водой зимородок—наша райская птица—и пропал под нависшей лозою.

Тишина, утро, луговой золотистый простор. Мы выезжаем на большак—широкую дорогу, некогда обсаженную большими березами. Теперь мало осталось берез, они стары, дуплясты и точно спят, опустив до самой земли плакучие тонкие ветви... Здесь, под березами, некогда шла на Москву, жгла костры армия императора Наполеона, проезжали знатные посольские поезда... У самой дороги, на разлучьи, лежит большой белый камень. Тут стоял когда-то кабак, останавливались на отдых дорожные запыленные люди, висел над кабаком, вместо вывески, на шести черный еловый веник...

Дорога бежит, поднимается, пропадает в заросших кудрявым, об'еденным букашкою зелено-серым ольшанником рвах и лощинах, желтеет весенними незасыпанными промоинами, краснеет размытой глиной. Округ холмы, поля, колышется и дымит рожь, зеленеют овсы, туманом дымятся луга. Солнце светит призрачно и ярко, большие белые, чуть золотистые облака плывут по ярко-синему глубокому небу, а на холмах за рекою скользят по нивам и скатам их прозрачные лиловые тени... Деревни и хутора чернеют крышами, синевеют за рекою леса, густым зеленым островком показывается среди полей и лугов

деревенский погост, с густыми высокими соснами, с крестами-былинками, с просвечивающей крышей старинной уцелевшей каплицы. Дорогою идет человек в белой, подпоясанной ремешком рубахе, босые белые от пыли ноги ходко и мягко ступают по гладко накатанной дороге, глаза глядят молодо и хитро...

Трава у дороги мелкая, густая, пересыпанная кашкою, пчёлами; желтеет под березами иван-да-марья, покачиваются одуванчики. Мы подвигаемся не торопясь, идем пешком на под'емах. Ямщик-мещанин идет обочь, пощелкивая кнутовищем по пыльным сапогам. Бронзово-загорелый затылок его тверд, зарос курчавыми рыжими волосами, на пыльных ресницах, на щеках играет солнце, на спине, на выцветшем сукне гимнастерки, густо надели слепни. Слепни выются над потною лошадию, липнут на холку, на грудь, и мещанин, скалясь от удовольствия, давит их своею черной широкой ладонью, вытирает о штаны испачканную лошадиной кровью ладонь.

Он бывший кавалер трех георгиевских крестов, герой гражданской войны. Теперь он мирно занимается прежними своими делами стоит с мещанами-земляками в городе на Кресту, выезжает на станцию с лошадию, поругивает людей и порядки. Жмурясь на солнце, показывая на погост кнутовищем, рассказывает он, как воевал, как однажды отбивали у немцев деревенский погост.

— Как ухнет, ухнет,—говорит он, странно посмеиваясь,—земля на пять сажон вверх, а гробы с покойниками по воздуху над нами летают вместе с землею, на нас косточки сыплются. А мы за деревьями сидим, окопались, из винтовок, знай, пощелкиваем...

День занимается ясный, паркий, высоко стоит солнце. По макушам берез на -нет прошумит теплый полуденный ветер. Ветер колышет мелкие листья, наносит запах хлебов и трав. В кустах на лощинах пахнет землей, грибами, еще лежит под кустами седая роса. Голубая сивоворонка сидит на телефонной, тихо гудящей проволоке; копчик, стоя на одном месте, плещется над межою...

Я слушаю мещанина, гляжу на поля, на освещенную солнцем сивоворонку, на стоящего кобчика.—Сколько богатых тем, событий, судеб, историй, забытых и памятных! Вот здесь, над рекою, стояя против церкви большой деревянный, с пустыми зарадужелыми окнами дом дворян Пенских, и мне помнятся слышанные некогда рассказы о грозной барыне Пенчихе, гулявшей с наезжими музыкантами-скрипачами, о карлике-барине, молившемся среди поля под большим черным дубом, о том, что ни единый человек не смел тогда близко ни пройти ни проехать... Запомнились стоявшие у дороги одинокие крестики.—невыразимо страшные, слышанные в детстве рассказы об убиенных в пути, зарезанных разбойниками, опившихся, убитых громом... Далеким и сказочным показывается и недавнее: волость на краю села, под березами, воронобородый старшина за решеткой, длинношей писарь с заросшими шерстью ушами... Далеким прошлым показывается война: новобранцы и запасные, овдовелая, затужившая тяжело деревня, ста-

рики и бабы, первые красные дни.—Расправы с ворами-разбойниками, вдруг неведомо откуда об'явившимися повсеместно, голод, дезертиры, испанка, валявшая всех поголовно, тиф, как совсем недавно, словно при царе Грозном, останавливал на дороге прохожего и проезжего, гулял - пировал разбойничек Кышь... Стерт с лица земли, по колышкам разнесен старинный дом дворян Пенских; следа не осталось от прежних придорожных крестиков-памяток; сожжена, и головешки не сыщешь, старая волость; с землею сравняли, запахали и засеяли место, где стоял двор кузнечихи Марьи, прятавшей в подполье разбойников-бандитов... Осталась от прежнего высокая белая церковь, построенная барином Пенским, да попрежнему вьется-бежит среди зеленых лугов серебряная речка Елень, попрежнему чернеют деревенские соломенные крыши, белеют, разбегаются по полям и пригоркам накатанные пыльные дороги - проселки...

Кормить останавливаемся в монастыре.

Проезжаем подмонастырную, некогда богатую, деревню, с высокими тесовыми крышами, широкою улицей. Монастырь обнесен высокой белой кирпичной стеной. Попрежнему тяжелы и несокрушимы монастырские, ныне незапирающиеся, ворота. Теперь в монастыре музей, растет трава. Темная фигура музейного уцелевшего монаха метнулась, испуганно раздувая полы. Четырехсотлетний собор стоит тяжкий, пустынный и покинутый, чуждый всем и всему...

Мы стоим в монастыре недолго, едем дальше. Солнце уже высоко, поднимается над дорогою пыль. Дорога вьется полями. Направо и налево неприятно торчат не покрытые крыши хуторов-новоселков. Унылые, невеселые здесь места!..

Большая синяя туча собирается впереди. Мы едем тихо, наблюдая, как поднимается и растет туча, как сивеют и бегут впереди облака. Первые капли грузно падают на дорогу. Мы едем, пока позволяет дождь и гроза, потом привязываем лошадь и скрываемся в лес под высокое дерево. Дерево над нами качается и скрипит. Грозно полыхают молнии и грохочет гром. Мы сидим долго, потом поднимаемся, мокрые до костей, и по мокрой блестящей траве выходим из леса. Мокрая почерневшая лошадь, заступившая вожжи, радостно встречает нас. Внизу под скатом густыми сизыми клубами поднимается дым: горит зажженный грозною овин. Синяя туча стоит позади—она кажется еще грознее; чаще, удаляясь, полощут молнии и гремит гром. А впереди — синее июньское небо, плывут прозрачные облака, стремительный поток мутной дождевой воды несется по дороге, по ступицу обмывая колеса.

Березовая белая роща чиста, умыта, празднично блестит стволами деревьев. Пахнет березовым листом, мокрой землею. Мы под'езжаем к старинной сохранившейся усадьбе.

Из каменных ворот по зеркально-блестящей дороге выбегает встречу табун молодых лошадей. Молодые играют, трубою поднимают подстриженные хвосты, копытами разбрызгивают зеркальные лужи. В зеленой мокрой массе старинного парка белеет церковь. Мы про-

езжаем парком под деревьями, роняющими редкие капли, и останавливаемся у широкого подъезда с колоннами, под которыми стоит подоткнутая босая девка; устраиваем лошадь и поднимаемся по чугунной оборанной лестнице в дом.

В этом доме, большом, белом и каменно-тяжком, жили когда-то богатейшие люди нашего края. Теперь тут музей, коннозаводство, живут иные люди...

В верхних, отведенных под музей, комнатах—мертвая тишина. На пыльных высоких стенах висят темные, тускло отсвечивающие портреты. Старые высокие окна радужно пыльны и мутны, за давным-давно не выставлявшимися зимними рамами—толстые слои осенних мертвых мух. Воздух тяжелый, могильный. Мы проходим комнаты, уставленные мебелью, столами, креслами, высокими секретерами, на круглых столах лежат альбомы, выцветшие фотографии. В больших просторных шкафах рядами коричневеют корешки кожаных переплетов, хранятся стопки писем, перевязанных выцветшими ленточками, пахнущих мышами и прелью. Я беру, читаю на серой плотной бумаге замысловатым почерком написанное письмо. Какой далекий, чуждый, навеки похороненный мир!..

Здесь, в этих комнатах, жили, воспитывались, родились и умирали поколения людей, владевших богатством, почти несметным, державших в руках своих тысячи человеческих жизней и судеб, здесь умер последний из рода, удивлявший людей выходками своими, барин-чудак, доживали свой век две барышни-вековухи, последние владелицы усадьбы...

Мы проходим все комнаты, поднимаемся в детскую половину, откуда открывается вид на озеро, на пруды, на заглохший цветник, где на запущенных клумбах растет капуста и лук, пасется привязанный на веревку красный теленок. А еще прекрасен и густ парк, чудесен пруд,—с островами, развалившимися беседками, дремучими берегами, заросшими непролазной чащобой. Какие-то задичавшие, выродившиеся цветы сиротливо тянутся по кирпичной обсыпавшейся стене...

Я выхожу на волю, в парк. Высокий седой старик встречается мне в аллее. Он останавливается, заговаривает со мною; еще зорко глядят его выцветшие, запавшие глубоко глаза, высохшие темные пальцы старческих черных рук цепко держат яблоневую палку. Он помнит все, пережил три поколения господ, хорошо помнит крепостное. А я гляжу на него, как на чудо,—на его высохшие руки, на серую прозрачную бороду, на выцветшие глаза, видевшие далекие, ныне сказочные времена.

Вечером один брожу по парку, слушаю соловьев, лягушек, как гомозятся на высоких берегах над прудом цапли. Возвращаюсь поздно, прохожу коридором, гулко и пустынно отражающим шаги. Ночуем в кабинете, увешанном медвежьими шкурами, рогами и черепами оленей, лосей... И всю ночь не спим, курим, тревожно прислушиваемся к ночным звукам... Какой долгой кажется ночь! И, когда занимается заря,



я поднимаюсь, отдираю давно не открывавшуюся высокую присохшую раму. С окна летит замазка, воздух, пахнувший туманом, свежестью утра, листвою парка, врывается в комнату. Я дышу, надышаться не могу этим свежим, оживляющим, идущим с лугов утренним воздухом...

Чай пьем внизу у заведующего. Лошадь, всю ночь ходившая по парку, встречает нас ржаньем. От ямщика, спавшего на тележке под открытым небом, пахнет дегтем и лошадиным потом. Солнце празднично играет на лужах.

Выезжаем, когда над землю опять высоко и ярко поднимается солнце. Проезжаем пруд, мост, развалившиеся постройки, каменные, облупленные, выкрашенные некогда палевой краской стены и службы и выезжаем в луга. Там уже дует, слегка шевеля листьями, нанося с лугов запахи трав и цветов, прямо в лицо легкий полуденный ветер.

---

# Два стихотворения

А Д А Л И С

*Подражание старотюркскому.*

## 1. БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

О, зеравшанский полосатый тигр,  
Гроза широких камышей, джольбарс!  
Дай мне займы немного денег, дай  
На возвращение домой, джольбарс!  
Где в годы бедствия мои друзья?  
Где должники мои, скажи, джольбарс?  
Чтобы на родину свою попасть,  
Лишь у тебя прошу займы, джольбарс!  
Три камня светятся на тех горах,  
И травы длинные свистят, джольбарс:  
То время поезда — прохладный час, —  
И на усах твоих роса, джольбарс!  
Дай мне наведаться в Карагиссар!  
Там небо в полосах, как ты, джольбарс!  
Там розы пахнут мясом по утрам,  
Как ноздри пышные твои, джольбарс!  
Не уподобься брату Абдуллы,  
Не откажи мне в пустыке, джольбарс!  
Я научу тебя за это петь  
И пищу чистую варить, джольбарс!

## 1. ВСТРЕЧА

*Подражание тюркскому.*

В голубых горах повстречался мне  
Человек дрянной на лихом коне:  
«Или спесь свою живо скидывай,  
Иль гореть тебе на степном огне!»  
Продолжает он гробовую речь:  
«Ты осанку сбрось с невысоких плеч, —  
Или спесь свою живо скидывай,  
Иль пора тебе в суху землю лечь!

Мой молочный брат — курбаши Курбан,  
У меня в руке — заклЯтой наган. —  
Или спесь свою живо скидывай,  
Или в грудь тебе — семь глубоких ран!»  
Я смеюсь в ответ: «Человек пустой!  
Осади назад, — эй, павлин, стой! —  
Не без роду я, не без племени —  
Мой приемный дед — кипарис густой!  
На одной земле спят бербер и парс,  
На одном стебле — Каракол и Карс, —  
Не без роду я, не без племени —  
Мой молочный брат — полосатый барс!  
Полюбуйся, враг, на судьбу мою:  
В городах живу, на горах пою!  
Не без роду я, не без племени —  
Человек живой в трудовом краю!».

---

# Искатели

Роман

ВЛ. ЛИДИН

(Окончание <sup>1</sup>)

XXIX

**20** сентября Колымов отправил четыре подводы для переправки в новую шахту крепей и лестниц из шахты № 4. Инжеватов взял штейгера, они выехали утром в восьмом часу. День начинался сыро, земля проросла туманом. До шахты было шесть верст. Дорога шла проселком, глина облепляла колеса. Сумрачно—в отвалах пустотах—простирался утренний путь. У шахты ожидали подводы, четверо шахтеров, Андрюша Рыбак. Покинуто чернела своей вышкой в полях отслужившая шахта. Глубокий горизонт залежей, неустойчивая неверная порода плавунув — этих земных течений тысячами тонн земли — делали добычу убыточной; тяжелые большие крепления как бы плечом в своем невидимом ходе вышибала земля, несчастия и аварии сопровождали опасную эту работу. Шахтеры зажгли ручные лампочки, электрическая проводка была уже снята. Инжеватов пошел к спуску в шахту, Андрюша Рыбак опередил его.

— Погоди, инженер, дай первым пойду, посвечу, — сказал он спокойно.

Он взял свою лампочку и начал спускаться. Шахта шла на шестьдесят саженей в глубину, это была старая шахта, пресеченная штреками, много отдавшая в свою пору добычи. Она походила на женщину, истощенную родами. Лучшее она уже отдала человеку. То, что осталось, делало ее убыточной; все же не закрывали ее совсем, только консервировали для будущих, может быть, разработок. Он дождался, пока спустился Андрюша Рыбак, и стал тоже спускаться по вертикальной стремянке. Желтая лампочка на первой площадке едва раздвигала тьму. Следом спускаться стал штейгер; за ним шахтеры. На первой площадке при свете лампочки Инжеватов осмотрел крепления; часть креплений можно было временно снять. Он сделал пометки.

---

<sup>1</sup>) См. «Новый Мир», кн. 1, 2 и 3 с. г.

Опять Андрюша Рыбак стал первым спускаться в пролет. Надо было дожидаться на верхних ступеньках, пока он спустится, чтобы не наступить ему на руки. Снова гуськом они начали нисхождение; опять Инжеватов делал пометки. Так, спуская из пролета в пролет, они дошли до шестой лестницы вниз, до десятой сажени горизонта. Очень тускло, испытывая уже недостаток воздуха, светили лампочки. Инжеватов сделал пометки на крепях, посоветовался со штейгером, и опять спокойно сказал Андрюша Рыбак:

— Обожди, инженер... первому дай мне спуститься.

Старатель взялся рукою за перекладину, голова его скрылась. Инжеватов ждал его окрика, чтобы тоже начать спускаться—и вдруг там, в какой-то сажени от него, с грохотом, с гулом рванула непонятная сила, треск обрушенных крепей, ломающихся перекладин, вывороченных камней.. Все закачалось. Инжеватов отшатнулся, ударился головой о балку,—один только миг люди стояли еще, ожидая, что обрушатся следом, и сейчас же инстинкт, воля к жизни погнало их по лестнице вверх. Лампочки, словно шалые залетевшие бабочки, заматались в могильной угрожающей тьме. Тем же человеческим ужасом, волей к спасению гнало его вслед за людьми. Еще минуту спустя могли рухнуть все крепи, лестницы, настилы площадок. День снова возник над людьми. Они были наверху, под вышкой шахты. Только тогда Инжеватов понял, что Андрюша Рыбак остался внизу... В неистовстве он бросился к шахте. Штейгер ухватил его за плечо: — Куда вы, Демид Николаевич? — Он сбросил с себя его руку.

— Разве вы не понимаете сами, — сказал он с тем же неистовством,—старик остался внизу...

Его не пустили. Тогда он крикнул шахтерам:—Спускайте на веревке меня по стволу... четверо к вороту!

Штейгер сказал: — Ведь это не обвал, обрушилась лестница...

Он не слушал. Его обвязали веревкой подмышки, шахтеры знали опасность, борьбу с землей; люди работали молча, стремительно. Ужас гибели, возникшей минуты назад, сменился волей к спасению человека. Ему прицепили к поясу две лампочки, стали спускать на канате. Он упирался ногами о крепи, как в давнюю пору, когда соскальзывал вниз на канате, поставив ногу в веревочное стремя. Все было на месте на этих пяти пролетах, которыми они спускались по лестницам. Так спустился он до седьмого пролета. Он сразу увидел рухнувшие поперечные крепи, повисшие балки, обломки лестницы внизу на площадке. Площадка была сорвана, с отчаянием и надеждой он глядел вниз. Под обломком сорвавшихся досок он сразу увидел согнутую ногу в шахтерском сапоге. Старик лежал боком, нечеловечески вывернутый в этом падении. Обломок тяжелой лестницы с ребринами торчащих ступенек лежал на нем. Почти рыдая от ярости, жалости, Инжеватов разгребал обломки и доски. Он хотел поднять его вместе с собой, опутать канатом, у него не хватало сил. Он дернул веревку, чтобы его поднимали. Минуты подъема протянулись в целую жизнь. Опять

показался свет. Нужно было спуститься двоим шахтерам, извлечь его до пятой площадки, затем поднять его по лестницам наверх. Связывались веревки, веревками опутывались люди; он умолял торопиться. Наконец, они стали спускаться. Штейгер, Инжеватов, двое шахтеров спускали их воротом вниз. Люди скрылись. Медленно поворачивался вал, метр за метром разворачивалась веревка, увлекаемая людьми. С надеждой и силой крутил Инжеватов железную рукоять ворота. Вдруг движение прекратилось, люди стали. Он высчитывал минуты. Он видел, как опоясывают веревками старика, минуты протягивались в сутки. Внезапно дрогнул сигнал к под'ему. Веревка напряглась от тяжести; оборот за оборотом, наваливаясь на рукоять, вращали люди вал ворота. Это была тяжесть трех тел. Люди у ворота запотели. Еще минуты спустя опять дрогнул сигнал, чтобы прекратили под'ем. Инжеватов наклонился над спуском. Чернотой лежал зловеющий четырехугольник провала, в котором назначена была ему гибель. Он не погиб, рука отстранила его. Что произошло в этой шахте? Плавуны вытолкнули крепленья, балка сорвала лестницу, опрокинула вниз человека? Все могло быть так—и все было не так. Вдруг темнота провала ожила человеческой возней. Медленно, ступенька за ступенькой, выбирались люди с тяжестью наверх. Еще минуты спустя над землей появилось то, что он ждал. Шахтеры распутали веревки, положили старика на пол вышки. Северной огромной сосной лежал он на полу. Глаза его были приоткрыты, знакомая выцветшая синеватость слюдяной своей отрешенностью глядела из-под век. На лице не было ни ссадин, ни повреждений. Инжеватов встал на колено, взял его за руку. Рука была тепла. Он быстро ощупал его, положил ухо на грудь. Вдруг он увидел, что шахтеры стоят без шляп. Штейгер подошел, махнул рукой, взял старика за плечо, приподнял грубо, уже как вещь. Внизу, на затылке, лаковой чернотой натекла кровь.

Час спустя верхом прискакал Колымов. За ним гнали подводу с аварийными приспособлениями. Старатель лежал под вышкой, прикрытый рогожей. Колымов соскочил с лошади, подошел к убитому, приподнял рогожу. Минуту он вглядывался в его лицо. Как бы облако в этот миг проплыло по нему. Затем привычно, как-будто ничего не случилось, он стал командовать, покрикивать на шахтеров, велел спускать себя в шахту. Люди, как бы возвращенные к жизни его будничным голосом, крутили ворот, освещали спуск в шахту, спускались следом за ним. Все это проходило мимо, Инжеватов сидел на бревне, опять лихорадочной силой раздваивался этот мир. Человека, сопутствовавшего ему, более не было. Прикрытый рогожами, отслужившею вещью лежал он в углу. Потом этим же раздвоенным видением снова появился над землей Колымов. Он подошел к нему, сказал:

— Гляди, братишка... не для тебя ли это все назначалось?

Ворот выволоч наверх поперечного крепления балку. Край балки был свежо надпилен, поддерживая ее до поры, когда своей тяжестью ступит на нее человек.

— Кто-то для тебя старался, братишка! — сказал Колымов еще, безудержное знакомое бешенство было в его побелевших ноздрях.— Я след найду, подожди... старатель чуял, недаром первым пошел, тебя не пустил. Герои в землю уходят, подлецы на земле остаются...

И внезапно все то, что не до конца он продумал, прояснилось ужасом, жалостью, болью. Старатель пришел с шахтерами, не пустил его первым спуститься, пошел впереди... Отслуживши, исполнив свой долг, он лежал в стороне под рогожей. Инжеватов вспомнил, как отпаивал Андриюша его листопадными травами в малярийную ночь. Травы следует рвать на степи, не на сорном месте, с той стороны, на которую падает тень, чтобы солнце не освещало роющих рук. Это поверье в степных ветрах подслушал народ. Человек ушел в день, чтобы верными шестидесятилетними руками собрать для него эту диковинную и последнюю траву. Он глядел на Колымова, не стыдясь своих слез.

— Чего ты, братишка,—сказал вдруг тот с неслышанной нежностью,—человека в земле ты нашел, радоваться надо!..

Он пошел было прочь от него, внезапно остановился и, оскалив по-звериному зубы, сказал еще:

— Дорого я за него отплачу, обещаю...

Инжеватов остался под вышкой. Работал ворот. Шахтеры снимали ненужные крепи, чтобы переправить на новую шахту. Будни продолжались.

### XXX

Шахтерские сапоги били землю, лестница конторы заохала, вдруг—дикий, ерошенный, полуночным видением—предстал Шаверда.

— Завтра, инженер, отоспишься... одевайся, со мной идем, — сказал он, задохнувшись от бега. — Нынче старатели судят!

В руке его было кайло. Инжеватов понял: судить будут его за несчастье, за недосмотр, за неотбитый патрон. Сапог не лез на ногу, пуговицы становились упрямыми, упирались в пальцы. Наконец, он оделся. Он сказал Шаверде:

— Я готов... веди меня на суд.

Шаверда посмотрел на него дико. Они вышли из дома, быстро пошли по черной полуночной улице. Временами слышал он топот бежавших людей. В селе были огни в эту полночь, люди не спали. Шаверда побежал тоже. Он побежал за ним. Вдруг огромный черный шахтер, работавший на шахте «Иераклий Пастухов», нагнал их, заглянул в лицо, сказал на ходу:

— Спешу, инженер... в осаду берем Финогенова!

Он побежал дальше. Инжеватов догнал Шаверду:

— Ты об'ясни, Шаверда... куда меня гонишь?

— След нашли, Рыбин все выведал... Дышло крепи пилил,—сказал он одним духом, не останавливаясь.—Чуял Андриюша— первым

в шахту пошел, чтобы тебя уберечь. Все Финогенов замыслил... бурильщика Блохина подкупил. Своим судом судим нынче.

Они бежали по отвалам, ко двору Финогенова, к тракту. Смоляные факелы горели в ночи, шахтерские лампочки переползали, сбиваясь в кучу, толпа бушевала у двора Финогенова.

— Инженера наперед пропусти,—закричал Шаверда.—Под него подкоп был, он пусть и судит!

Инжеватова пропустили в круг. Он узнавал лица старателей, работавших на шахте № 4, «Иераклий Пастухов», на Желтухе. Смоляные факелы дымили в ночи, багровым пожарищем вздуваясь над толпой, бившейся возле тесовых ворот. Посреди, выше всех, на пустом ящике из-под гремучего студня стоял истерзанный человек в рубище. Плечо его было голо, глаза дики, Инжеватов узнал старателя Рыбина. Был он сейчас похож на древнего юрода. Вдруг Рыбин ударил себя в грудь, завопил бабьим голосом:

— Братцы, во всем он, во всем Финогенов виновен... двадцать лет кровь старательскую пьет, дед пил, отец пил, он пьет,—сто лет Финогеновы народ разоряют... в артель нас сбил, золото обещал... что находили — на спирт выменивали. В казну не сдавали, ему сдавали... Судить его, Каина!

Старатели стояли кругом сумрачно. Опять завопил Рыбин:

— Все его дело, братцы... жилу золотую на Благословенной горе пожалел, бурильщика Блохина подкупил, патрон чтоб оставил... в Китай подался Блохин с его золотом! Инженера извести хотел,—взвыл он еще, — старателя погнал крепи подпиливать... Инженер не сорвался, Андрюша сорвался, хоронить его поутру будем... бейте Финогенова, братцы, снесите кабак!

Шаверда сказал сумрачно:

— Допрашивай, инженер, правду он говорит?

Инжеватов сказал:

— Не мне судить... суд пускай судит.

Голоса забушевали:

— Наш суд, мы и судим! Нынче старатели судят.

Вдруг высокий черный шахтер, обогнавший их по дороге, ударил кайлом в тесовый забор:

— Эй, Каин... народ к ответу требует. Выходи!

Никто не вышел, огромные ворота были несокрушимы. Сзади завывали:

— Круши ворота... бери его силой.

Камень полетел вдруг в ворота, следом другой. Толпа сдвинулась. Стоя над толпой, Рыбин вопил:

— Бейте, братцы, сокрушайте забор... не выйдет Финогенов к ответу, силой возьмем!

Опять полетели камни, толпа подалась к воротам, Инжеватова смяли. Маленький безусый, со скопческим личиком, старатель Сучков крикнул возле самого уха:



— Не выдавайте, старатели!

Доски ворот затрещали, ворота были угрюмы, никто не ого-звался. Вдруг вверху над забором появилось лицо Финогенова зятя. Он кричал, толпа подалась назад:

— Дайте сказать...—Шум умолкал. Человек кричал сверху:—За самоуправство ответите... я хозяин, мой трактир, в милиции ответ держать будете.

Голос ответил:

— Бери кабатчика, парни...

Камни полетели. Рыбин, упершись руками в колени, выл, надры-вался, как на охоте:

— Ать его, братцы... в обход его, братцы!

Камни забили по забору, человек скрылся.

— Бей в ворота! Подсаживай одною на другого... сами откроем!

Верхний садился на нижнего, взбирались вверх на ворота, один соскочил по ту сторону. Вдруг вопль его раздался позади, за воро-тами. Его избивали. Толпа сомкнулась, ринулась, ударила в ворота как бы одним плечом. Вылетела верхняя петля у одной из створок, створка повисла. Ее выломали в миг, толпа ввалилась во двор. За избитого — вдруг озверели, зазвенели разбитые стекла. Инжеватов увидел, как поволокли Финогенова зятя, другой — человечиска — вопил в стара-тельских озверелых руках:

— Братцы, я в службе... Финогенов мной промышлял... братцы!

Инжеватов узнал человечиску: это был Дышло. С воем, высви-стом толпа двинулась на дом Финогенова. Полетели стекла, никто не ответил. Толпа выбила рамы, стала подсаживать в окна одного за другим. Двери открыли. Вдруг сверху откуда-то рванул выстрел. Ружейная дробь пришла в гущу, с воплем стали выбегать из толпы раненые.

— Вон он, Финогенов, с крыши целит!..— Рыбин вопил, его опрокинули; сумрачно, уже степенно пошли стеной к кабаку.

— В обход бери, чтобы не утек... с заднего двора окружай.

Толпа, знавшая партизанскую волю, рассыпалась, окружила дом, двор, пристройки. Высокий черный шахтер вышел вперед, сказал в тишине:

— Слезай.

Финогенов ответил с крыши:

— Разбойники, бандиты... в тюрьму сядете!

— Слезай!

Вдруг Финогенов приложил ружье снова к плечу, тишину разо-драл выстрел; шахтер отступил, схватился за плечо.

— Поджигай его, братцы,—завопил Рыбин снова,— в чистую возьмем, ничего не оставим.

Несколько смоляных факелов полетели на крышу. Минуту спустя в стороне взвыли:—Горит!—Дым шел из разбитых окон финогенова дома. Факел скатился с крыши во двор, к сенному сараю. Сухие го-

рящие стебли стали отрываться, носимые в воздухе. Сразу, за дымом вослед, из окон подожженного дома хлынуло пламя. Верхом в толпу влетел вдруг Колымов.

— Что вы делаете, товарищи... стойте! Суд есть, по суду он ответит!

Из толпы ответили:

— Сами нынче судим... помнём тебя мы, товарищ, уезжай!

Инжеватов подбежал, схватил его за ногу. Колымов взгляделся, сказал:

— Ничего тут, братишка, не сделаешь... в набат велю бить, село всё спалят.

Он ускакал. Вслед за санным сараем загорелся кабак. Финогенов сидел на крыше. Невидимый сначала в дыму, огромный, окровавленный пламенем, возник он затем у резного конька. Пламя стало поддавать наверх, гуще пошел дым. Вдруг он крикнул:

— Живьем, что ли, сжечь хотите?—Никто не ответил.—Живьем, варнаки, жечь хотите?—крикнул он снова.—Что я вам сделал такого?

Из толпы ответили:

— Десять лет землю корчуют... тебя не выкорчевали. Мы тебя дочиста выкорчем! Слезай.

Финогенов ответил из дыма:

— Не слезу!

Инжеватов побежал, спотыкаясь, нашел Шаверду:

— Сгорит ведь, снимите его!

С ненавистью, не отрываясь, глядели глаза на пожарище:

— Пусть горит.

Внезапно огонь, словно подданный ветром, кинулся кверху, под точенные изнутри стропила подались, крыша с коньком, с человеком, сидящим на ее ребре, стала оседать, тучами вздулись искры. Финогенов побежал по крыше, добежал до края, навстречу ударил огонь. Закрывая руками лицо, он кинулся в сторону. Минуты продолжалось это неистовство пламени, немотная беготня человека,—со страшным грохотом все провалилось вниз... Человек исчез. Люди стояли молча, ожидая, когда дождет пламя в ненасытном своем прожорстве дом, кабак, пристройки — столетнее становище Финогеновых. В ужасе, с воспаленным от жара лицом Инжеватов побежал по дороге. Медно, часто, бесполезно бил набат. Неспеша, не торопя лошадей, ехали навстречу добровольцы-пожарники. Была какая-то жестокая, лютая правда в том, что огнем очищалась земля. Наутро, после этой полыхающей ночи, загроможденной набатом, пожарищем, первобытными страстями людей, — он думал об этом на стареньком приисковом кладбище. Здесь хоронили его спутника на этой земле. Много старательских судеб лежало на кладбище приисков. Бабы руки приносили на могилы ячмень, чтобы птицы в легком прилете озаряли птичьим своим беспокойством земную великую сень. В этот день прощался он с другом. День был сумрачен и прост, как жизнь старателя. Ночные

страсти отбушевали. От становища Финогенова, от самого Финогенова—осталось пепелище. Старатели не позволили взять у него ни бутылки спирта, ни боченка сула. Все должно было стать пеплом. Все стало пеплом. Серенький день над могилой с насыпанным на ней ячменем спокойно продолжал жизнь. Шестидесятилетние кости легли в земле, как человеческая золотиносная и озаренная для будущих искателей жила.

## XXXI

«Инспекция горного надзора находит: участвовавшие за последнее время в районе золотопромышленных разработок несчастные случаи, плохое крепление шахты «Гиблая Елань», наконец, общее положение, имевшее связь с последними событиями в районе,—все это, впредь до судебного следствия и решения главного управления, вынуждает приостановить работу в шахте»... В бешенстве Колымов читал пространную канцелярскую бумагу. Нарочному, привезшему из управления пакет, он сказал:—Возвращайся к дьяволу... ответа не будет. Сам отвечать приеду!—Посланный уехал верхом. В лопнувшим в двух местах пиджаке Колымов шагал по комнате. Жене, готовившей чай, он сказал:—Чашками не греми.—Она затихла. Обычно тучей заносило их дом. Через минуту тучу прорвало. Колымов завопил.—Инженера сюда!—Михалка, служивший курьером, кучером, починщиком радио,—словно им выстрелили, перелетел через улицу к Инжеватову.

Колымов сказал:

— Прочти.

Инжеватов прочел.

— Что скажешь?

— Я знал.

— Примиряешься?—Колымова снова заносило по комнате. В горшок с цветами он сунул окурок, другой сунул в чашку, которую жена приготовила для чая. Она выждала, выбросила окурок, спокойно вымыла чашку.

— Кто, кто диктует? — Колымов завопил снова. — Они в нашей шкуре были? В землю лезли, каждый камешек перещупали? Мы дело делаем, жизнь строим, страну выправляем... а нас как мух на клейкую бумагу хотят наклеить? Врешь, не прилипну.—Он снова забегал.—Завтра к прокурору поеду, пусть наряжает экстренно следствие... Блохин смылся, через уголовный розыск найду. Старатели Финогенова сожгли, пусть их судят,—все село покажет, я покажу—репей из земли выдернули, злое растение.

Инжеватов слушал его; бесновался Колымов. То, чего он ждал, произошло. Работы прекращаются в шахте. Чтобы бороться дальше, нужны обмозоленные силы. У него мало сил. Андрюша Рыбак заставлял его верить, когда он слабел на этом пути. Чудодейственный настой из листопада осины ему не помог. Опять уговаривать,

умолять Колтухова, смотреть в равнодушные пустые глаза? Для себя давно решил он иначе. Закроют шахту—он будет продолжать со стариками-старателями. Память о человеке, принявшем гибель, назначенную для него, была — верная память. Он сказал спокойно:

— Пускай закрывают. Я не уйду.

Колымов вдруг остановился в своем разбеге:

— А ты думаешь, я уйду? Циркуляр мне прислали, брошу тебя и уйду? Мы бумажку на стенку припилим, ликвидацию до зимы затаю... а ты работай, братишка,—сказал он вдруг; лукаво и близко, коричневыми морщинками поползли суженные его, с хитрецою, глаза. —Дорожка наша, за золотом каменная, все ноги собьешь... А и в земле человек оглядку имеет, на животе по штреку ползет, как в могиле по мерке, а мир у него на хребте лежит, мир собой держит, это он знает, не думай. Не одними Колтуховыми земля мерится... это все—мелочь, моль от встряски летает... а и моль нужна, чтобы вещи научился беречь человек!

Большой своей человеческой глыбой Колымов подсел к нему; бритая его голова проростала короткой сплошной синевою.

— Хребет-то у меня— вот он... руку, пожалуй, о позвонки отшибешь. Я в землю полезу— согнусь, а по земле ходить хочу прямо, для этого и вылез наверх. Искатели мы, Инжеватов, золото ищем... матросы на корабле, а мы в земле плаваем. Лучше по своему следу разбиться, чем по чужому. Старатель разбился, птицей с лету пошел... Имени его не запомнят, а след-то в песне останется, на сто лет светить своей правдой станет. А ты о циркулярчике думаешь!

Колымов взял отстуканную лиловато бумажку, сложил ее вчетверо, сунул под лапку закрепочки на стене.

— У меня все бумажки в порядке висят,—сказал он лукаво,—все по номерам, а Михалка в книгу заносит... Только вот ты у меня желтеть стал, братишка, —сказал он еще. Большой заботой и дружбой смотрели сейчас на Инжеватова эти лукавые обычно глаза.

— Я думаю, добьет меня эта шахта, —сказал Инжеватов; он отвернул лицо. —Малярия моя все хуже, надо будет лечиться... впрочем, это после, будет досуг — примусь за себя.

Он просидел с Колымовым до ночи. Многие решили они для себя в этом ночном разговоре. Трижды заново гремела посудой жена; самовар заглох; она привыкла к этому беспорядку жизни. На дом опрокидывались ливни, стремительные тучи проходили за все эти годы над ним; потом все проходило, были снова—работа, надежды, самолюбие человека, которому доверили дело, который знал свой труд, как часть общего наступления по жизни... Только в первом часу они стали пить чай.

День спустя после циркулярной бумажки началось судебное следствие. Инспектору горного надзора, угрюмому немолодому человеку, Колымов показал следы подпиленных крепей; из финогеновской артели арестованы были старатели. Испуганные, оборвавшиеся, изнесчастившиеся людишки открылись во всем, даже в том, чего не было.

Судебный следователь дважды вызывал Инжеватова в город. Следователь на допросе спросил:

— Почему в разработке шахты принимали участие старатели?

Инжеватов сказал:

— Они указали место выхода жилы.

— Как же вы подавали план разработок, не имея точных данных о простирании жилы?

Инжеватов ответил:

— В плане была указана необходимость дополнительных разведок.

Следователь сказал:

— Вы противоречите своим первоначальным показаниям... на первом допросе, на странице... — он полистал дело, — на странице четырнадцатой вы показали, что имеете точные данные о простирании жилы.

Инжеватов ответил раздраженно:

— Точные данные о простирании золотоносных жил имеет геология, наука о земном строении... человек может только предполагать. Доказывать он может лишь разработками.

Следователь быстро записывал. Как всегда на предварительном дознании, предпочитали не верить, чем верить. Он ушел отсюда раздраженный и мнительный. Мнительность пришла, вероятно, с болезнью. Он не зашел в управление, уехал от следователя обратно. Он был слаб от приступа малярии накануне, от допроса, от этого равнодушия к его искательской судьбе. Колымов сообщил в управление, что работы в шахте он свертывает по мере отработки шахтерами выданных авансов мукдой. Это могло дать отсрочку на месяц. Инспектора горного надзора убедил он в том же. Прохождение новым штреком продолжалось. Дороги становились непроезжими, осенние дожди надолго вздыбили глину. С последней надеждой продолжал Инжеватов работу. Это была не та надежда, с которой пришел он сюда, с которой годы назад собирал он породы и раскладывал их в ящиках своего рабочего стола, — этой молодостью давно он прошел, молодость за эти годы он оставил в земле. Земля сушит, старит человека. Люди, с которыми бил он шахту, знали, что на сотню несчастливых искателей находится один добытчик... Не он один искал, они вместе искали с ним. Общий труд, общая воля, одна цель.

Осенние ливни кончались; ночи становились колыными; раз поутру была первая изморозь, белая курчавость травы. Это был задумчивый хладный приступ зимы.

### XXXII

Рабочие земли были — шахтеры. Десятками, сотнями люди, отвыкавшие с годами от света, проходили мимо него. Их были армии. Армиями выходили они из земли, отбивали Сибирь, дрались за Урал,

завоевывая право на труд. Добыв это право, они снова возвратились в землю. Он вернулся к ним на шахту от актов, следствий, наездов, которые принял Колымов целиком на себя. Чугунно наливались предзимние дни. Утренний ледок игольчато сбивал опавшую листопадом листву. Необыкновенная хладная настоенность дней сменила ненастье. Совы гулко оплакивали ночи, раздвинутые до зенита в звездном осеннем великолепии. Проносились метеоры, падали звезды, звездными ливнями озарялись гулкие ночные просторы, искательский костер в ночном одиночестве, затерянном для мира. Оглохший от хины, изглоданный малярией, уже привычно и жадно обугливавшей его, он провел этот месяц в лихорадках и озарениях. То, к чему он шел, еще покоилось в недрах, чтобы завтра, через день,—а может быть, никогда—открыться ему. То, что он любил, было отдалено этими несвершенными днями. Годы разлученья засыпают снежком. Письма из Москвы были кратки и сдержанны, не более, чем воспоминание, память. Женской душе нужен милый призрак. Призраком для нее мог он стать; призраком для себя самого становился он постепенно. В лихорадке истончалось чувство жизни, новой осязательной силой наполнились концы его пальцев, как бывает всегда, когда свой необозримый душевный мир заслоняет мир видимый. Сосредоточие жизни в эти дни лежало в глубине шахты, на пятнадцати саженьях глубже человеческого земного бытия. Сны и лихорадка перемежали труд, грохот ворота, высыпаемых добытых пород, чавканье насосов, потоки льющейся воды. Он привык в этом зыбком ощущении горячечной силы спускаться по мокрым ступеням, принимать на себя первые капли дождя, потом ливень, потом потоки. Захлебывающиеся хоботы насосов, черные, как бы в дегтевом от сырости блеске оббитые стены ствола, боковые тоннели штреков, где, согнувшись, шаг за шагом, люди кайлами отбивали породы, продвигаясь вперед к золотоносной и неостывающей цели. Он спускался вниз, сразу сырость ревматически охватывала ноги, сырели сапоги и наполнялись постепенно водой, первые капли падали с полей шляпы за ворот; все просторнее, глубже проникала сырость этих земных кротовых ходов, мокрых пород, окаянного одиночества человека. Он спустился однажды, старик Шаверда повел его за собой. Лампочки тускло желтили сумрак; он осматривал породы, как осматривал груды добытых и выгруженных кварцев над шахтой. Мощность жилы наверху, где он нашел ее выход, была тридцати сантиметров, если бы он нашел ее сброс хотя бы в пять-шесть вершков, он бы знал, что не даром прошел этот путь. Штрек ломался углом на юго-запад. Инжеватов остановился, стал вытирать лоб. Это была обычная малярийная слабость. Он отдышался и двинулся дальше. Желчная лампочка обрастала нимбом, головокружение качнуло его, он хотел ухватиться за стену, споткнулся о груды отбитой породы и полетел в темноту. Он ссадил себе руки о камни, хотел встать и не мог. Шаверда поднимал его в темном проходе. Боль была в правом боку, он ударился о боковое крепление. Шаверда вывел его из штрека, рыча:

— Набили породу, а убрать не убрали... взыскать со штейгера надо.

Инжеватов сказал:

— Ничего, я не сильно ушибся...

Он боялся, что головокружение, слабость не дадут ему выбраться наверх. Все же он выбрался. Он был мокр. Вода натекла в рукава, в голенища сапог. Он с трудом переоделся в казарме, лег, его стало знобить. Выжидавшая, снова обрушилась малярия. Шаверда покрыл его одеялом, потом полушубком, приложил к разбитому боку мокрое полотенце. Полотенце успокоило боль. Хина люто боролась, одолевая припадок. Он согрелся под полушубком, проснулся и снова уснул. Сон был, как шахта, тысячами саженей, все глубже. К вечеру проступило на правом боку огромное черное пятно внутреннего кровоизлияния. Приступ ослабевал. Он согрелся чаем, снова уснул на всю ночь. Утром была безмерная неотвратимая слабость. Он хотел встать и не мог; с ужасом почувствовал он, что заболевает вконец. Колымов возился с инспекцией, он не стал его вызывать. Сном, хиной, волей он возвращал себя за эти дни к жизни. Два дня спустя он встал, попробовал работать над планами. Он проработал весь день, привычно одолевая себя, подчиняя порядку, необходимости. На другой день он вышел впервые. Пятно кровоподтека посинело, боль была глуше. Он боялся спуститься в шахту, он был еще слаб. Холодно и просторно стояла осень, конец октября, начало зимы. В лесу была крепость жизни, антоновская зрелость, хрусткие дни. За эти пять дней приступы малярии вдруг отошли, как бы давая ему силы для возвращения. Он вдруг уверовал, что с зимой, с холодами кончится эта листопадная дрожь.

На шестое, памятное всей его жизни, утро он снова спустился в шахту. Шаверда, штейгер сопровождали его. Руки бездумно перехватывали ступеньки лестницы. Он отдышался на третьей площадке, спросил у штейгера:

— Сколько за эти дни прошли штреком?

Тот ответил:

— Около сажени.

Они спускались дальше. Опять насосы своими паровыми залпами раздирали тишину глубины. Так они спустились на дно. Знакомо захлопала вода под ногами. Они прошли штрек до излома, до того места, где Инжеватов споткнулся о грудку. Кайла били в глубине, рушились обломки. Шаг за шагом они пробирались в желтом прозрачном свете лампочек. Немолодой высокий шахтер, один из лучших старых шахтеров, бивший в глубине, осветил его фонарем.

— Товарищу Инжеватову,—сказал он из тьмы,—а я наверх к вам собирался!—Он шагнул из темноты, дикие воспаленные глаза приблизились.—Добыча есть,—сказал он вдруг возле самого лица Инжеватова; он хотел быть медлителен и равнодушен, — и прорвался: — Добыча есть, инженер... сюда гляди!

Он поволок его за собой, другой шахтер ожидал в глубине штрека... Сгрудившись, плечо-о-плечо, дыханье в дыханье, остановились люди в этом подземном убежище. И то, ради чего они бились здесь, ради чего сажень за саженью спускались они этой шахтой, что было их общим трудом и его, Инжеватова, жизнью,—всем признаком своей таинственной силы возникло сейчас перед ним... Еще там, в полутора сажнях вверху, где нашел он смещение жилы, ее перемещение вместе с пластами сланцев давним доисторическим процессом земли, он обнаружил сброс жилы, ее разветвление тончайшими струйками. Какая из этих струек вела к цели, какой струйкой продолжалась ушедшая жила? Тысячи старых искателей, усвоивших полувековой опыт, обманывались на этом таинственном следу, уходили вслед за пустой, обрывавшейся струйкой. Гадая над веерком разорванных нитей, определяя направление жилы, он знал, что единою нитью судьбы отмечен сейчас его путь. Нужно было дальше искать, добиваться, верить... Люди искали, добивались и верили. И вот — загадочной и вновь обретенною силой возникла перед ними опять эта прервавшаяся золотиносная жила. Нисходящим очертанием своей желтоватой прослойки она уходила книзу, указуя путь своего падения, который искал человек. В отбитых коричневатых кварцах чешуйками, острым блеском вкрапленных частиц блестело золото. Мощност, которую искал он хотя бы в десять сантиметров, была здесь, внизу, в шестьдесят... Он держал в руке мокрый кварц, вдруг улыбнулся, шире и шире поползла эта улыбка, которую не мог он сдержать. Двойным распухающим светом вникала лампочка в его раскрытые широко зрачки. Шахтер приблизил лицо и сказал сурово и нежно:

— Добрало тебя золотишко, товарищ Инжеватов... много сил оно стоит!

Это был день счастья и света. Люди работали в шахте, выбирая породу, чтобы сутки спустя, раздробленная под вращающимися бегунами фабрики, показала она, сколько хранит в себе золота. Десятки подвод гнал Колымов, вторая смена отказалась от отдыха и работала кряду двенадцать часов. Горячка посетила этот гиблый край, лесную и забытую глушь их труда. С таежной, далекой от человеческой жизни поляны ощущали люди сейчас великую связь со страной. Звезды, месяц, потом рассвет освещали торопливую их суету, нагруженные породой подводы, вышку шахты, в которую не верил никто... Колымов утром прислал за ним нарочного. Шатаясь от бессонницы, Инжеватов верхом на лошади нарочного поехал на бегунную фабрику. Грохотали бегуны, в огромные чаны сыпалась из вагонеток порода, измельченные золотиносные массы мокрым густым песком стекали по шлюзам, оставляя золото на амальгаме листов. Колымов стоял вверху, возле чанов, он был как командир на этом грохочущем, ожившем, тоже узнавшем горячку искателей, корабле... Инжеватов сел возле муфельной печи. Живоносное тепло шло он нее. Его клонило ко сну. Весь день накануне, вся ночь — эта горячая стремительная



ночь, в которой не почувствовал он, что продрог от осеннего холода, — все это так же стремительно и счастливо проплывало, уже не мучая и не беспокоя... Часы, вероятно, прошли так. Вдруг снова рядом с ним оказался Колымов.

— Ты спишь, инженер? — завопил он, налетая на него, обнимая его. — Знаешь, сколько дало?

Инжеватов спросил:

— Сколько?

— Шестнадцать золотников для начала... — завопил Колымов, — шестнадцать!

Инжеватов улыбнулся. Колымов отпустил его плечи, он покачался, с той же негаснущей улыбкой стал сползать вниз. Лоб его был мокр, лицо белело смертельно.

— Да ты болен, братишка!.. — он услышал это еще напоследок. Потом необыкновенное счастье, что можно ни о чем больше не думать, ни о чем не тревожиться, ничего не желать — сменило и смыло все.

### XXXIII

«Через неделю, как только станет возможно, меня увезут в Москву. В результате ушиба о балку при случайном и глупом падении у меня произошло внутреннее кровоотечение с последствиями... Я не могу объяснить вам точно название моей болезни, но знаю, что главное в ней — это уменьшение количества крови и плохое кровяное давление; вероятно, на языке медицины у этого всего есть свое название... Я не очень берегся, было не до этого. Главным образом, конечно, добрала меня малярия, которую я захватил на болотах. Пользуюсь недосмотром и пишу. Я нашел, наконец, то, что искал. Я могу вернуть себя жизни. Не знаю только, не перестал ли быть нужным я вам за все эти годы?.. Может быть, слишком прямолинейно я вел свок судьбу. Я знаю, жизнь не терпит такой прямолинейности и жестоко изменяет человеку. Нужно уметь приспособить себя к ее сложным ходам. Я этого не умею. Я мужик, во мне мужицкая упрямая кровь... по-своему я понимаю свой долг перед собой, перед родиной; по-своему чувствую ответственность. На небывалую ответственность вытолкнула нас революция... все усилия направлены к одной цели, все разрозненные воли составляют одну волю. Так это я понимаю для себя. Во имя этого я отрекся на годы от жизни. Десятки людей искали золото вместе со мною. Теперь они выберут огромной мощности жилу, которую мы трижды теряли и все-таки нашли, наконец. Я возвращаю себя жизни, вам, если только еще немножко я нужен. Между той юной Наташей, которая проводила меня в дальний путь на терраске пречистенского домика, между сегодняшним мною — лежит моя молодость. Молодость я отдал земле, той самой земле, которая дала мне корни жизни, на которой работал всю жизнь отец. Я не знаю, очень ли я болен или это временное переутомление. Так или иначе — через две недели

я буду в Москве. Я готов к худшему, не бойтесь меня огорчить. Главное, первое условие, — будем честны вполне друг перед другом. Я пишу карандашом, лежа; строки вышли кривые — от моей слабости и неудобства писать». — Инжеватов на листках полевой своей книжки написал письмо. Минуту спустя он добавил: — «И еще: просьба, уже деловая. Кажется, меня приговорили к какой-то нелепой операции. Если можно устроить, я бы хотел попасть в клинику к Алексею Михайловичу. Операции я не боюсь, а просьба моя из обстоятельств моего одиночества в Москве».

Теперь он кончил письмо. Он писал его целое утро, когда оставался один. За окнами, забеленными наполовину, были облетевшие деревья сада. По утрам стекла запотевали от заморозков. Раз утром все было в инее, растаявшем к полудню. На второе утро иней держался дольше. Инжеватов лежал, смотрел на иней, на голые ветки. Он думал о лесном одиночестве шахты, о том, как там, в шахте, ставшей уже частью его жизни, отнявшей у него столько сил, люди продолжают работу. Это была отдельная палата в городской больнице; мир человеческих страданий соседствовал. На другой же день после того, как привез его Колымов сюда, старший врач—знаменитый в городе Башилов, с розовым голым черепом, со сросшимися гусеницами очень подвижных, словно отдельно живущих, рыжих бровей, определил резкое падение кровяного давления, сильное истощение в результате малярии, анемизацию центральной нервной системы. Нужно было недельное испытание и затем операция в Москве, если кто-нибудь довезет его с собой до Москвы. Его мучили в течение трех дней, брали кровь, делали снимки; болезненной, страшно разросшейся оказалась селезенка, исковерканная малярией. Дальнейшие наблюдения Башилова не утешили. Играя рыжими гусеницами бровей, он присел рядом, раздвинул пальцами его веко, поглядел на зрачок. Он сказал:

— Поизносились вы, батюшка. Надо вас развинтить на части, смазать колеса, а главное—крови добавить... у вас кровяное давление ниже 75... а эритроцитов дай бог полтора миллиона. Вы физиологи знаете?

Инжеватов улыбнулся:

— Слабо.

— Почитайте, почитайте, батюшка, вам ведь не втолкуешь... люди думают, что они без износа, работают до полного срыва, пока организм не дегенерирует вовсе. Операцию надо — и в этом же месяце...

Инжеватов спросил:

— А разве здесь нельзя сделать, доктор?..

Доктор забормотал сердито:

— Все можно, кто говорит... препаратов нет, бедность, в Америке кровь готовенькой, цитрированной в запаянных цилиндрах доставляют, а у нас в Москву ехать надо... через годик, через два — погодите — все сами наладим.

Инжеватов близко видел его подвижные живучие брови. Слабость с опозданием доводила до сознания слова, видения обстающего мира:

больше в эти дни было видений внутренних, рожденных горячным ходом его оскудевшей крови. Он спал многие часы кряду, как бы на-верстывая все то, что пропустил в бессонницах, в рабочей казарме в лесу, за своими полуночными чертежами и проектами. На третий день приехал Колымов в город. Огромный своей глыбой ввалился он в докторский кабинет, растолкав не пускавших сиделок.

— Про человека мне надо узнать, а вы меня в приемную на час засадить хотите...

На него не обижался никто. Грубость его была от сердца, от большого нутра. Он пришел к Башилову в кабинет, рухнул в клеенчатое кресло, вытер лоб. Несмотря на холодное утро, ему было жарко.

— Насчет инженера моего пришел я узнать, — сказал он со свирепую нежностью, — поставьте вы его на ноги, доктор! Он миллион стоит, дешевле государство его не отдаст, я верно говорю... цену настоящую называю.

Доктор Башилов рассказал ему все. Он слушал, поникал.

— Как же я-то не досмотрел... ведь я его мог уберечь, — сказал он с сокрушением. — Вот оно — золотишко... золотник возьмешь из земли, два золотника крови отдашь!

Он хотел бы сам отвезти его в Москву, сдать с рук на руки; он не мог бросить шахты, была горячка добычи, приезжали из горного ведомства, из управления. Он торжествовал, грохотал; но — не было Инжеватова. Он взялся устроить, чтобы отправили его с провожатым в Москву. Теперь он мог требовать. Сиделка провела его к Инжеватову. Он вошел, сел рядом, монгольские его, обычно лукавые глазки с нежностью и грустью поглядели в его глаза. Инжеватов был слаб, улыбнулся, жаркая рука пожала его руку.

— Ну, как ты, братишка? — сказал Колымов, пригнувшись. — Завалился у меня ты совсем. Я, подлец, во-время не приметил...

— Полно, — сказал Инжеватов, — выправлюсь.

— В Москву мы тебя отправляем... а твоего возвращения ожидать буду вот как!

Инжеватов спросил:

— А что шахта? — как-то отплывшей в сознании, словно частью отработанной жизни была теперь эта шахта.

— Шахта идет-горит, — Колымов сказал живо. — Шестнадцать золотников берем и берем... кварц — чистопробный, вот я тебе для примера привез.

Он достал из кармана камень в бумажке, чтобы не осыпалось золото. Великолепного колючего блеска, смуглых вкрапинок золота полон был этот камень.

— Любоваться надо, — сказал Колымов еще, — шестьдесят сантиметров мощность, а ты на двадцать рассчитывал... инспекция приезжала, в управлении именинниками ходят, а я еще на них докажу, как они нас страдать заставляли!..

Крепкими, крутыми новостями полон был его смешливый разговорчивый рот.

— Вот если бы ты, братишка, поднялся... для полного моего счастья тебя нехватает, — сказал он еще сокрушенно.

— Ничего, я поправлюсь, — Инжеватов ответил невесело. — Главное, жилу сейчас выбирай... все-таки достали мы золото! И еще — вот еще что... глупо это, может быть, ты не смейся, — посыпь Андрюше ячменю на могилку, пусть клюют птицы, есть в этом большая мечта все же. Хотя и птицы поулетали, — добавил он еще грустно.

Сумрачный ушел Колымов из больничного этого плена. Сухую колючую шелуху носил ветер. Насупленно лежал город, ожидая снегов. В управлении Колымов прошел в кабинет инженера, сел в кресло, не ожидая, пока предложит Колтухов ему сесть.

— Инжеватова надо мне отправить для операции, — сказал он хмуро, — человек нужен, чтобы до Москвы его проводить...

Колтухов поглядел на него, рука с в'евшимся золотым кольцом перестала писать.

— А откуда же я возьму провожатого? — сказал он вдруг.

Колымов ответил:

— Достать надо. А не то я с работы снимаюсь, поставьте мне заместителя. — Внезапно он завопил: — Сам повезу... он золото в земле мне нашел, а я ему провожатого не достану?..

Он бушевал затем по всему управлению. Все же своего он добился. Высокому, с мясовитым лицом технику Алонзову, собиравшемуся в Москву в конце месяца, разрешили ехать через неделю. Он взялся доставить Инжеватова до Москвы, поместить в клинику. Колымов увел его в коридор, прижал к стене.

— Ты мне инженера моего сбереги... слышишь, Алонзов? Довези его, сдай и напиши, ради бога... ведь ты не напишешь — я знаю. В Москву попадешь — закрутишься. Он миллион стоит — инженер, таких теперь на тысячу человек один... я тебе верно говорю!

Алонзов обещал доставить, сдать, написать. Мясовитому его добродушному лицу поверил Колымов. Он ушел из управления довольный. Главное было сделано. Теперь можно было вернуться обратно на прииск, чтобы через неделю приехать проводить Инжеватова. Он взнуздal во дворе верхового жеребца, легко перекинул свое большое тяжелое тело. Жеребец рванулся, осел под ним, и медлительно, буддийски восседая, застучал Колымов на своем широком коне по сбитым камням главной улицы.

#### XXXIV

На том же вокзале, на котором встречал Инжеватов Дмитрия Шологова в их минутные расстания, проводил Колымов его в дальний путь. Четыре года прошли здесь, золотоискательские горькие годы. Дела, начатое им, продолжают другие. Золотая неуловимая нить стала мощною жилой, которую теперь выбирают наверх. В последний

раз он увидел Колымова в эти минуты их расставанья. Колымов вдавился в купе, натащил свертков.

— Это тебе на дорогу... со своим добром ехать надо, в вагоне-ресторане дерут, на них напасешься... три дня тебе плыть. — Он закинул свертки на сетку. — Так ты назад-то вернешься, меня не бросишь совсем?

Инжеватов сказал:

— Не знаю... разное может теперь пойти моя жизнь, если поправлюсь.

— Ну, поправишься враз, говорить нечего... — Колымов забеспокоился. — Главное, дух береги...

Инжеватов сказал: — Я спокоен.

— Проводника я тебе нашел — верного человека... — Колымов хитреcci подмигивал глазом. — Верно, Алонзов... инженера аккуратно доставишь?

Большим своим добрым, мясовитым лицом улыбался штейгер Алонзов.

— Доставлю, раз взялся...

Вокзал со своим дорожным прощальным шумом отшумел головами, звяканьем звонков, торопящимися из буфета пассажирами. Колымов сказал еще:

— Как доставишь, обо всем мне сейчас же напишешь... слышишь, Алонзов?

Он подсел к Инжеватову, они обнялись. Этим последним обхватом тучных плеч, на которых опять в двух местах треснул пиджак, всей своей благодарностью, памятью совместных их дел — хотел Инжеватов проститься. Клетчатая старая кепка махала, сдвигаясь назад вместе с белым широким вокзалом. За вокзалом открылся город: деревянными привокзальными домишками, далекой острокопечной верхушкой кирки, потом собором под грузными, сияющими в крутом своем кученьи облаками. И впервые за все эти годы путевой стук колес пространствами и новой долиною жизни стал отмерягь для Инжеватова путь.

Этот путь на Москву был долгий путь разговоров, уплывающих станций, степи, сменившейся горным хребтом, лимонными, ржавыми, облетающими перелесками осени, туманными морозными утрами, когда курчавая соль покрывала поля и склоны. И чем ближе становилась Москва, тем туманнее, возвышенной и грустней он ощущал свою жизнь. За эти годы многое прошло, многое изменилось в нем, многое узнал он в жизни наново. Существо, протившееся с ним на все эти годы, обещавшее ему верность, скупыми редкими письмами напоминавшее о себе — почти без слова о настоящем, о том, что хотел он услышать, — какими ветрами и ливнями пресекался за годы созревания юности ее путь? Что осталось в ней от него, в солдатской сивой шинели на стремительном повороте жизни возникшего тогда перед ней? Не выветрился ли он для нее, как выветривались большие...

люди, большие памяти? Он не воспаял в себе ничего. Конечно, иначе в юности звучат голоса, и с годами изумляешься юному и восторженному отзыву на первый зов жизни. Он ждал худшего для себя и не хотел обольщений. Редко сберегает человек двойные щедроты жизни.

Так проходил этот путь. Зимой уезжал Алонзов в Олёкму, где издавна, десятилетиями, хищники-копачи разрабатывали русла золотоносных Джегдокары и Ваги. Зимой русло реки служило единственным таежным сообщением—Мачинским трактом. Хищники брали всю зиму золото выморозкой, теперь готовился план больших работ и разведок. Алонзов говорил, его большое крутое лицо знало многие ветры.

— Олёкма — золотая сторона... по Ваге, по Ныгре, по Атыркан-Берикану, — всюду золото. И я со старателями, было время, шурфил... много брали золота хищники. На разработках Желтуги старые копачи по восьми пудов брали золота в год, это с прогулами, с пьянством, с притоком воды. Поехали бы со мной, Инжеватов, большие дела можно делать в Олёкме... Мачинской дорогой по льду, по руслу погоним — хорошо!.. Посмотрите, как зимою выморозкой золото берут, лед пробивают, бадьями на лед песок добывают... особая добыча. Богатое золото в приступах, в скалах у берега находят... воды для промывки нехватает, лед тают. Пожегами пески берут, дрова жгут, чтобы оттаяли пески, по полтора пудов человек в день на тачках вывозит... земля там насквозь промерзает, вечная мерзлота. — Алонзов сипел своей трубочкой. — А летом на золотоносных ключах с косы на косу идут, на бутарах золото моют, были артели — по двадцать золотников с, двухсот пятидесяти тачек брали... большими делами Сибирь мерится. — Он пыхнул трубочкой, сказал вдруг стихами нараспев:

Там гробовая тишина,  
Там беспросветный мрак.  
Зачем, проклятая страна.  
Нашел тебя Ермак!

— кто эти стихи писал? А мы тишину всколыхнули, Сибирью Русь будем мерить, погодите. Северный великий путь из нее пойдет! С Туркестаном соединят через год.

Он уходил в Олёкму на три года — тем же обычным путем искателя, похожим на путь натуралиста, открывателя новых земель. Трубочкой его, сипевшей, стлавшей сизоватый дымок, всеми дорожными этими разговорами, великим переделом Азии и Европы, где на мраморном столбе по одну сторону надпись—Европа, по другую—Азия, остался это путь. Высверливая ночи и дни, шел поезд на Москву. Утром, еще на рассвете, пустыми полустанками, подмосковными городишками, дачами означилась близость Москвы. И Москва возникла, открылась в предморозной этой ноябрьской синеве, дымами и трубами, улицами окраин, пронесшимися внизу с первыми утренними вагонами трамваев, начинавших от застав свое городское плененное странствие.

Алонзов повез его с вокзала в гостиницу. Это были меблирашки возле Сретенских ворот, когда-то бывшие «Сретенские», — называ-

лись теперь они «Роза». Прибывших провели в тупичок коридора, в третий этаж. Разбросав свои вещи, умывшись, Алонзов поехал устраивать его в клинику, доставить в главное управление важный пакет, познакомиться с нужными людьми, отвезти письмо Инжеватова в пречистенский домик... И огромный, туманный утренний город, со сретенской сутолокой, с обозами ломовых и трамваями — заглочнул его и стал перемалывать. Инжеватов остался один. Это был обычный скучный номер, предназначенный для остановок в пути и человеческого одиночества. Несвежий диван, два стертых плюшевых кресла, лампа с инвентарным номерком, объявление в рамках, как вызывать прислугу, как беречь мебель... Затхловатый мышинный запах плохо проветренной комнаты. Он лег на диван. Путевая песня колес все еще звучала. Он хотел позвонить, чтобы подали чаю, сильнее были — слабость, желание не двигаться, уснуть. Он уснул. Потом он проснулся, увидел то же окно, уже посизевшее; были сумерки, очевидно. Он хотел встать, зажечь свет и снова уснул. Опять шел поезд. Фонарь под синим чепцом был мирен, глухие ночные проносились поля. Вдруг красную полированную дверку стали дергать снаружи, кондуктор петушиным голосом пропел: — Вятка—Москва. — Он быстро открыл глаза, прямо против глаз было синее окно купе, он не понял, куда идет поезд; внезапно снова задержали дверь. Алонзов говорил за дверью:

— Инжеватов, пустите гостей...

Еще досыпая на ходу, он побежал к двери, открыл. Алонзов сказал в дверях:

— Я не один... можно войти?

Инжеватов обеими руками стер сон с лица. Алонзов вошел. Он был не один. Существо, стоявшее в коридоре, давним знакомым, не изменившимся, все эти годы звучавшим в нем голосом спросило:

— Демид Николаевич, можно войти?

Она вошла, она стояла в этом дрянненьком, полным еще его путевого сна номере. Инжеватов сказал:

— Наташа...

Маленькую теплую руку держал он в своей руке. Те же, суженные в устьях, в своем очаровательном разрезе глаза смотрели на него, стыдясь и страдая. Они стыдились за то, что не могли скрыть своего сияния, радости; они страдали потому, что он был слаб; желт, вероятно худ, невероятно исковеркан болезнью. Алонзов сказал:

— Ну, вот, превосходно... а я насчет чая сейчас распоряжусь.

Он ушел и не возвращался двадцать минут. Они сели рядом на том же вытертом старом диване. Он держал маленькую руку в своей руке и не мог сказать ничего. Так прошли минуты. Наконец, она сказала:

— Надо сейчас же устроить вас в клинику... Алексей Михайлович распорядился принять вас сегодня же. Завтра с утра вас обследуют он и врач-терапевт...

Инжеватов улыбался. В знакомой лихорадочной слабости, в начинавшемся сухостью кожи, внутренней непереборяемой дрожью приступе малярии он видел преображенный мир, в который он не верил, в котором сомневался, которого боялся в снах.

— Я скоро поправлюсь, — сказал он, улыбаясь, — я знаю... всем существом, всей жизнью я счастлив, Наташа!

Чудесными дарами за все его дни одаряла жизнь. Он вернулся к тому, что ему казалось утерянным. Всей правдой своих нескрывающих глаз, всей своей нераскрытой тревогой и нежностью она говорила ему, что он вернулся в покинутый дом. Необыкновенное счастье покоя—особенно в этой лихорадочной слабости, в том двойном осязании жизни, которое узнаёт человек в своем воспаленном миру... И именно в том, что ничего не было сказано ими, что оба они так долго молчали — было самое главное. Так вернулся он из тысячи дней своего отречения — в жизнь. Большая, уже зажигавшаяся зелеными огнями Москва была за окном — шумный, торопящийся город, сердце страны, тревожная память многих видений.

### XXXV

Доктор Егоров принес сведения, сводку о состоянии больных, после операции. Утром пошел первый снег, свежая холстяная белизна была в маленьком деловом кабинетике. Шологов просмотрел сведения, дал распоряжения. Доктор Егоров, сумрачный безмолвный человек, откладывал в папку бумаги. Будничный день начался.

— Вас хочет видеть техник Алонзов, — сказал он затем, — тот, что вчера доставил больного.

Он завязал тесемки на папке и вышел. Было в сумрачной его нелюдимости большое расположение к людям. Минуту спустя—высокий, стесняющийся своего непомерного роста Алонзов вошел в кабинет. Спокойная сухая рука пожала его огромную руку. Шологов сказал:

— Прощу вас, садитесь. Вы, вероятно, по поводу здоровья больного?

Алонзов неуклюже ответил:

— Вы уж нашего инженера выходите, профессор... это я от всех вас прошу. По нашему делу такому человеку цены нет.

Шологов ответил спокойно:

— Все, что возможно, будет сделано. Должен сказать, однако, что состояние его плохое. Я еще не имею всех данных, но думаю, что придется прибегнуть к трансфузии крови, к переливанию крови, то-есть.

Алонзов так же неуклюже сказал опять:

— Наши все очень надеются... ждут от меня телеграммы. Вы уж выручите инженера, профессор!..

Он измял ему руку. Шологов снова остался один в своем кабинетике. Три дня назад в умоляющем сиянии глаз Наташи, во всей ее стремительной просьбе, заново восстановил он в себе то, о чем говорил



ему Дмитрий, что знал он и что старался для себя позабыть. Вдвойне пристально, с удвоенным вниманием он оглядел человека, распятого перед ним. Привычно искажала болезнь человеческие черты. Лихорадочный жар затемнял спокойное раздумие духа. Руки делателя жизни, обминавшего ее кирпичи, были слабы. Человек покорно вверял себя ему. В этот вечерний час, в сумрачной по-больничному отдельной палате, куда распорядился он его положить, на краткий лишь срок задумался Шологов о своем человеческом, личном... Человек, нарушивший ход его жизни, пришедший, чтобы с бездумием молодости равнодушно отнять бесспорную и неотделимую часть его существа, — страдая и ожидая от него исцеления, близкий к последней уничтожительной анемии, покорно лежал перед ним. На краткий лишь срок эти человеческие чувства возникли в уединенной палате, куда приносят для испытанья больных и куда кладут умирающих... Привычные руки врача вслед за тем ощупали тело. Человек, лежавший перед ним на постели, страдал. И руки, знавшие дело своей жизни, сосредоточенно и привычно приняли новое истощенное существо человека.

Шологов вернулся домой. Наташа ждала его. Никогда он не знал такого сдержанного внутреннего ее напряжения, ранящего такого сияния не видел никогда он в ее глазах. Она не спросила его ни о чем, он сам рассказал ей о своем вечернем осмотре, о своих предположениях, об операции, которую считал он неотвратимой. Он рано простился с ней в этот вечер и уехал из дома. Трамвай с запотевшими от ноябрьского морозца окнами легко уносил вдоль бульваров, знакомым путем. Пустая длительная остановка у Арбатских ворот, когда свет вдруг становится желт, лица уставшими, люди говорят друг с другом вполголоса и входят нищие и слепцы со своей покаянною песнью, — и дальше, мимо уносящейся теснины бульвара, к широкому, арктически-синеватому простору реки. Здесь была тишина, тишайшее раздумчивейшее место Москвы. Ему захотелось пройти одиночеством набережных. Светились огни Замоскворечья, четыре трубы кондитерской фабрики, как стол, опрокинутый ножками вверх, морозная синева уходящего речного простора, дворцы и шатровые башни Кремля. Опять, после многих лет, пришел он к ночному этому одиночеству. Сложенными аккуратно листками лежат записи лет, но однажды, разворошенные, раскиданные принесшимся ветром, являют они человеку зрелище его изменившегося с годами почерка, желтизну уже десятилетиями отделенных листков, и тогда начинает читать человек о том, что прошло, что было необыкновенно когда-то и все же ушло, заноса воспоминания легким вот этим, не пристающим к земле, ноябрьским суховатым снежком... Так проходил он вдоль набережной. Жизнь имеет свои половодья; шлюзы, которые ставит человек на пути и которые кажутся ему надежными, оказываются ненадежными, придуманными в упоительной слепоте... Что же, решение жизни мудрее человеческих скудных решений. То, что вверило себя сейчас в его руки, с двойной бережливостью, с двойным сознанием своей ответственности он должен принять и сохранить для

жизни. Этим путем, не требующим ночных уединенных раздумий, шел он всегда. Трижды, четырежды измерил он версты вдоль старых кремлевских стен, мимо мостов, по которым легко уносились в Замоскворечье автомобили с циклопическими глазами огней. Ветер с Оки, вероятно, просторно и холодно дул в эти ночные часы. Легким сквозняком выветривал он человека, как комнату, изгоняя дым папирос и сутолоку слишком человеческих мыслей. Далеко вдоль набережной уходили огнями трамвай. Было нечто по-городскому одинокое в этом их беге древними путями Москвы. Он дождался пустого по-ночному трамвая и поехал всем кругом обратно, глухими перекрестками Таганских, Яузских улиц и темным подъемом Покровского бульвара вдоль казарменного пустынного плаца. Успокоительно населяло знакомым равновесием душу это городское и небывалое странствие.

В одиннадцать часов утра, как обычно, он начал обход палат. Помощники, аспиранты-студенты, доктор Егоров сопровождали его. Разматывалась марля повязок, привычно обнажался угрюмый мир людских страданий. Фибромы, сращения сломанных суставов в коробках шин и лубков, сложные швы операционных ран; тяжелые костно-суставные операции, острое малокровие вследствие кровотечений, гемофилия — все, требующее переливания свежей крови, единственного источника обновления сработанной жизни. Он проходил палатами, осматривал, делал назначения. Армией бодрствующих сторожей на межах желто натертого пола стояли сиделки. Шологов обошел общие палаты — мужскую и женскую. В отдельную палату вошел он позднее. На белизне подушки, в свечении этой как бы накрахмаленной комнаты желтизна, худоба Инжеватова были зловещи. Малярия, истощение крови доглядывали его с неукротимой силой. Шологов присел на постель, взял руку, привычно нащупал пульс. Лихорадочные и сухие толчки крови подталкивали эту тонкую линию жизни. Инжеватов смотрел на лицо человека, которого научился он втайне любить, водителя двух самых близких существ... Это был лоб в поперечных чертах раздумий, крепко поседевшие виски не старых волос, глаза под пенснэ — серые, углубленные, думающие глаза человека. Шологов долго изучал его и сказал, наконец:

— Вы очень себя запустили. Когда впервые у вас началась малярия?

Инжеватов стал вспоминать. Ранняя весна, первые разведки старателей, глухая пустынная шахта в лесу, комарьё... все уже, как память прожитых дней, — еще недавние горячие, обугленные искательской волей дни.

Он сказал:

— Вероятно, с весны... я заметил это лишь в июне.

Доктор Егоров надевал ему на руку манжету «ривароччи» для измерения давления крови. Манометр подле пришел в действие, ртутный столб показывал давление крови. Больного исследовали осторожно, приборами, просматривали скорбный лист, кривую температуры, кото-

рые привез Алонзов с собой. Он смотрел на лица врачей. Они были сосредоточены, непроницаемы, как всегда. Лишь на лице сиделки, немолодой, с милым и худым лицом женщины, он успел заметить привычно затаенное сочувствие. Еще минуту спустя Шологов сказал:

— Вам нужно освежить организм... у вас нарушены отправления сердца, в организме накопились кислоты, продукты обратного метаморфоза... сделаем пробу крови, все выясним. А пока лежите спокойно, поменьше думайте, старайтесь спать.

Инжеватов снова остался один. Хирургическая белизна палаты, шлепанье больничных неслышных туфель по коридору, заглушенные голоса уже далекого мира. И опять пошли отмеряться лихорадкой, слабостью, замирающим биением сердца дневные часы. Шологов вернулся наверх, в свой кабинет, вместе с доктором Егоровым и младшим ординатором, маленьким черным, похожим на жучка, доктором Капланом. Показания были скверные. Давление крови падало. Физиологический раствор, введенный накануне, оказал лишь временное слабое действие.

— Какой процент гемоглобина?—спросил у ординатора Шологов.

— Не свыше тридцати процентов, по-моему, — сказал Каплан. — Эритроцитов полтора миллиона... заметна тенденция к уменьшению. При падении повреждение селезенки дало два повторных внутренних кровотечения. Возможна тяжелая анемия, несомненно.

Шологов сидел за столом.

— У вас есть донор, чтобы произвести трансфузию крови в ближайшие дни? — сказал он минуту спустя.

— Я назначил сегодня притти двум студентам, они предлагали себя, — сказал доктор Егоров.

— Пожалуйста, Игнатий Сергеевич, исследуйте их сейчас же... я хочу назначить операцию возможно скорее.

Он назначил еще на завтра две операции. Сложное удаление точной раковой опухоли, частичная ампутация гангренирующей стопы у железнодорожника. Теперь наступал перерыв в его дне. Час он мог отдыхать, быть сам с собой в своем кабинете. На холодном ветре накануне на набережной многое выветрился он в себе, чтобы спокойно, в обычном порядке встретить сегодняшний день. В пятом часу, как всегда, пришла Наташа. Она не спросила его ни о чем. Он сам рассказал обо всем, как учил его примиряющий ветер с Оки на трижды пройденной вчера набережной с далекими и затерянными огнями трамваев.

— Все будет хорошо, я уверен, — сказал он еще в раздумье. Он взял ее руку и не выпустил из своей. — Сила жизни берет свое... будем верить, дружок.

Опять за окном понесло суховатую пылью снега. Короткая метелица бушевала над горбдом. Он смотрел на этот первый снег, на молодость московской зимы, безудержно и бездумно уносившей листки его человеческих записей. Каждой поре свой ветер, и снег замечает листья. Это он знал сейчас, как никогда.

## XXXVI

В шестом часу вечера младший ординатор, доктор Каплан, делал вечерний обход больных. Привычно сестры сменяли перевязки, ставили компрессы, мерили температуру. Будничной больничною жизнью жил этот дом. Каплан обошел общие палаты и зашел к Инжеватову.

— Как наши дела? — спросил он, по-обычному прихватывая пульс. Инжеватов ничего не ответил. С утра стала ломить, опустошать небывалая в такой мере слабость. Впервые, как бы в обморочном от-решении, раздвоился между сознанием и небытием этот мир. Лихора-дочно пульсировали лишь концы пальцев, словно кровь отхлынула к ним; отяжелели ноги, пот все время выступал на его лбу, это был хо-лодный изнурительный пот.

— Я очень ослабел почему-то, — сказал он вялыми губами.

Доктор Каплан быстро осмотрел его, сосчитал пульс. Он велел се-стре впрыснуть камфары и ушел. Он быстро прошел сквозь палаты, поднялся вверх в дежурную комнату и позвонил Шологову по теле-фону:

— Алексей Михайлович, — сказал он встревоженно, — у больного в отдельной палате начался шок... артериальный тонус понижен, давле-ние крови падает. Что прикажете делать?

Мгновение безмолвствовала телефонная трубка в его руке; вслед затем Шологов ответил:

— Узнайте у Егорова, где донор, которого он хотел приготовить. Впрыскивайте пока камфару. Я скоро буду.

Шологов выехал из дома через четверть часа. Он сказал Лиза-вете, что будет назад только в девять. Лизавета вздыхала: обед, как обычно, перестоит. Шологов нанял извозчика на углу. Неперено-симо цепляла подковами и скользила на гололедице лошадь. У Пречи-стенских ворот он бросил извозчика и пересел в такси. Быстро понес-лась каретка по широким булыжным камням, мимо храма Спасителя, набережной, Каменным мостом, Большою Полянкой... Вечерняя боль-ничная тишина была в институте. Еще на лестнице он встретил Егорова.

— Как больной? — спросил он на-ходу.

Доктор Егоров последовал за ним.

— Донор не годится, — сказал он сумрачно, — больной — второй группы, а он оказался — первой...

Шологов остановился в коридоре. Он быстро поглядел в его глаза, зашел в свой кабинетик, снял пиджак и, привычно выпра-вляя на-ходу рукава халата, пошел торопливо дальше. Инжеватов был в прострации, лицо его уже не выделялось на подушке своей жел-тизной, оно было бело, пот обилен, пульс слаб и беспорядочен. Шоло-гов знал, все кругом знали: только немедленная операция, единствен-ное последнее средство — приток свежей крови может спасти чело-века. Он глядел на закинутое, уже обострившееся лицо Инжеватова. Предсмертная тень лежала во впадинах его глаз.

— Игнатий Сергеевич, — сказал он вдруг, — произведем биологическую пробу... кажется, я отношусь к четвертой группе. Необходимо спасти человека.

На этот раз дико своими лесными глазами Егоров посмотрел на него.

— Не все ли равно кто... кто может, тот и дает. — И Шологов взял его под руку и вывел за собой в коридор. — Я уверен, что так же поступили бы и вы, и другой, и каждый из нас... Ну, ослабею немного, в три недельки все это верну и забуду. А человека спасем... мое клиническое исследование имеется в институте, его делали для опыта, если вы помните. Пробу вы произведете сейчас.

— Алексей Михайлович, я не имею права, — сказал Егоров с той же угрюмой ошеломленностью.

— Прошу вас, пожалуйста, без лишних слов... ведь вы пустяки говорите, а дороги минуты.

Он быстро уводил его с собой в лабораторию. Вероятно, впоследствии доктор Егоров во многом поразился себе, во многом себя упрекнул, — теперь он шел за ним следом, расстроенный, не знающий, как ему быть, как противостоять законному этому и немислимому все же решению. Десять минут спустя они вернулись в палату. Шологов быстро засучил рукав халата, обнажил руку, сел на белый круглый металлический стул. При пробе присутствовали сестра, та самая немолодая миловидная женщина, взгляд которой многое открыл Инжеватову, доктор Егоров, доктор Каплан. Все были очень подавлены и серьезны. Доктор Егоров ровным широким нажимом ватки очистил руку эфиром; то же он сделал и с рукой Инжеватова. Доктор Каплан приготавливал микроскоп. Егоров проколол Инжеватову палец руки, выдавил каплю на предметное стеклышко, смешал с каплей воды. Он прибавил сюда еще одну каплю лимонно-кислого натра. Потом так же он взял каплю крови у Шологова. Две капли крови легли на предметном стеклышке. Егоров покачал это стеклышко, капли смешались. Доктор Каплан прикрыл стеклышко другим продольным стеклышком, размазал на стекле эти четыре капли крови и воды, положил под микроскоп. Все ждали. Где-то в глубине, тайно, с надеждой, доктор Егоров, доктор Каплан выжидали: там, на стеклышке под микроскопом, наступит реакция агглютинации, жидкость посветлеет, комочки склеенных эритроцитов появятся в ней. Это будет значить, что производить переливание крови нельзя, что дающий кровь и берущий кровь принадлежат к тем группам, которые не могут брать друг у друга крови. Ничто не произошло, реакция не случилась.

— Реакция есть? — спросил Шологов.

Каплан оторвался от окуляра, наконец.

— Нет, — он ответил сумрачно.

— Готовьте операцию, — сказал Шологов торопливо.

Он вышел из палаты и быстро поднялся в операционную. Сиделка зажгла свет. Сияющими тысячесвечными лампами вспыхнула эта свер-

кающая, заново отделанная, открытая только месяц назад операционная. Он прошелся по ней. Не хуже, чем у Дюпьи или у Еttore Брагацци. Он стал приготавливаться к операции. Обычно брал в руки он сам нож, иглу, шприц. Теперь он готовился лечь на операционный стол. Пришел Каплан, спросил:

— Алексей Михайлович, может быть, предупредить ваших домашних?

Он ответил:

— Зачем их зря беспокоить... мы делаем десятками операции, во французской армии в войну их делали сотни...

Он все приготовил, как если бы сам собирался производить операцию. Доктор Егоров приготавливал инструменты, растворы. Два санитары внесли Инжеватова вскоре и положили на операционный стол. Это был шок, опустошивший существо человека, как при сильнейшем кровотечении; надо было оживить, уничтожить капиллярный стаз, привести в движение оскудевшую кровь. Минутами отмерялась человеческая жизнь. Наконец, все было готово. Доктор Егоров сказал:

— Алексей Михайлович, я возьму триста кубических сантиметров крови...

Шологов ответил:

— Возьмите пятьсот... я не старик.

Он пошел к операционному столу. Сестра помогла ему лечь. Он лег, вытянул руку на столике рядом, сделал несколько раз гимнастику, чтобы набухла вена. Егоров анестезировал руку, накиннул жгут, стал нащупывать пальцем набухавшую вену. Вслед затем осторожно, сильно он ввел иглу. Все стояли вокруг, Шологов глядел перед собой. Он видел налитую сияющим светом большую матовую грушу лампы, белизну потолка, по временам сосредоточенное и угрюмое лицо Егорова. Медленно капля за каплей набирал тот в сосуд пятьсот сантиметров темной венозной крови. Время шло; необычайную легкость, сладчайшее головокружение испытал Шологов в эти минуты. Ровно, отчетливо билось сердце; легкая неостановимая воздушность мыслей, проплывавших, как облака, не отягощала, в них было как бы летнее неторопливое бездумие, ясность легкого высокого полдня. И то, что было там, позади, темное для него, путь Наташи, судьба его жизни — все становилось тоже необыкновенно проясненным до конца. Он делал сейчас свое обычное дело, которому служил. Прежде всего — умирал человек, потом уже мог он, Шологов, произнести для себя его имя, которое он знал и носил в себе все эти годы. В далекой Бретани, в ненастную ночь, пресекаемую быстролетным огнем маяка, он трижды повторил это имя. Теперь распластанное существо человека еще продолжало по инерции жить, уже лишенное раздумья и воли. Так проплывали мысли. Вдруг доктор Егоров быстро перехватил его вену; сейчас же сестра привычно стала раскатывать бинт вокруг руки. Шологов хотел спросить ее: — Сколько взяли? — и внезапно в том же невообразимом круговращении снялась с места и поплыла сестра, за нею плыла

сияющая груша лампы, он хотел улыбнуться, ослабевшие мускулы распряли эту улыбку. — Неужели головокружение? — он подумал, стараясь восстановить в сознании все пропорции этой изученной комнаты, и доктор Каплан, маленький, черный как жук, вознесся по диагонали и остановился над ним на-лету, страшно вращая карими глазами караима. — Обязательно расскажу все семье! — сказал он, надув отчаянно щеки, но Шологову в этот миг стало все безразлично. Доктор Каплан опустил на место. Шологов поглядел на милое немолодое лицо сестры и сказал:

— Кажется, мне скверно... скажите Егорову — сердце...

### XXXVII

«18 ноября 192.. года мной, старшим ассистентом хирургической клиники, доктором Егоровым, в присутствии младшего ординатора доктора Каплана и сестры милосердия Звягиной была произведена операция трансфузии крови больному, поступившему за неделю для излечения с сильно выраженными явлениями острого малокровия, вследствие малярии и травматического повреждения селезенки, результатом которого явилось несколько внутренних кровотечений. Больной, инженер Инжеватов, был доставлен с резким и прогрессирующим падением кровяного давления, с анемизацией центральной нервной системы. Первоначальное обследование обнаружило накопление в организме продуктов обратного метаморфоза, уменьшение окислительных процессов и резко выраженное понижение красных кровяных телец и количества гемоглобина. Общее падение с нормы эритроцитов при микроскопическом анализе было обнаружено до полутора миллионов. В виду плохого прогноза и возможности явлений тяжелой анемии, профессор Шологов, при вторичном осмотре больного, предложил мне в срочном порядке озаботиться приготовлением донора для трансфузии крови. В последнее время ощущался острый недостаток в донорах, и я имел в виду использовать предложение крови со стороны двух студентов-медиков, Сперанского и Вольфсона, явившихся в институт несколько дней назад. Однако, один из них впоследствии не явился, а другой, именно Сперанский, по взятии пробы и на основании изоагглютинационных свойств крови, был отнесен к первой группе и, следовательно, не мог явиться донором по отношению к больному, принадлежавшему по свойствам крови ко второй группе. Я предполагал на следующее утро все же разыскать другого студента или иного донора, но в тот же день, именно 18 ноября, в шестом часу вечера, я срочно был вызван в институт дежурившим в этот день младшим ординатором доктором Капланом, в виду начала явления шока у больного Инжеватова. Явившись в институт, я застал уже там профессора Шологова, который, как оказалось впоследствии, предупредил доктора Каплана о немедленном его вызове в случае появления каких-либо угрожающих явлений в состоянии больного Инжеватова. Я застал больного в состоянии прострации,

с явлениями полного шока, с холодной кожей, обильно выделяющей пот. При обследовании было обнаружено резкое падение центрального кровяного давления с малым нитевидным периферическим пульсом. Все эти явления, в связи с наступлением ацидоза всего организма и крови, указывали, что только немедленное переливание крови может спасти больного. В это время, в виду отсутствия донора, профессор Шологов выразил желание, в целях спасения больного, дать свою кровь в количестве 500 к. с., потребном для производства операции. Я должен с полной откровенностью указать в этом заявлении, что был поставлен в совершенно затруднительное положение этим предложением. С одной стороны, как врач, я должен был принять все меры для спасения больного и, поскольку имелось добровольное согласие дать необходимое количество крови, незамедлительно воспользоваться им. С другой стороны, я не мог не учесть всей опасности для донора, каковым являлся один из крупнейших современных ученых, руководитель клиники, мой сослуживец. Все это взяло во мне перевес, и я попытался убедить профессора Шологова отказаться от операции. Однако, наступившее ухудшение в состоянии больного, сложный клинический симптомокомплекс шока оставили профессора Шологова непреклонным в своем решении, и он настаивал именно на том, чтобы взять у него 500 к. с. крови, хотя я и предполагал ограничиться 300 к. с. Вслед затем, в виду того, что клиническое исследование профессора Шологова имелось в делах института (с экспериментаторской целью в свое время было произведено исследование всего врачебного состава), я счел возможным ограничиться биологической пробой для определения групповой принадлежности донора и реципиента. Эта проба была произведена мной по способу Mandelstamm'a и при микроскопическом исследовании взятых капель крови донора и реципиента реакция обнаружена не была. В силу этого я счел возможным приступить к операции трансфузии крови. Операция была начата в 8½ часов вечера и продолжалась 24 минуты. За это время мной было взято у донора 400 к. с. крови, при чем операция была мной прервана, несмотря на предварительное намерение взять именно 500 к. с., в виду острого и прогрессирующего падения сердечной деятельности. Оставив донора на попечении доктора Каплана, я немедленно приступил к переливанию крови реципиенту. Уже после вливания первых 200 к. с., приблизительно через пять минут после начала, у больного было обнаружено наполнение пульса, бывшего все время нитевидным, и появились первые признаки сознания, что являлось благоприятствующим симптомом. Влив все 400 к. с. и закончив операцию, я передал его сестре Звягиной, распорядившись о послеоперационном тонизировании сердца камфарою и кофеином, и только тогда смог вернуться к донору, сильно беспокоившему меня. Я должен сказать, что эти минуты, пока производил я трансфузию крови, не будучи в состоянии ни на минуту оторваться от операции, чтобы обратиться к профессору Шологову, были самыми тяжелыми минутами за всю мою практику. Обнаружив у него еще во время операции резкое ослабление сер-



дечной деятельности и прервав вследствие этого операцию, я предполагал, что то сравнительно небольшое количество крови, которое было взято, может лишь временно сопровождаться ослаблением миокарда. Однако, уже первые наблюдения убедили меня в противном. Вслед за замедлением дыхания и сердечной деятельности, начался цианоз лица, чувство ползания мурашек, на которое профессор Шологов успел пожаловаться. В виду угрожающих явлений анемизации, мы дважды применили вливание физиологического раствора, впрыскивание адреналина и камфары, однако, сердечная деятельность продолжала ослабевать, и в 12 часов 37 минут ночи при явлениях коллапса наступило резкое и прогрессирующее падение сердечной деятельности, агония и смерть. Ко всему этому я считаю своим долгом добавить следующее. Трагическое осложнение при операции переливания крови, самоотверженная гибель одного из крупнейших ученых—все это могло бы представить этот случай как один из научных экспериментов, которыми наша наука так богата. Однако, с самого начала я должен решительно отвергнуть это предположение. Операция была произведена на общих основаниях. Каждый из нас выполнил свой долг врача и, несмотря на всю личную и общественную тяжесть потери, я должен сказать, что профессор Шологов до самой последней минуты был убежден только в том, что исполнил свой долг. Зная его взгляды, весь характер его мышления, всю его практическую работу, я считаю необходимым указать, что для него это являлось не актом самопожертвования, а только очередным и ответственным долгом врача. И вот теперь, разбираясь во всех обстоятельствах, я, доктор Егоров, после долгих размышлений считаю, что тоже выполнил свои обязанности врача, несмотря на все трагические и лично для меня необыкновенно тяжелые последствия...».

Была зима, ноябрь, снег. Снег выпал за эти дни, занес Замоскворечье, шатровые перекрытия кремлевских башен, старую Москву. В этот час в синеем тулупе сумерек лежал большой город. К тому, что написал доктор Егоров, к этому обсыпанному пеплом десятка его папирос заявлению мог бы добавить он много своих раздумий врача, человека. В ряду гениальных экспериментаторов, людей науки, открывателей новых путей, есть много незабываемых великих имен врачей, физиологов, погибших на этих путях испытаний и опытов. И на каждого из этих великих водителей приходится сотни безыменных продолжателей, преемственно ведущих линию из далеких прозрений, чтобы в горячем живом претворении осуществить далекие замыслы. Вечное круговращение, круговая порука людей одной цели, одного устремления. У широкого большого окна Егоров глядел на синеем город. Быстро стлалась голубизна, отделявшая вечер от дня. И вот, первые —еще зеленовато, стеклянно — зажглись фонари геометрической окружностью набережной, мостов и реки, стынувшей в зимнем и насупленном одиночестве. Город озарялся огнями; город жил. Доктор Егоров зажег настольную лампу, прозаический свет деловито покрыл собой стол и исписанный лист. Егоров стряхнул с него пепел и поставил внизу свою неприемчательную, по-докторски торопливую подпись.

## XXXVIII

Все оставалось жить в покинутом доме. Жили вещи преобразенною жизнью человека, которому привыкли они принадлежать. Обрушились стены, целая жизнь, большой сложный мир человека, — вещи продолжали существовать. В сосредоточенном ужасе, как бы не разоблачая еще для себя всего, что случилось, Наташа осталась вместе с вещами в покинутом доме. В один только вечер опрокинулось то, что было доселе одной из основ ее жизни. В двенадцатом часу ночи, вызванная в институт, припала она к человеку, чтобы всем дыханием своего отчаяния согреть холодеющие и уже неподвижные руки... Все было кончено ныне. Жили вещи. Воспаленная память наполняла их живой осязательной силой. Стаканчик с карандашами, исписанными его рукой. Больше других сточенный зеленый карандаш, который она для него чинила. Последняя корректура статьи, начатая им, но так и не исправленная до конца. Часы на столе, остановившиеся на половине восьмого утра: никто не завел их в тот вечер. На перекидном календарике 18 ноября записи дел, которые нужно исполнить. Время остановилось, пропуская впереди себя человека. Кресло хранило вдавленный след его спины, локотники были стерты многими ночами труда. Холодными руками Наташа трогала вещи, садилась на его любимое место в углу дивана, снова начинала ходить. Дмитрий прислал телеграмму, что выезжает из Нью-Йорка через неделю. Она была одна в опустошенном доме. По-бабьи делила Лизавета с ней горе, последним существом оставшись здесь. Лизавета знала сырые облегчительные слезы. В дубовом полированном ящичке, который привез Дмитрий из Вятки, остались недокуренные папиросы. Их некому было докуривать, как некому было стачивать карандаши. Вдруг она поняла: ей больше их не нужно чинить. Это было как бы ужасающее просветление. С жестокостью разоблачало оно затуманенный отчаянием мир. И тогда впервые явились слезы. Втиснувшись в этот любимый угол его дивана, она отдала себя слезам, их разрешительной силе. За все годы детства, за всю свою юность, за мать, которую она потеряла и которая была ей сейчас так нужна, за человека-отца, водителя, спутника — была эта жаркая источаемая сила... Лизавета стояла за дверью, слушала ее и ревела мужским голосом, сморкаясь, словно рвала полотно. Потом она не выдержала одиночества, ворвалась, и в ее переднике, пропахнувшем кухней, спрятала по-детски Наташа лицо, как в широких коленях матери.

Неподвижный мир оцепененья распался. Ожили вещи, сдвинулось время, календарный листок, остановившийся на 18 ноября, перекинулся на 27, почти двумя неделями отделялся уже тот разрушительный вечер... Жизнь продолжалась, надо было жить. Предмет за предметом, вещь за вещь набредала она на следы жившего здесь человека. Зубная пожелтевшая щетка, которую все он собирался сменить, но так и не сменил. Шляпа на вешалке, эта знакомая старая шля-

па, знавшая многие ветры и непогоды; мохнатое берлинское пальто, заменившее после многих лет старое московское пальтишко. Ящики его стола, которые закрытыми она ревниво берегла: теперь до возвращения Дмитрия. Сама Лизавета, сжившаяся, ставшая частью дома, знавшая все его привычки и вкусы... А там, за стенами кабинета с маленькими приметамы его навыка, — большое европейское имя, толпы, пришедшие его проводить, квартира, вдруг широко открытая, в которую приходили прямо с улицы мало знакомые, незнакомые люди; каждый лист раскрытой газеты, номерá журналов, телеграммы из многих городов, из-за границы... Все утихало с этими отлистанными днями календаря. Только то, что осталось в ней, в его доме, не становилось дальше и тише. Напротив, затуманенность дней прояснялась, слезы освободили для новых чувств, для той глубины, которой не могло быть в первые дни смятения и горя... И тогда — иное, тоже бывшее доселе частью ее жизни, возникло на этом проясненном пути. Тот, другой, которого ждала она все эти годы, которому считала она себя отданной с юности и который остался жить. Могла ли сейчас она принять свое, личное, возвращенное ей кровью ушедшего человека? Вернуться в простую тишину своей жизни из этого большого простора, который озарился для нее — и для нее ли одной — памятью его гибели? Как у него нашлось спокойное мужество вернуть своей кровью к жизни человека, тоже знавшего волю и мужество, — так должна была она найти в себе волю отказаться от личного мира своей судьбы. Много раз она передумала это. Дни казались кратко отмеренным сроком для раздумий и горечи. Они продолжались в ночь. Скрипела осторожными половицами Лизавета, прислушиваясь, спит ли она. В ней был бабий верный инстинкт. Решая свою жизнь, Наташа знала, что решает не одну свою жизнь. Находя решения, она знала, что две жизни должны подчинить себя этим решениям. За эти дни настолько окреп Инжеватов, что могла она ему об этом сказать. И еще — другое, открывшееся ей в дни парижских блужданий и в ненастную бретонскую ночь: не только любовь отца, ее старшего спутника, но и иное, более глубокое чувство. Он никогда не сказал ей об этом. Она сама стремилась дать ему этот мир. С удвоенной силой она должна была принять теперь такое решение, как единственное возможное продолжение своей судьбы.

В эти дни сумрачный и нелюдимый пришел к ней доктор Егоров. Часто вечерами он приходил к Шологову, всегда он больше молчал, чем говорил, всегда чувствовала она в нем сосредоточенную человеческую нежность. Он пришел, сел в кресло и молчал. Зябкая в этой большой тишине опустевшей квартиры, Наташа кутала плечи в платок.

— Я по Алексею Михайловиче очень грущу, — сказал доктор Егоров вдруг, и черными своими, немного цыганскими, всегда тоскующими глазами он поглядел на нее. — Но, может быть, потому, что грущу, потому-то и еще больше знаю, что главное — делать дело, продолжать

жизнь... он своей смертью многому меня научил, да и меня ли одного...

Широко швырял ветер за окнами ноябрьские полотнища снега.

— Игнатий Сергеевич,—сказала Наташа вдруг,—смогу я продолжать работу в институте? Это для меня сейчас самое главное.

Егоров поглядел на нее и внезапно придвинулся. Большая кудлатая голова, немолодой умный лоб, цыганские человеческие глаза.

— Вы мне помогать будете, мне, если захотите, — сказал он с той же суровостью. — Я вас доведу, у меня опыт большой... я хирургом двадцать три года. Главное только—не уходите с этого пути... думается мне, и Алексей Михайлович того же хотел. Дел много, страна велика.

Она покачала головой.

— Я не уйду.

Она высвободила из-под платка свою руку и положила ее в две большие обросшие шерстью руки. Так, в этой тишине кабинета, еще недавно оберегавшего раздумья и ночные часы человека, именем которого они сейчас поручились друг другу, — вслух произнесла она то, что решила сама для себя.

Два дня спустя, впервые после этих недель, она пошла в институт; белый халат ожидал ее на стене на обычном месте. Она переоделась, поправила под косынкою волосы и спустилась вниз, в палаты, где лежали больные и где трудно и после больших осложнений, но все же возвращался к жизни Инжеватов.

### XXXIX

Все уходило и приходило вновь. Опять он видел лицо, о котором думал все годы. Спокойная рука близко от его щеки лежала на подушке. В эти трудные дни своего возвращения к жизни он вновь пережил для себя свою судьбу. Чужая кровь дала ему новую силу существования. Он вернулся к жизни; человек, давший ему свою кровь, ушел. Человек этот был отцом Дмитрия, отчимом Наташи. Человек этот был Алексей Михайлович Шологов, имя, которое привык он произносить, словно имя далекого друга... Мог ли он принять для себя все это, как спокойное продолжение жизни? И то, что он сам пережил в воспаленных видениях, прошло вновь перед ним. Он лежал, слушал, открывал глаза: чудесно, осязательно она приближалась к нему. Он закрывал глаза, она удалялась, как в миновавшие годы. Он снова смотрел на нее. Горестно глядели мимо него эти любимые, суженные в устьях, столько раз вызванные в памяти — глаза. Он сказал:

— Говорите, Наташа... я многое уже произнес сам для себя. То, о чем так жадно думал я эти годы — этому не быть... я знаю. — Рука ее попрежнему близко от его лица лежала на подушке. Он коснулся щекой руки. Так говорить было проще и легче. — Судьбе было угодно вернуть мне жизнь, — сказал он снова, закрывая глаза. Он продолжал уже с закрытыми глазами, она отдалялась, и только легкий холодок

ее руки напоминал о том, что она здесь. — Я возвратился к жизни и потерял вас... это я знаю. Вы сказали мне только то, о чем за все эти дни я сам передумал.

Она ответила не сразу:

— Вспомните, Демид Николаевич, ведь вы сами учили меня, сами писали мне в письмах, что надо иметь общую цель... разве вы не отказались от себя за все эти годы?

Он лежал, слушал. Трижды, четырежды он от себя отказался за эти годы! Она сказала еще:

— Алексей Михайлович тоже шел к своей цели... и меня он учил никогда не сворачивать. Скажите же мне сами, могу ли я тем большим, что особенно открылось мне в эти дни, воспользоваться для своей, только для своей жизни?

Он лежал навзничь, с закрытыми глазами. Близко, в нем был этот взволнованный срывающийся голос; он слушал его. Наконец, он сказал:

— Я все понимаю, Наташа... все мы искатели, каждый по-своему, очевидно. Я искал золотую жилу в земле, Алексей Михайлович вскрыл свою вену, чтобы дать мне кровь, когда я умирал. Этого не забывают. Если бы только я знал, что вы тоже найдете свою золотую жилу в жизни...

Он открыл глаза. Он видел теперь ее всю, от прядок волос, выбившихся из-под белой косынки, от пристального и обращенного в себя взгляда глаз, от розоватых кончиков ее пальцев, лежавших рядом с его щекой. Он поднял руку и взял эти пальцы в свои. Их легкая дрожь ответила на его пожатие. Глядя, не отрываясь, в эти глаза, он сказал с мучительной нежностью, с грустью прощания, которую так за эти годы узнал:

— Что же, надо жить... сильные ведут жизнь, Наташа. Я не отказываюсь от своих слов. Круговая порука строителей, это я знаю... Но если бы я умел вам сказать, как больно прощаться мне с вами!..

Он положил эту руку на свои глаза. Легкой сквозящей телесной своей розоватостью заслоняла она теперь от него этот по-зимнему белый и по-зимнему безжалостный мир. В этом мире он сам шел путем, который избрала она сейчас для себя. Безыменно и просто первым ступил на подпиленную площадку шахты Андрюша Рыбак. Спокойно отдал Шологов ему свою кровь, считая это делом своей жизни... Будничным подвигом каждого дня строилась страна. Во имя этой цели отказывалась Наташа сейчас от своего мира, от малого порядка своей судьбы. Мог ли это принять для себя он иначе? Большие ветры зимы носили снега и туманы. Наскоро одевалась земля, в одну ночь молодея, освежаясь горькою белизною снегов, заиндевевающим дыханием первопутка и младости встречая оранжевый морозный восход. Возвращаясь к жизни, он слышал эти ветра, видел снеговые утра, провожал красные закаты, подолгу двигавшие отраженный, полный розовой мути пере-

плет окна на стене. Эта вечная сила преодоления, сила, в которую он верил, которая вела его самого... Тысячами, все заслоняющими толпищами брели люди, для которых отмеренный угол своего бытия был основою жизни. Мир открывался для них из скудного окошка, завешанного просыхающим бельем. Труд был отмерен звоном будильника и часовой стрелкой служебных часов. Судьба страны укладывалась для них в шести страницах газеты, читаемой с конца. Одинокими путниками в просторах этого человеческого равнодушного скопища оставались первые искатели, первые строители жизни. Это был горестный путь одиночества, но по вырубленной ими просеке шли следом другие, и первый искательский путь становился обычной дорогой жизни. В эти дни своего возвращения усомнился ли он хотя на минуту в этом пути, мог ли с протестом и ужасом принять для себя то, что сказала ему Наташа сейчас? Он знал человеческие чувства; сила разочарований была не менее разительна, чем сила надежд. Для этого обычное человеческое сердце бодрствовало в нем, возвращенное к сторожевой своей неутомимости. Но он знал также в себе и крутую силу обуздания этих чувств. Заново перелистывая в эти дни полевую книжку своей жизни, он вновь перечел немногие и только начатые страницы. Голос, который он слушал с закрытыми глазами, вслух повторил для него только то, что сам он сказал для себя.

Минутами или часами отмерялось это свидание. Красный переплет окна двигался по стене, стал потухать; розоватая его муть перешла в синеву; потом стала меркнуть все больше и больше крестовина рамы. Он не отпуская руки, лежавшей в его руке. Прощаньем, горестью, нежностью во всем девическом своем целомудрии покоилась она, едва заметным дрожанием пальцев отвечая на его пожатия. Потом в стеклянном четырехугольнике над дверью зажегся свет; он смыл последние сумерки. Матовый высокий рожок под потолком тоже налился вдруг светом. Тогда он выпустил ее руку. Пришла сестра в золотом пенсне, разносившая в этот час по палатам термометры. Знакомый холодноватый стерженек привычно стал измерять жар человеческой крови. И то, что разделило с ним часы этих сумерек, отделилось высоким светом больничного рожка, деловыми буднями вечернего часа обхода, шарканьем туфель по линолеуму коридора, головами врачей, сиделок, сестер, для которых каждое человеческое существо в этих просторных палатах было лишь совокупностью недомоганий, температур, перенесенных или еще предстоящих операций... Он остался один, слушая уже истончившимся слухом больного этот вечерний приближающийся мир. Подушка еще хранила следы тепла покинувшей ее руки. И, как тогда, в шахте, ударившись о крепление штрека и падая как бы в могильную пустоту, испытал он великую истому жизни, так сейчас, лежа навзничь с закрытыми глазами, за которыми едва сквозил нетревожимый свет, ощутил он эту высокую и сладостную, и опустошительную силу...

Он долго возвращал себя к обычному миру, представшему перед ним в этот час. Маленький черноватый доктор Каплан, та же сестра в золотом пенсне, роняющим движением стряхивающая термометр, сиделка с бледным безразличным лицом; освежающая пол мокрой тряпкой — всё, как обычно за весь этот месяц его пребывания здесь. Сиделка вытерла пол и ушла, сестра отметила черточку температуры на разграфленном листке кривой и понесла термометр к следующему, доктор Каплан делал на столе у окна пометку на скорбном листе его болезни. Инжеватов ждал, когда он кончит. Медленные, в докторском прищуре из-под очков, глаза оглядели его. Он выждал, пока тот кончил осмотр, и спросил у него:

— Доктор, скоро я встану?

Небрежная, привыкшая к успокоительному похлопыванию рука с сожженными иодом концами пальцев похлопала и его по плечу. Безразличный докторский басок сопутствовал обычному этому похлопыванию:

— А вам не терпится, батенька? Полежать еще надо... вон у вас нефрит еще держится.

Тогда Инжеватов поглядел в упор в эти увертливые, никогда не открывающиеся больным в своей истинности глаза.

— Скажите мне, доктор, очень прошу вас... смогу ли я этой зимой вернуться к работе?

— А почему бы и нет, — сказал доктор Каплан и задержался на миг, — для этого мы вас и чинили... с малярией только придется вам повозиться, хину пить, да поотлежаться немного.

И мелкими шажками покатился он дальше в обход. Дверь осталась открытой. В холщевых халатах проползали по временам коридором выздоравливающие. Кривая температуры снижалась, исчезали постепенно последние следы осложнений, он выздоравливал. И, слушая человеческие голоса, видя этих проползающих мимо него, возвращенных операциями к жизни людей, впервые за все эти дни почувствовал Инжеватов старый, привычный ветер жизни. Надо было жить несмотря ни на что, находить новое мужество, которое утратил он в эти дни и которое сызнова обещал он искать единственным и любимым глазам, во имя этого же мужества простившимся с ним. Последним синеватым свечением отмирали за окном сумерки. И больничный вечер желтыми огнями и безмолвием человеческих страданий равнодушно отодвинул этот прожитый день.

## XI

Есть такие зимние московские дни: западный ветер широко несет близкую оттепель, а снег валит и валит с утра, чтобы к лиловато нависшей ночи предстать городу, грузному от снега и тишины, во вдовьем своем очаровании. Необыкновенная тишина в этот час была на бульварах. Отягощенные снегом, низко обвисали деревья, хлопьями стряхи-

вая свой зимний яблоневый цвет. Инжеватов садился на скамейки бульваров, тогда вороньё, встревоженное его вторжением, сваливало на плечи ему талые глубины снега, как сланцевые пласты. Он отдыхал и шел дальше. Луны часов на площадях прилежно отмеряли четвертями этот его неторопливый путь. Алонзов жил в тех же номерах у Сретенских ворот, куда привез он его в первый день их приезда. Два месяца московского бытия легли переделом жизни с того уже далекого дня. На перекрестках, преграждаемая путями трамваев, отягощенная электричеством улиц, копнами вечерних торопящихся толп, оживала эта тихая Москва, дремлющая оттепельными снами на бульварах. Так он дошел в восьмом часу до Сретенских ворот. Человеческие рыжеющие дорожки были протоптаны дугами по скверику, разбитому на месте снесенного дома. Швейцар мебелишек привычно оглядел его подозрительным глазом из комнатешки, срезанной наискось лестницей. Алонзов уезжал в этот вечер. В прокуренном трубочкой номере все было в путевом беспорядке сорвавшейся после двухмесячного пребывания жизни. Разорваны ненужные бумаги, набросаны старые газеты, опустошены коробки из-под табака, вещи не умещались, как обычно при отъезде. Красный, запотевший давил Алонзов коленкой чемодан, словно попирает врага.

— Вот дьявол, не сходится, — сказал он неистово и дальше стал давить чемодан. Ремни пролезли в петли, сошлись.

Потный и довольный, он остался сидеть на чемодане. Его лицо, измятое лютостью, обретало опять мясовитое невозмутимое свое спокойствие.

— Всегда не сходится, когда нужно ехать, — сказал он примиренно и стал закуривать трубочку.

Инжеватов сел на диван, на тот же самый диван, на котором уснул он в первый день приезда в Москву, когда Наташа вместе с Алонзовым пришла в этот номер. Все это было далеко теперь, другая жизнь. Трубочка Алонзова примирительно сипела.

— Я был в управлении, недели через две могу сняться, — сказал Инжеватов.

Алонзов возликовал:

— Вот и чудесно... По Витиму, по Ваге покатым, красота! Морозу скоро навалит, всю эту вашу хворобу снесет. А пространства, пространства какие! От Ледовитого океана до Амура... всю Якутскую область охватим. Из Бодайбо на перекладных по-старинному двинемся... здесь золотоискателю простор, дел можно за год наворочать, беда! — Трубочка его пускала дым победоносно. — Я ведь на этой системе копал, на прииске Пророко-Ильинском золото брал. Хищники, копачи там прежде ворочали... От Ваги на притоки свернем — на Угахан, Нундрамич, Атыркан-Берикан. Золотишком богата Сибирь, Инжеватов! Организовывать надо, заново разведками проходить, вторую Калифорнию государству подарим. А годика через два на Забайкалье двинем, на Зею, на Шилку, там тундру вручную снимают... ни экскава-



торов, ни скреперов, ни паровых лопат, руками старатель берет. Все это оборудовать надо... на десять лет труда хватит.

— Так вы в Бодайбо меня ждите, — сказал Инжеватов. — Смотрите же, без меня не снимайтесь...

Алонзов вдруг завопил:

— Куда же я денусь без вас... мое дело штейгерское, на вас управление надежды имеет. А я ведь не думал, по совести, — добавил он вдруг, — что вы на Олёкму свернете...

— Нет, я всерьез, — сказал Инжеватов, — года на три, на четыре, не меньше.

— Там делов хватит... золото держать человека умеет.

Алонзов поднялся с чемодана и начал дальше свертывать вещи, рвать бумаги, отбрасывать ненужные газеты. В далекое странствие собирался человек. Инжеватов сидел на диване, смотрел на его суету. Дорожным беспокойством полон был этот покидаемый и необжитый двухмесячным пребыванием номер. Этот же дальний путь на Олёкму, на золото он решил для себя. Новой Калифорнией должна возникнуть для страны золотоносная система далеких рек, необозримой пустыни, еще не подчиненной человеческой воле. Тысячами проходили и гибли старатели здесь; летом по левому берегу Ваги единственная шла искательская тропа; зимою — тайгой, Мачинским трактом по руслу обледеневшей реки. Выморозкой брали старатели золото. Решая для себя свою дальнейшую жизнь, он думал об Олёкме, о Забайкалье, о Дальнем Востоке. Великий искательский путь, от Ледовитого океана и до Амура, вечная мерзлота земли, последняя глушь, дремлющее в земле, ждущее своего добычливого покорителя — золото. В эти дни, думая об Олёкме, глядя на Алонзова, ушедшего в плаванье, как мореход, как бы пропахшего уже искательской горячкой, Инжеватов решал судьбу своих ближайших лет. Жизнь продолжилась для него и продолжалась. Нужно было сызнова делать свой труд. В этот раз он хотел пройти руслами рек, следами старых хищничеств, первобытного труда копачей, впервые организуя широкие разведки, усовершенствованные приемы добычи, обогащая спящий скованный край. Золотничники—рабочие артели, сдававшие всю добычу хозяину, старатели, — все знали горький урок добычи и жизни здесь. Просматривая карты и планы, которые увозил Алонзов с собой, Инжеватов находил в них нескрытую силу обогащения, великие обещанья стране. В управлении, куда он пришел, ему предложили назначение по его выбору. Он выбрал Олёкму. Так сызнова — угрюмая в этом предстоящем, поборовшем не одного человека пути — открылась ему перевернутая страница. В этот вечер он прощался с Алонзовым, чтобы встретиться с ним в Бодайбо через месяц. Чемоданы, наконец, были увязаны. Потный, довольный, обсыпанный пеплом своей трубочки, Алонзов сел рядом с ним.

— Боюсь я только, как бы вы не переменяли решения, — сказал он вдруг, — путь не легкий, предупреждаю... золото голыми руками

там не возьмешь. По Мачинскому тракту старательских могил не считаешь.

— Я знаю, — сказал Инжеватов, — я не на легкий труд себя готовлю...

— Удивительно все же, — расковыривая свою догоревшую трубочку и вытряхивая золу, сказал Алонзов еще, — раньше для себя бились копачи... теперь на общее дело идет человек, а ведь горячки не меньше. Вот они, искатели, первая сила... страну им вывозить.

— А вы не искатель разве, Алонзов? — спросил Инжеватов и взял его за руку.

Добрые, чуть воловьи глаза поглядели смущенно.

— Ну, я... мое дело маленькое... а в общем — конечно!

И он улыбнулся своей конфузливой, большою улыбкой и даже запотел. Полчаса спустя, загруженные чемоданами, свертками, как некое странное сооружение, они двинулись на московском извозчике на вокзал. Тяжело выгребала лошадь ноги из большого, еще неезженного снега. Проходили белые сквозные коридоры бульваров, Мясницкая, в этом снежном оттепельном тумане завешанная, как по ниточке, красными огнями невидимых вагонов трамвая, спуск вниз по Каланчевской, под мостами Окружной дороги, и светящаяся часами трех вокзалов Каланчевская площадь, над которой виднее всех в этом инее голубели освещенные астрономические часы — Лев, Скорпион, Зодиак — Казанского большого вокзала. Извозчик завершил обязательный извозчичий свой полукруг, и самоеды на стенах пространственного вокзального зала угрюмым Севером означили путь к Ледовитому океану — в Архангельск, в Сибирь — на Дальний Восток. Опять с перрона знакомо дуло ветрами просторов. Далекie огоньки сигнальных алебард, красных и зеленых приземленных знаков, указывали поездам стрелками и скрещеннями рельсов выход на главный путь. С белыми дощечками на вагонах «Москва—Манчжурия» — к великой границе Китая, сумрачный и серьезный, как все поезда, отправляющиеся в далекое странствие, стоял поезд у московского, сиренево освещенного перрона. Большой город оставался по ту сторону вокзала. Большая дорога шла на Сибирь. Мало уезжало людей, мало было провожающих. Верхние полки в вагонах были уже подняты. По-зимнему обвисая дымом, застилал паровоз волнистую изогнутую крышу вокзала.

— Ну, так, значит, до встречи в Бодайбо? — сказал Алонзов. — Смотрите же, не раздумайте.

— Я не раздумаю, — ответил Инжеватов, — все это, мой друг, решено.

Они обнялись. Алонзов стал на площадку вагона, огромный, в дохе, в меховой шапке, как печенег. Длительный, как бы подстегивающий застоявшийся паровоз свист отсчитал эту последнюю минуту. Поезд двинулся. Инжеватов пошел вслед. Алонзов стоял на площадке, внизу на ступеньку стал проводник с фонарем.

— Так в конце месяца жду...

Инжеватов кивнул головой, отставая.

— А золотишко мы большое добудем, верю! — крикнул Алонзов еще, перегибаясь с площадки вниз.

Шли и шли мимо вагоны. В освещенных окнах Инжеватов видел людей, уходивших в таежную эту и глухую дорогу. Далеким, не пройденным до конца человеком лежал путь на Сибирь, к пределу Европы и Азии, к Ледовитому и Тихому океанам. Последний вагон уносило с одиноким воспаленным огнем. Он все стоял и смотрел в полную инея и как бы арктическую тьму, предназначенную преодолением жизни для каждого искателя на этой великой и золотоносящей земле.

Август.1928.

Москва—Урал—Прозоровская.

# Песня

ИЛЬЯ САДОФЬЕВ

Товарищ-друг, не во-время  
Ты мякотью оброс —  
На молодость года гремят,  
На выправку, на рост.

Гремит крутое правило,  
А ну-ка, привыкай —  
Своей судьбой бы правила  
Рабочая рука!

И там, где кони топали,  
И грелись у костров, —  
Серебряные тополи  
Выравнивают строй...

По грохоту, по топоту,  
По звону голосов —  
Проверенное опытом  
Событий колесо.

На выучку разворачивать  
И силы не жалеи!  
А ты колодой чортовой  
Уже отяжелел...

И если не с китайцами  
На уличных боях, —  
Так где ж теперь скитается  
Романтика твоя?!

Сознайся же, не во-время  
Ты мякотью оброс —  
На молодость года гремят,  
На выправку, на рост.



# К V Съезду Советов СССР

М. И. КАЛИНИН

Избирательная кампания подходит к концу. Ее завершением в РСФСР будет Всероссийский Съезд Советов—10 мая, а в союзном масштабе — V Съезд Советов Союза—16 мая, на котором будет подведен итог работы, проделанной в Союзе за последние два года.

Порядок дня V Съезда Советов Союза ССР: доклад правительства; перспективный план развития хозяйства в Союзе в предстоящие пять лет; подъем сельского хозяйства и кооперативного строительства в деревне; отчетный доклад военмора; сообщения о принятых Съездами Советов РСФСР и УССР их конституций; выборы ЦИК Союза ССР.

Доклад правительства является традиционным пунктом всех съездов. Будущий историк будет черпать из них, как из огромного источника, материалы для изучения развивающейся жизни, культурного подъема и роста материальных средств первой Советской Социалистической Республики. На первых Съездах Советов доклады правительства являлись своеобразным методом постановки новых проблем или особо выделяющихся практических задач короткого отрезка времени, к которым докладчик, в лице Ленина, привлекал внимание трудовых масс Союза и партии. В каждом докладе Ленина на Съезде Советов выделялся, выпячивался отдельный вопрос, делавшийся тем гвоздем доклада, которому докладчик уделял особое внимание, возвращаясь к нему несколько раз, освещая его с различных сторон.

Трудно сказать, какая бы форма докладов была у Ленина в настоящее время. Что касается того периода, то это была единственно приемлемая форма докладов, ибо вся обстановка требовала концентрированного внимания на решении или преодолении той или иной очередной задачи момента. От правильности этого решения в значительной степени зависело бытие Советской Республики. Достаточно напомнить такие вопросы, как заключение мира с Германией или переход к нэпу. Ленин добивался, чтобы принятое постановление, или способ, к которому прибегает правительство и партия, был воспринят массой как наиболее верный и практичный.

После смерти Ленина доклады правительства приняли иную форму, потому что сама деятельность правительства стала более сложной, а задачи, встающие перед нами, требуют длительного решения. Съезды стали более редкими — раз в два года. Количество выполненных между съездами работ значительно увеличилось, и ее удельный вес из года в год все растет, в связи с чем отчетная часть докладов приобретает все большее значение. Если это можно сказать о прошлых съездах, то тем более это относится к предстоящему V Съезду Советов Союза.

За истекшие два года после IV Съезда Советов во всех областях социалистического строительства заметны значительные успехи, не исключая международной политики. Между прочим, довольно ярким показателем успехов в

области международной политики слухит хотя бы приезд английской торгово-промышленной делегации в СССР. Ведь еще так недавно английская буржуазия, в лице своего консервативного правительства, мечтала поставить Советский Союз на колени. Прошло после этого около двух лет, и в результате английской делегации промышленников и торговцев приехала в Москву, стремясь наладить контакт между английской промышленностью и советским рынком. Теперь уже для широких кругов делового мира Англии ясно, что разрыв дипломатических отношений между Англией и Союзом основательно ударил по интересам английской промышленности. Данный факт является лучшим доказательством все увеличивающегося значения Советского Союза на международном рынке и роста нашего политического влияния, которое, между прочим, может быть еще подкреплено фактом Московского пакта.

В области экономического строительства за два года ряд количественных успехов уже перешел в качество. В предыдущие годы шло, главным образом, проектирование, начало работ новых предприятий, восстановление старых и очень небольшое количество, буквально единицы, из новых предприятий вступали в предназначенную работу. Сейчас значительное число фабрик, заводов, электростанций не только вступили на работу, а уже и пережили детские болезни приспособления. Достаточно напомнить такие сооружения, как Волховская электростанция, Земоавчальская, Шатурка, Кашира, Нижегородская, Сельстрой, Нижегородская бумажная, ряд химических заводов, элеваторов, полная реконструкция нефтепромыслов в Баку и Грозном — всего не перечислишь.

Громадное жилищное строительство измеряется тысячами больших каменных домов. В целом ряде городов сделаны значительные успехи по коммунальным работам, главным образом, в рабочих кварталах. Конечно, это капля в море жилой потребности, и с внешней стороны кажется, что чем больше делает размах промышленность, тем больше растут нехватки массового по-

требления и культурных потребностей. И это естественно: с одной стороны, гигантски растут потребности масс, с другой — развивающаяся индустрия предъявляет во все увеличивающемся размере спрос на сырье, полуфабрикаты и квалифицированную рабочую силу.

Трудно учесть рост культуры, но достаточно напомнить, что один ВСНХ Союза имеет тридцать шесть исследовательских институтов. А сколько создано новых институтов, школ, вузов, клубов и т. д.?—Очень много, а все же этого слишком мало сравнительно с нашими потребностями. Да и вообще рост культуры, не подкрепленный ростом материальных средств, может быть только тепличной культурой в тонкой прослойке населения. Вот почему стремительный темп строительства по существу и есть рост культуры, ибо он требует соответствующего роста не только квалифицированного труда, а и накопления знающих специалистов, высокоодаренных организаторов и планировщиков развивающегося социалистического хозяйства. Между прочим, вероятно, в докладе правительства будет предложение о проведении страхования неимущих в деревне от старости, что является результатом увеличения материальной мощи и, вместе с тем, культурнейшей мерой в деревне.

Вопросы пятилетнего плана развития народного хозяйства по отзыву не только работников Госплана, но и вообще людей, внимательно изучающих пятилетку, очень серьезно проработаны. Это уже не общие перспективы, а серьезно обоснованный план, который имеет материальные обоснования, и будет претворен в действительность, будет выполнен практически. Здесь в выработку практического плана хозяйственной деятельности Союза и есть принципиальная разница хозяйства социалистического от капиталистического. В капиталистическом хозяйстве его развитие идет стихийно, усилиями отдельных лиц, стремящихся не к развитию хозяйства в целом, а к собственной прибыли. Там миллионы планов независимых, — разумеется, относительно независимых, — и лишь рынок, свободная конкуренция потом

определяет — какие из них останутся жизненными, т. е. принесут прибыль своему владельцу, а какие погибнут в конкурентной борьбе. В социалистическом хозяйстве, наоборот, на учете каждая производственная единица: она по плану должна выполнять предназначенную в общем хозяйстве роль.

В сущности, мы, увлеченные непосредственно практическими вопросами дня, редко продумываем или вернее используем в пропаганде и агитации пятилетку, как стремление хозяйствовать социалистически, как первые, пионерские попытки построить социалистическое хозяйство в стране. Враги так прямо говорят, что это большевистская демагогия, в лучшем случае — утопия. Слишком скептические друзья вторят: планы не плохие, но планы есть только планы, ценность имеет лишь реальная действительность. Наконец, мы и сами часто недоцениваем роль и значение планирования, думая, что надо, не покладая рук, исполнять стоящие на очереди работы. Дело, дескать, не столько в планах, сколько в практической работе. И большого труда стоит заставить работать активного работника в плановых органах.

На самом же деле, как я уже сказал, планирование имеет исключительное значение в построении социализма. Если прежде, еще на заре сознательной, исторической жизни народов планы идеального государства являлись стимулом пытливости человечества, желающего построить такое общество, которое бы удовлетворяло культурные потребности большинства населения, то с ростом общечеловечности, культуры и материальных средств расширялись и пределы утопии. Вряд ли кто будет отрицать их воспитательное значение. Разница между утопией и нашим планом та, что утопия исходит из субъективно желаемого государства, а план — из объективно существующей материальной и социальной ситуации. Между планом и утопией такое же принципиальное различие, как между научным и утопическим социализмом. Первый исходит из объективно данных исторических предпосылок, развивающихся средств производства и классов-

вой борьбы, второй — из идеальных побуждений, общей справедливости.

Наши плановые разработки дают проект на пятилетний срок практической работы по строительству социалистического общества. Пятилетний срок в историческом разрезе, — срок очень незначительный и в будущем, когда плановая работа подвинется значительно вперед, вероятно, срок задания удлинится, ибо сами сооружения примут более грандиозный масштаб. Да и изучение конкретной обстановки, учет наличных средств, маневрирование ими, — все это даст возможность строить не перспективные планы, заметки, а строго проработанные проекты, которые подлежат выполнению.

С внешней стороны кажется, что пятилетка — это чисто кабинетная работа; по существу же — это громадная работа по изучению народного хозяйства. Только тогда и можно составлять план предстоящих работ, когда точно выяснено, какими ресурсами будут располагать строители. А выяснение ресурсов в таком громадном государстве, как наш Союз, где насчитывается 25 миллионов мелких крестьянских индивидуальных хозяйств, представляет исключительные трудности. Составить план развития промышленности сравнительно легко, а вот учесть доходы крестьянства, кустарных промыслов, учесть темп их развития и накопления, учесть развитие торговой сети кооперации, развитие местной промышленности и, наконец, культурный рост всего населения, который должен дать соответствующий эффект в стоительстве, — все это такие проблемы, из которых каждая в отдельности требует глубокого изучения. Вот почему составление пятилетнего плана развития хозяйства и его представление на рассмотрение V Съезда Советов есть значительный шаг по пути социалистического строительства.

Я не ставлю себе целью излагать пятилетку — это дело людей, посвятивших себя всецело этой работе. Я не решаюсь приводить из нее те или иные цифры, ибо надо привести решающие, наиболее важные. Но я просто теряюсь, не решаюсь самостоятельно определить, какие из них являются решающи-

ми, наиболее важными. Например, капитальные вложения в основные фонды равняются за прошлое пятилетие 25,1 миллиардов, а в предстоящем пятилетии по отправному варианту — 56,7 миллиардов руб., оптимальному — 63,8 миллиардов рублей. Это — огромные цифры, свидетельствующие о грандиозных масштабах строительства. Из приведенных цифр видно, что пятилетка состоит из двух вариантов. Правительство, вероятно, изберет из них один и, надо предполагать, — более осторожный.

Составители пятилетки следующим образом обосновывают принцип составления плана в двух вариантах и различие между ними:

«Госплан исходит из необходимости составления пятилетнего народно-хозяйственного плана в двух вариантах. При анализе вопроса о вариантах нужно прежде всего со всей категоричностью подчеркнуть единство экономического курса и экономической программы в обоих вариантах. Задачи индустриализации и обобществления являются определяющими в обоих вариантах. Строительство обобщественного сектора в сельском хозяйстве намечено почти в одинаковых масштабах для обоих вариантов с максимально доступным для ближайшего пятилетия форсированием этого дела в виду его особого значения. Распределение народного дохода вообще и, в частности, движение доли пролетариата в сумме доходов населения принципиально идет по общим линиям в обоих вариантах. Наконец, программа работ по усилению обороноспособности страны является почти тождественной для обоих вариантов.

Различие между отправным и оптимальным вариантами, при единстве их экономического курса, идет по следующим линиям. Отправной вариант учитывает:

а) возможность частичного неурожая в течение пятилетия;

б) примерно, нынешний тип отношений с мировым хозяйством (в особенности в смысле прироста долгосрочных кредитов, увеличение которых за-

проектировано в темпе, характерном для последних лет);

в) относительно менее быстрый (по времени) ход реализации высоких качественных установок в народно-хозяйственном строительстве вообще и в сельском хозяйстве в особенности;

г) при условии примерно тождественной оборонной программы в обоих вариантах, ее большую относительную тяжесть для отправного варианта.

Напротив, оптимальный вариант исходит из:

а) отсутствия в течение пятилетия сколько-нибудь серьезного неурожая;

б) значительно более широкого размаха экономических связей с мировым хозяйством как в силу наличия больших экспортных ресурсов в стране (полное осуществление декрета ЦИК'а об урожайности), так и, в особенности, в силу значительно более быстрого роста иностранных долгосрочных кредитов в начальные годы пятилетки;

в) резкого сдвига в качественных показателях в народно-хозяйственном строительстве в ближайшие два года (себестоимость, урожайность и т. д.).

Итак, Съезд Советов обсудит первый пятилетний план хозяйственного строительства Союза. После его утверждения, настоящим планом будет руководствоваться правительство в своей практической работе, и перед широкими массами рабочих и крестьян, партией, профессиональными союзами, советской общественностью стоит задача безусловного его выполнения. Главное, чтобы трудящиеся массы глубоко осознали, что именно в выполнении настоящего плана заключается сущность социалистического строительства, именно в выполнении плана заключается претворение в реальную действительность лучшей, еще никем не написанной «утопии» будущего социалистического общества. А наших молодых ученых призовем к благородной работе по популяризации пятилетки, к пропаганде, к агитации на основах пятилетки за победу коммунизма.

Следующим пунктом в повестке дня Съезда стоит вопрос о подъеме сельского хозяйства и кооперативном строительстве в деревне.



Подъем сельского хозяйства стал важнейшей задачей дня. То положение, что выдача черного хлеба происходит по карточкам, явно нетерпимо. У нас нехватает не только хлеба. Гигантское развитие промышленности начинается в целом ряде производств ощущать недостаток в сельскохозяйственном сырье. Сейчас не место рисовать картины нехватки сельскохозяйственных продуктов, это уже более или менее выяснено. Важно сейчас направить все усилия к изживанию этого состояния. И вот Съезд Советов, кроме мер, уже принятых последней сессией, даст руководящие указания правительству по подъему сельского хозяйства.

Неспроста пункт о подъеме сельского хозяйства связан с кооперативным строительством в деревне. Именно выросшая потребность в сельскохозяйственных продуктах, — как для питания населения, так и для удовлетворения потребностей промышленности в сырье, — повелительно требует такого количества сельскохозяйственных продуктов, какое мелкое крестьянское хозяйство, как хозяйство индивидуальное и дробное, произвести не может. В самом деле, насколько долго может существовать положение, когда, с одной стороны, в области промышленности создаются такие гиганты, как Днепровский комбинат, проектируется завод с производством ста тысяч машин в год, Сталинградский тракторный завод с производством сорока тысяч тракторов, Ростовский комбинат с производством сельскохозяйственных прицепных орудий на десятки миллионов рублей в год, а с другой, — мелкое крестьянское примитивное хозяйство, которое еле-еле кормит своих производителей? Ясно, что при таком положении должен остро, повелительно встать практический вопрос о реконструкции сельского хозяйства.

Выросшие потребности города и деревни, развивающаяся промышленность предъявляют такие требования к сельскому хозяйству, каких в данных условиях оно удовлетворить не может, поскольку оно мелкое. Естественно, встает вопрос об его укрупнении. Ибо только крупное хозяйство может применить тракторную вспашку, только

крупное хозяйство может содержать наиболее продуктивный скот, только крупное хозяйство может в полной мере применить удобрение, только в крупном хозяйстве могут быть применены последние достижения науки и техники, и только в нем могут с полной рациональной нагрузкой содержать опытных специалистов. Наконец, оно даст наибольшую с единицы площади товарность.

Но укрупнение сельского хозяйства в нашей стране, где 25 миллионов мелких крестьянских хозяйств, представляет громадные организационно-хозяйственные и политические трудности. В капиталистических странах просто идет непрерывное вытеснение беднейших хозяйств и постепенное округление и укрупнение более зажиточной, кулаческой, даже крупно-капиталистической части, как в Америке. У нас задача более сложная — укрупнить так, чтобы основная масса крестьянства осталась на земле. И вот здесь-то выступает необходимость кооперативного строительства, которое должно найти такие формы, которые бы решили удовлетворительно, с одной стороны, укрупнение хозяйства, с другой — чтобы это укрупнение было приемлемо для самих крестьян.

Не входя в анализ этого сложнейшего вопроса, я должен при этом предупредить, что кооперирование сельского хозяйства не снимает задачи подъема индивидуального крестьянского хозяйства. Наоборот, именно кооперирование должно способствовать подъему крестьянского индивидуального хозяйства. Представим себе кооперирование какой-либо части производства, ну, хотя бы вспашку земли трактором, или уборку хлеба большой уборочной машиной, или засев полей определенными стандартными семенами, или общую контрактацию и т. д. Все это различные формы простейшего кооперирования, каждая из них несет некоторое улучшение хозяйства не только в целом, но и отдельного двора. Вот почему кооперирование нельзя противопоставлять задаче подъема трудового

индивидуального хозяйства. Оно разрушает основу лишь капиталистических слов деревни.

Все эти вопросы, связанные с развитием деревни, с подъемом сельского хозяйства и строительством кооперации на селе, подвергнутся авторитетному обсуждению на V Съезде Советов Союза. Мне кажется, нет оснований сомневаться, что Съезд укажет правильный путь, по которому должен пойти подъем сельского хозяйства.

Не останавливаясь на выборах ЦИК, которые сами собой имеют громадное политическое значение, я бы обратил внимание читателей на сообщение двух самых больших республик Союза — РСФСР и УССР — о принятых ими конституциях. Я не думаю, чтобы по этим сообщениям разгорелись прения, несмотря на всю важность и политическую значимость этих государственных документов. Дело в том, что основы советской конституции являются уже настолько общепризнанными, что не вызывают каких-либо сомнений, и все конституции советских республик целиком базируются на этих

основах. Между прочим, мне кажется, что сейчас, когда внимание широких масс населения будет приковано к вопросам, стоящим на повестке дня Съезда, нашим советским законооведам следовало бы заняться популяризацией конституций как Союза, так и республик.

В заключение мне хочется выразить горячую симпатию к нашей Красной армии и флоту. Отчетный доклад наркомвоенмора и предреввоенсовета, выслушивавшийся почти на всех последних Съездах Советов, стоит в повестке дня и настоящего Съезда. Наша Красная армия является органической составной частью творческих сил Союза.

Рабочие и крестьяне, сыны которых и составляют армию, постоянно при каждом удобном случае проявляют свои симпатии к Красной армии, интересуются ее внутренним состоянием и с глубоким вниманием следят за развитием ее военной мощи.

Доклад на Съезде есть праздник смычки, непосредственной встречи рабочего класса, крестьянства с армией.

# Из воспоминаний о советской власти в Венгрии

БЕЛА САНТО

21 марта 1929 г. исполнилось десять лет с того памятного дня, когда в Венгрии была водворена советская власть. Это не было случайностью, что венгерская революция привела к диктатуре пролетариата и что советский строй сумел продержаться в Венгрии 4½ месяца. Тому причиной не только исход мировой войны и тяжелое внутреннее и международное положение, в которое оказалось ввергнутым государство. Разумеется, все эти явления содействовали мартовским событиям, служили им объективными предпосылками. Но осуществлено было это великое дело революционной партией венгерского пролетариата—коммунистической партией Венгрии.

Уже вскоре после своего основания коммунистическая партия Венгрии превратилась в массовую партию. Ее исполинская активность, ясность ее лозунгов, усиленно проводившаяся ею агитация и пропаганда с поражающей внезапностью всколыхнули рабочие массы и сплотили их вокруг партии. Партия быстро становилась политическим фактором, революционным вождем венгерского пролетариата. Коммунистический Интернационал во время второго всемирного конгресса сделал свои выводы из уроков венгерской революции; и эти выводы стали общим достоянием всех секций Коминтерна и всего международного революционного движения. Однако, история этой ре-

волюции, — как и ее признанного вождя, компартии Венгрии, — еще не написана и тем самым еще не вошла в инвентарь международной революционной мысли.

Коммунисты на улицах Будапешта. Вскоре после своего основания в ноябре 1918 г. коммунистическая партия обрела в широких массах огромную популярность. Ее центральный орган «Vörös Újság» («Красная Газета»), ее брошюры и листовки сделались любимейшим чтением рабочего класса. Чем энергичнее социал-демократы сражались с коммунистами, тем популярнее становилась партия. Молодое республиканское государство хромало на обе ноги, и соглашатели выбивались из сил, стремясь примирить республику с ее правительством. Но компартия с такой силой направила свой огонь против властей и их приспешницы — социал-демократии, — что широкие рабочие массы вскоре стали отвечать на агитацию последней только смехом. Везде, где тому способствовал случай, появлялись коммунисты для распространения партийной литературы или же для устного обращения к массам. Неутомимая подвижность и изобретательность наших товарищей превозмогала все препятствия, беспрестанно прибегая все к новым и новым агитационным методам. Одним из таких методов была агитация на людных пунктах главных улиц столицы,

проводившаяся двумя партийными товарищами по особой инструкции секретариата партии. Затевалась массовая дискуссия о внутреннем и внешнем положении страны, о путях революции, о русской революции, о происках контрреволюционеров, о государстве и других тому подобных проблемах; и все эти дискуссии в конечном счете сводились к обсуждению вопроса о захвате власти и диктатуре пролетариата.

Обычно два товарища «случайно» встречались на заранее намеченном месте и начинали спорить. Один ратовал за коммунистическую, другой за социал-демократическую точку зрения. Важно было, чтобы товарищ, «защищавший» платформу социал-демократов, делал свое дело добросовестно и не давал заметить, что он только подставное лицо. Скоро они спорили уже не одни. Быстро образовывалось вокруг них кольцо из прохожих, главным образом, — пролетариев. Последние недолго оставались безучастными слушателями. Прислушиваясь к разговору, они начинали вставлять свои реплики. По истечении получаса уже нужно было создавать трибуну, на которую подымались оба оратора. Спор «двух политических противников» превращался в людный митинг, на котором коммунист всегда торжествовал победу над «социал-демократом».

В то мятежное время полиция была бессильна противодействовать этим людным сборищам. Беспрепятственная свобода собраний была одним из завоеваний недавней революции, и КПВ пользовалась ею с избытком. Однако, от этого метода агитации нам все же пришлось отказаться, т. к. рабочие неоднократно проявляли к товарищу, изображавшему социал-демократа, такую враждебность, что ему приходилось спешно утекать, чтобы избежать избиения.

Арест ЦК коммунистической партии Венгрии. В феврале 1919 года прибой коммунистического движения вздымал уже огромные волны. КПВ уже начала оказывать решающее влияние на широкие массы городского и сельского населения страны. Социал-демократия чувствовала

все с большей очевидностью, как под нею колеблется почва.

Толпы безработных, демобилизованные солдаты становились угрожающей опасностью для правительства и его руководящей партии — социал-демократов. Они ставили правительству требования, которые оно не в силах было исполнить, и были озлоблены на социалистов, поддерживающих «гнусную кампанию против безработных». 20 февраля состоялось массовое собрание в самом емком зале Будапешта. Основной доклад делал товарищ Бела Ваго, член ЦК КПВ. Собрание безработных протекало необыкновенно бурно. По окончании его присутствующие двинулись большими колоннами к секретариату КПВ. Здесь произносились с балкона приветственные речи. Отсюда же направилась одна колонна по направлению к редакции «Népszava», центральному органу социал-демократии, для враждебной против нее демонстрации.

Я тогда как раз говорил по телефону с центральным комитетом социал-демократической партии, которому я должен был передать содержание телеграммы, полученной нами от русского-советского правительства. В ней говорилось, что власти советской страны не будут препятствовать в'езду комиссии, избранной на интернациональном съезде социал-демократов в Берлине, для обследования молодого пролетарского государства, «не будут препятствовать, — гласил текст телеграммы, — как всякой гражданской партии, каковой является и делегация социал-демократов». Дело в том, что социал-демократическая партия официально обратилась к нам с просьбой исходатайствовать у советского правительства требующуюся визу на в'езд. Но только я приступил к беседе с одним из секретарей социал-демократической партии, как вдруг мой собеседник прервал разговор, сообщив мне в совершенном смятении о том, что произведенном коммунистами вооруженном нападении на здание редакции. Во время этого нападения было убито 7 человек (полицейских) и многие ранены.

Мы были чрезвычайно изумлены этим сообщением, т. к. колонна безра-

ботных, которая отправилась к редакции «Népszava» никак еще не могла достигнуть здания, а о другой демонстрации нам ничего не было известно. Скоро мы, однако, узнали, что это нападение было произведено толпой демобилизованных солдат, затронутых пропагандой анархистов. Социал-демократия решила воспользоваться этим случаем, чтобы побудить правительство к применению самых энергичных мер против КПВ. Спекулируя на настроениях масс, социал-демократы приписали это «убийство», эту «братоубийственную войну» нам, коммунистам. Поздним вечером мы узнали от газетных корреспондентов об решении кабинета министров арестовать всех членов ЦК и нескольких других видных партийных деятелей. Немедленно же был созван Центральный Комитет. Положение нам представлялось таковым: если бы мы уклонились от ареста, клевета, направленная против нас социал-демократами, могла бы найти благодатную почву, и тогда, хотя бы временно, перемена настроения среди рабочих в пользу социал-демократии была бы вполне возможна. Поэтому ЦК постановил не избегать ареста, предварительно озаботившись, чтобы руководство партией не прерывалось ни на минуту.

Всю ночь готовилась полиция и агенты сыска к предстоящей работе. Полицейские автомобили спешно сновали по городу; в каждом из них находилось 4 вооруженных полицейских и один сыщик. Аресты сопровождались домашним обыском. В каждом квартале города имелась казарма, предназначенная для временного помещения арестантов. Я был доставлен на пункт вместе с тов. Отго Корвином, впоследствии казненным. В казарме со мной чуть было не приключилось несчастье. Нам с Корвином предложили сесть против письменного стола одного чиновника судебного ведомства. Только здесь у меня отобрали револьвер. Чиновник хотел его разрядить, пользуясь при этом предохранительным спуском. Вдруг раздался выстрел, и пуля вошла в сидение моего стула. Мы с Корвином вскочили и как следует vybrанили чиновника. Но один из его

коллег при этом иронически заметил: «Умрете ли вы здесь или в каком-нибудь другом месте, в конце концов, безразлично». Остальные чиновники дружно поддерживали его «шутку», и на нас посыпались насмешки и оскорбления. Мы не сразу поняли, чем была вызвана такая резкая перемена в их поведении. До этого происшествия они обращались с нами крайне предупредительно и корректно. Но когда нас веком перевели в арестный дом (не в государственную тюрьму), все это стало понятным. Уже в коридоре заметили мы, как враждебно против нас настроены полицейские и что они отплатят нам за убийство семи своих коллег.

После необходимых формальностей нас распределили по камерам. Для арестованных коммунистов (нас было 70) был отведен особый флигель арестного дома. Члены ЦК были помещены в подвальном этаже. Мне отвели помещение рядом с камерой тов. Бела Куна. Мы еще не успели как следует разместиться, как страшный шум донесся до нас с тюремного двора. Немного погодя несколько полицейских приблизились к нашим камерам. Я слышал, как они выводят в коридор тов. Куна. Я смотрел в дверную скважину. Они ударяли его по спине и толчками заставляли подниматься по лестнице. Та же судьба постигла тт. Бела Ваго и Ладислава Бороша. Других товарищей избивали в их камерах. Наверху, у входа во двор, выведенные арестанты были встречены толпой полицейских, которая тут же на них набросилась. Полицейские с особенным остервенением принялись за Бела Куна. Кто-то с силой ударил его по лицу, и тогда со всех сторон посыпались на него удары; обливаясь кровью, он упал на землю. Полицейские накинулись на упавшего, топтали его ногами, избивали прикладами и саблями. Наконец, его потащили обратно в каземат. Час спустя коридор огласился новым ревом и криком. Снова полиция с шумом ворвалась в камеру Бела Куна. В смежном помещении, где я находился, ясно слышались сыпавшиеся на него глухие удары, но ни один крик не слетал с его уст. Наконец, удары прекратились. «Ну, кажется, он подох», — сказал чей-

то голос, и вся полицейская свора покинула наше отделение. Я прислушивался, припадая ухом то к стене, то к двери, напряженно ловя какой-нибудь признак жизни, но из камеры Бела Куна не доносилось ни звука. Я уже почти был уверен, что он действительно умер. Но минут через десять оттуда донеслись до меня неожиданные звуки «Интернационала». Я облегченно вздохнул. Но в то же мгновение я с ужасом подумал, уж не сошел ли он с ума. Не мог я себе представить, чтобы человек в здравом рассудке после таких избиений мог еще петь. Вскоре спустились в камеру Бела Куна полицейский врач в сопровождении чиновника. Они явились туда, чтобы констатировать его смерть. К их удивлению и недоумению, они нашли его, однако, в живых. Даже выдавший виды тюремный врач был испуган состоянием избитого. Бела Кун был страшно изувечен; он едва мог говорить и двигаться. Врач распорядился о немедленном переводе его в госпиталь арестного дома. Бела Кун долго не хотел подчиниться этому распоряжению, но его увели силой.

Спротивление Б. Куна было вполне резонным. Когда он, недвижимый, лежал на операционном столе, полицейские и здесь его отыскиали и подвергли вторичному избиению. Говорят, что по сравнению с этим новым избиением все его прежние мучения были суицими пуляками.

За это время на улицах Будапешта разыгрывались важные события. Газета «Népszava» проливали крокодиловы слезы по поводу героической смерти семи полицейских, «пожертвовавших своей жизнью за дело пролетариата». В отвратительной передовице они поддерживали погромное настроение против коммунистов, на совести которых будто бы лежало убийство семи «товарищей полицейских». Одновременно рабочие призывались к массовой антикоммунистической демонстрации. Мощный и опытный аппарат социал-демократии работал без промедлений. В течение всей ночи и ранних утренних часов шла непрерывная подготовка к демонстрации, вскоре перешедшей во всеобщую забастовку. До того, как ра-

бочие что-либо могли узнать о новых событиях, еще до начала работ, они были встречены на производствах видными бюрократами республики, а также заводскими депутатами-эсдеками, которые, смотря по настроению данного завода или фабрики, комментировали происшедшее и призывали к немедленной демонстрации против коммунистов.

В то самое время, когда в арестном доме совершались ужасающие избиения, четвертьмиллионная толпа, состоявшая, главным образом, из рабочих, отправлялась на эту предательски подстроенную демонстрацию. Социал-демократический авангард действовал блестяще. Ему действительно удалось вовлечь широкие рабочие массы в выступление против коммунистов. Еще недавнее влияние нашей партии и общие симпатии рабочих к коммунистам, казалось, внезапно уступили место погромному настроению. Заводы и фабрики проходили со своими знаменами, некоторые даже с топорами на плечах. Наде сознаться, хорошенькую шутку подпустила над нами социал-демократия!

После людного митинга, где с нескольких трибун раздавались ожесточенные обвинения против коммунистов, где настроение масс и на самом деле резко изменилось в враждебную нам сторону, демонстранты приступили к обратному шествию. Несколько колонн рабочих уже выступило, когда улицы Будапешта огласились выкриками газетчиков: «Экстренный выпуск! Жестокие избиения коммунистов в арестном доме! Смерть Бела Куна!». Но уже через некоторое время был выкинут на улицу новый выпуск полученной газеты: «Бела Кун жив, изувеченный избиениями!». В этом номере был дан сочувственный отчет о событиях в арестном доме. Настроение масс сейчас же начало изменяться в нашу пользу.

Новый, замещающий нас ЦК партии работал энергично. Уже три дня спустя собрание металлистов вынесло протест против избиений коммунистов и требовало их немедленного освобождения. Центральный орган и агитационные листовки партии вскоре стали популярнее, чем когда-либо.

Но тот, кто 21 февраля был свидетелем арестов и избиений наших товарищей, антикоммунистической демонстрации и резкой перемены в настроении рабочих масс, почти не мог себе представить, что ровно через месяц, 21 марта, под предводительством тех же коммунистов, будет поднят над Венгрией красный флаг пролетарской революции.

Центральный Комитет в тюремном заключении. Три дня нас продержали в арестном доме. Принимать посетителей нам не разрешалось. Камеры были сыры, холодны и загажены. Вся их обстановка состояла только из деревянных нар и омерзительного легкого одеяла. Этому несимпатичному предмету я был обязан расчоткой — болезнью, весьма здесь распространенной. На четвертый день — в воскресенье — нас перевели из арестного дома в сборную тюрьму. Выстроились в ряд арестные кареты. За каждой из них стоял грузовой автомобиль с вооруженными полицейскими и пулеметным оружием. Целый ряд социал-демократических чиновников прибыл в арестный дом полюбоваться на наше отправление. В сборной тюрьме мы были хорошо встречены тюремным начальником. Он весьма дружелюбно, как с близким знакомым, обменялся приветствием с арестованным вместе с нами товарищем Евгением Латчло. Товарищ Латчло, впоследствии казненный, был известным адвокатом, выдвинувшимся в судебных процессах против рабочих, на которых он выступал защитником. Он пользовался большой популярностью среди пролетариата благодаря своей искренней преданности делу рабочего класса.

И в сборной тюрьме нам была предоставлена особая пристройка. Отрадное впечатление, вынесенное нами от любезного приема тюремного начальника, быстро сменилось общим возмущением: дело в том, что нас велели одеть в арестантские халаты. Все наши протесты были оставлены без внимания. Товарища Латчло не оставляла, однако, свойственная ему беззлобная ирония; обращаясь к тюремному начальнику, он заметил: «Вы наряжаете нас в арестантские халаты, не думая

о том, что через четыре недели власть будет принадлежать нам!». Начальник тюрьмы ответил ему на это с добродушной улыбкой: «Не смею с вами спорить, г. доктор! По вашему приказанию я наряжу тогда в те же халаты нынешнее правительство». И товарищ Латчло и начальник тюрьмы были одинаково правы в своих предположениях. Тюремный начальник сохранил свою службу и во время советской власти, и ему действительно пришлось посадить за решетку нескольких членов республиканского правительства и их приспешников.

Но арестантские халаты были на нас надеты не надолго. Уже на следующий день нам вернули нашу обычную одежду. В занимаемых нами камерах разрешалось даже курить. Тов. Латчло сделался нашим постоянным ходатаем. Он сидел чуть ли не весь день в тюремной канцелярии, свободно двигался по всему зданию тюрьмы и стал как бы «заместителем тюремного начальника». Он пользовался городским телефоном, делал разные распоряжения, и никто не осмеливался ему противоречить. А на предприятиях велась усиленная кампания против «дурного обращения» с коммунистами в сборной тюрьме.

Наконец, и товарища Куна перевели из госпиталя арестного дома в госпиталь нашей тюрьмы. Сейчас же после его прибытия мы потребовали разрешения на беспрепятственное посещение больного. Требование наше было удовлетворено вполне, и ЦК, в полном своем составе, мог ежедневно собираться у его постели.

Вообще, досаждать тюремному начальнику разными заявлениями мы не стеснялись. Каждый день мы ставили ему все новые и новые требования, которые, обычно, и удовлетворялись. Часто он буквально умолял нас не требовать чрезмерного, т. к. это может нарушить весь внутренний порядок тюрьмы и даже привести к бунту заключенных.

Спустя неделю начальник сообщил нам о прибытии «специальной» комиссии по обследованию обращения с коммунистами и предложил со своей стороны выбрать комиссию для соответ-

ствующих переговоров. Членами этой комиссии оказались Бела Кун, Латчло, Ваго и я. Немедленно отправились мы в тюремную канцелярию и предстали перед комиссией в составе обер-прокурора республики, одного советника министерства юстиции, нашего адвоката и начальника сборной тюрьмы. После длительных переговоров мы остановились на следующих требованиях: 1) Двери камер должны стоять открытыми с 8 часов утра до 10 вечера; 2) свободное общение товарищей между собой; 3) неограниченное число посещений три раза в неделю в обычное время; 4) переписка без всякой цензуры; 5) допуск всех газет и книг; 6) разрешение на собственную пишущую машинку; 7) устройство особой читальни и комнаты для общих беседований; 8) свободные прогулки на территории тюремного двора; 9) наконец, некоторое обеспечение съестными припасами.

Перечисленные требования были удовлетворены с незначительными изменениями. На самом же деле мы пользовались еще большими льготами. Нам поместили в особое здание, с отдельным двором. От остальных заключенных мы были вполне изолированы.

Уступчивость правительства ясно свидетельствовала о его слабости, и этим обстоятельством мы воспользовались весьма основательно. В ближайший же день посещений мы приняли (по подсчету тюремного начальства) 250 посетителей, главным образом, рабочих. Но уже на второй день число посещений поднялось до 350, а на третий и до 456. Начальник тюрьмы опять начал переговоры об ограничении посещаемости, так как он, в противном случае, не видит возможности поддерживать порядок в тюрьме. На ограничение мы, однако, не согласились. Зато мы договорились с ним касательно регулирования посещений. Нам было предоставлено право принимать посетителей ежедневно в послеобеденное время, при чем, поочередно, один день представлялся членом семьи, а другой для приема партийных товарищей.

В тюрьме мы устроились превосходно. Подслушивать наши беседы с посетителями не было никакой возмож-

ности. Пишущая машина стучала весь день, выстукивая воззвания, листовки, газетные статьи и инструкции. Все движение руководилось из тюремных камер. Часы посещений были столь многолюдны, что поговорить более основательно с товарищами, приходившими к нам по важному политическому делу, оказывалось невозможным. Но мы легко превозмогли и эти неудобства. Как-то раз в дообеденное время мы узнали, что делегация одного из самых крупных заводов Будапешта, хотевшая нас посетить в это неурочное время, была не допущена тюремной стражей и теперь находится на улице перед зданием тюрьмы. Мы сейчас же вызвали тюремного начальника и выразили ему свое неудовольствие и возмущение по поводу совершившегося. Начальник старался нас успокоить. Делегация была сейчас же допущена, и с этого дня нам разрешили принимать и в утренние часы. Теперь все наладилось превосходно. Место нашего заключения сделалось настоящим секретариатом партии. Мы принимали теперь обычно: в дообеденное время только видных членов партии, а после обеда всех остальных посетителей.

Наша жизнь в сводной тюрьме складывалась весьма разнообразно и пестро. Содержание под стражей коммунистов причиняло правительству сильные головные боли. Правительству охотно хотелось бы ликвидировать всю эту неприятную историю, но оно не знало как выйти из беды. Оно было слишком слабым, чтобы еще долго держать нас в заключении, но также и не чувствовало себя в силах решиться на наше полное освобождение. Поэтому оно освободило только часть арестованных коммунистов, по преимуществу молодых, а также тех партийцев, роль которых в рабочем движении представлялась менее значительной. Интересно, что молодые товарищи сочли себя весьма обиженными, когда им пришлось расстаться с тюремным казематом.

18 марта мы отпраздновали день Парижской Коммуны. Тов. Бела Кун сделал доклад об этом историческом событии, после чего всеми нами был исполнен «Интернационал». Никто из



нас еще не думал, что через три дня в этом же помещении будут происходить переговоры между нами и социал-демократами, что здесь будет подписан исторический документ, провозглашающий советскую власть в Венгрии.

Как возникла советская власть в Венгрии? Антисоциальное настроение масс в день нашего ареста, как сказано, быстро изменилось в нашу пользу. Возмущение масс было столь велико, что правительство почувствовало себя вынужденным показать свой «сильный кулак» и контрреволюции. Оно приказало арестовать двух виднейших министров, которым принадлежала руководящая роль в монархическом правительстве, как наиболее повинных в европейской войне, а также и одного епископа, главного вдохновителя контрреволюции. Но эти запоздалые меры уже не производили должного впечатления. Недовольство всех слоев рабочего класса непрерывно возрастало. Новый ЦК партии работал по инструкции старого, с напряжением всех своих сил. Да, партия сделалась вождем и руководителем города и деревни. Не только среди рабочих масс, не только на фабриках и заводах, но и среди сельской бедноты разрасталось революционное настроение. В Будапеште рабочие постепенно стали захватывать производства. В деревне же крестьяне изгоняли помещиков и самочинно приступали к разделу земли. Волну земельных беспорядков правительство пыталось предупредить, с одной стороны, превращением крупных помещичьих имений в коллективные хозяйства, с другой — официальным сообщением о скорой земельной реформе и даже в отдельных случаях некоторыми раздачами земли. Но крестьянство не доверяло правительству. Оно не верило в земельную реформу. Ежедневно газеты сообщали со всех концов государства о новых земельных беспорядках. Демонстрации, иногда даже и вооруженные, быстро сменяли одна другую, при чем зачастую происходили кровопролитные стычки с полицией. 17 марта правительство назначило срок выборов в Национальное Собрание на 13 апреля. 18 же, по инициативе рабочего комитета одного из круп-

нейших заводов Будапешта, было созвано собрание всех заводских и фабричных делегатов. Собрание постановило освободить коммунистов силой. 19 состоялся массовый митинг безработных. По окончании его толпа двинулась к министерству социального обеспечения, захватила помещение министерства и продержалась в нем до наступления вечера. 20 печатники объявили всеобщую забастовку из-за фактического уменьшения заработной платы. Они сняли с работы старое правление своего профессионального союза и заменили его новым, коммунистическим. В Будапеште не вышло ни одной газеты: город был как бы обезглавлен. В этот же день французский подполковник Викс передал от имени антагты венгерскому правительству ультимативную ноту, согласно которой Венгрия должна была поступиться новыми значительными территориями, сильно сужавшими ее границы.

21 марта день был прекрасный и солнечный. Весна манила нас во двор. Чувствовали ли мы наступление весны или приближение великих событий, но все мы ощущали что-то необычное. Сведения, поступавшие с заводов и фабрик и со всех концов государства, давали нам пищу для самых оживленных споров.

Бела Кун диктовал в своей камере тов. Отто Корвину воззвание против созыва Национального Собрания. Все остальные были во дворе. Все находились в необыкновенно приподнятом настроении. Все были веселы и бодры и не ощущали никаких преград, хотя и были окружены тюремными стенами. Мы чувствовали освобождение. И не только наше личное освобождение из тюрьмы, нет, — освобождение всеобщее, освобождение вообще.

Также-то чувства мы переживали, когда перед нами неожиданно выросла статная фигура товарища Евгения Ландлера (члена социал-демократического ЦК).

«Что такое случилось? Что ему здесь надо?» — недоумевали мы.

Ландлер прямо направлялся к нам. Он улыбался, пытаясь скрыть свое волнение.

«Хорошенькую платформу для выборов приготовил Вам подполковник Викс! Желаю тебе весело прокатиться на вороних» — приветствовал я его. Не менее любезные шутки ему пришлось выслушать от Ваго и других товарищей. Ландлер был очень смущен, но храбрился и даже отшучивался. Немного погодя он выразил желание повидаться с тов. Бела Куном, Ваго и я взялись его проводить.

«Голубчик мой! а я ведь порчу вам вашу страпню, — приветствовал его Куп с явной иронией в голосе. — Как видите, диктую воззвание против вашего Национального Собрания».

«Не утомляйте себя этим понапрасну. События не позволяют нам больше заниматься подобными глупостями, — ответил Ландлер. И тут же, не давая себя прервать, продолжил: — Ведь вы знакомы с содержанием последней ноты Антанты. Правительство не может подчиниться ультиматуму. Возмущение масс смело бы его безусловно и немедленно. Но правительство также и не в силах организовать военное сопротивление. Буржуазные министры хотят покинуть свои посты и предлагают нам образовать чисто социал-демократическое правительство. В настоящее время комитет нашей партии обсуждает создавшееся положение. До моего ухода с заседания общее мнение склонялось к тому, что и образование социал-демократического министерства, — вещь совершенно невозможная. За исключением Гарали, Бухингера и Пейдля, мы пришли к соглашению принять власть совместно с коммунистами. Я пришел вам об этом сообщить. Наше предложение сводится к следующему: соединении обеих партий на коммунистической платформе, принятие власти и провозглашение диктатуры пролетариата. Если вы согласны с этой нашей программой, то новое правительство может образоваться еще сегодня».

Все толпились в коридоре, с нетерпением дожидаясь развязки. Всем хотелось узнать, какое значение имеет визит Ландлера. Ваго и я вышли передать товарищам общий смысл переговоров. На нас со всех сторон посыпались разные вопросы, но мы уклони-

лись от всяких ответов, считая, что единственным ответом на них будет самый ход дальнейших переговоров. Когда мы возвратились к Бела Куну, Ландлер уже выходил из комнаты. «Я иду на заседание нашего ЦК, — бросил он мне на ходу, — после обеда мы еще увидимся!».

Сейчас же было созвано общее собрание заключенных. Тов. Бела Кун в нескольких словах доложил о своих переговорах с Ландлером. Никто из присутствующих принципиально не возражал против предложения социал-демократов. Собрание единогласно постановило немедленно приступить к переговорам, положив им в основу предвзятельное предложение Ландлера. Тут же была избрана комиссия для переговоров в составе Бела Куна, Янчика, Хлебко, Ваго и Санто.

Подопшло время посещения. Партийцы прибывали к нам огромными партиями. Здесь находился даже товарищ Ваттуш, который в свое время был арестован, а потом перешел на нелегальное положение. К вечеру заявился и Тибор Самуэли, уклонившийся по постановлению ЦК от февральских арестов. По всему коридору, плотно прижавшись друг к другу, толпились посетители и заключенные. Но и на тюремном дворе было достаточнолюдно. Единственной темой всех разговоров служил вопрос о принятии власти. Предложение социал-демократов было известно всем, и никто против него не возражал.

Таково было общее настроение умов к моменту прибытия комиссии социал-демократов. Она состояла из Ландлера, Вельтнера, Кунфи, Погани и Гобриха. Заседание было открыто немедленно, без всяких промедлений. Оно продолжалось целых два часа. Первое слово было предоставлено Вельтнеру. В кратких словах заявил он, что старая политика социал-демократии привела ее к полному банкротству. Порывая со своим прошлым, она решила связать свою политическую судьбу с коммунистами. Таким образом, опять восстанавливается единство партии. Объединенная партия примыкает к III Интернационалу, берет в свои руки государственную власть, и еще сегодня провозгла-

шает диктатуру пролетариата. Он заявил, что к такому решению пришла партия с.-д. вопреки ожесточенным возражениям Гарали, Бухингера и Пейдле, которые ни в коем случае не желают примкнуть к подобному политическому объединению.

Более продолжительный спор возгорелся только по вопросу о названии новой партии. Бела Кун предлагал и впредь именоваться «Коммунистической партией Венгрии». Но против этого возражали социал-демократы. Они ссылались на то, что такое наименование говорило бы не о соединении двух партий, а о полной капитуляции социал-демократии. Поэтому они предложили: предоставить Коминтерну закрепить за партией окончательное название, до этого же называться «Социалистической партией Венгрии». Эту уступку мы сделали. В результате наших переговоров был составлен соответствующий договор, подписанный обеими договаривающимися сторонами. С нашей стороны подписались, кроме членов комиссии, еще и тов. Виттуш, Зейдлер и Рабинович, несколько позднее присоединившиеся к переговорам. В пять часов пополудни, после того, как мы условились еще вечером созвать совместное заседание комитетов обеих партий, заседание было закрыто. Социал-демократы удалились. А мы еще немного задержались в тюрьме, чтобы сообщить всем присутствующим о нашем договоре. Только один из товарищей, Артур Ильиш, выразил свое неудовольствие по поводу слияния с социал-демократами. Тот же самый обер-прокурор республики, который потом, после свержения советской власти, выступил против коммунистов на кровавом суде Хорти и настаивал на их смертной казни, тогда, чуть ли не первый из чиновников, приветствовал нас как «новое восходящее солнце востока».

В десять часов вечера состоялось объединенное заседание партий. Было избрано революционное правительство и постановлено, что до созыва ближайшего партийного съезда правительство будет считаться и руководящим партийным органом. Потом были составлены первые воззвания декретов. Было решено сохранить печатные органы

обеих партий: социал-демократическая «Népszava» служила нам утренняя официозом, коммунистическая «Vörös Ujsag» — вечерним. Прямо с заседания я прошел в редакцию «Népszava», чтобы прочесть там передовицу и тексты воззваний. Потом я направился в комендатуру города. Везде царил полное спокойствие и порядок.

Когда на следующее утро состоялось сепаратное заседание коммунистических народных комиссаров, чтобы обсудить вопрос о полном слиянии партийных аппаратов, Бела Кун озабоченно заметил:

«Объединение партий прошло уж как-то слишком гладко. Всю ночь я не спал и думал, в чем могла заключаться наша ошибка. А ошибку мы где-то допустили наверное. Повторяю, все прошло слишком гладко. Мы отыщем ее, в этом я не сомневаюсь, но боюсь, не слишком ли поздно».

Уже на следующий день обнаружилось неудовольствие многих членов партии слишком поспешным слиянием партийных органов. Чувствовалась возможность оппозиции. Но все же большая часть партактива и большинство иногородних партийных организаций стояли за слияние.

Два дня спустя состоялся массовый митинг перед зданием бывшего парламента. Речи произносились с нескольких трибун. Но социал-демократов почти не слушали. Их слова заглушались протестующим ревом демонстрантов, и им приходилось покидать трибуну, не договорив своей речи до конца, а иногда даже почти и не приступив к ней.

Эти протесты широких масс пролетариата нас заставили призадуматься. Мы стали понимать, в чем заключается ошибка.

Чиновники и офицеры бывшей монархии на советской службе. Возникновение советской власти вызвало среди чиновников и офицерства большое смущение. От военнопленных, возвращавшихся из России, а также и из газет, они узнавали о судьбе бывших государственных сановников в России и боялись испытать ее на себе. Однако, мирный характер венгерского переворота не-

сколько их успокоил. То обстоятельство, что советская власть возникла в Венгрии без кровопролития, без всяких столкновений, в результате мирной передачи власти рабочему классу бывшим правительством, их преисполнило даже некоторыми надеждами. Когда я в первый день существования советской власти явился в доверенный мне народный комиссариат по военным делам, я не сразу мог добраться до своего кабинета. Вся приемная была переполнена чиновниками министерства и офицерами. Все наперерыв предлагали свои услуги. По сравнению с другими народными комиссарами я находился в положении более затруднительном. Дело в том, что в последний год мировой войны я служил именно здесь, в военном министерстве. Я имел знакомства не только среди чиновников моего отделения, но и среди офицеров и чиновников целого ряда других отделов. Эти «мои знакомые» часто вызывали во мне досаду. Охотнее всего я бы их всех послал к чорту. Они были мне достаточно знакомы, и я знал, что большинство из них — бездельники и пьяницы. Но социал-демократы никак не соглашались на радикальную ломку государственного аппарата. Так, когда на первом заседании совета народных комиссаров наркомы коммунисты поставили вопрос о разоружении полиции и жандармерии, социал-демократы тому энергично воспротивились. Под их давлением эти государственные учреждения были только переименованы в Красную гвардию. Подобная уступчивость коммунистов неоднократно имела место за все время существования пролетарской диктатуры, и эта слабость в значительной мере определила поведение всего чиновничества.

В первый день моего пребывания в народном комиссариате пробрался в мой рабочий кабинет начальник канцелярии наркомата, отвесил мне низкий поклон и промолвил:

«Товарищ народный комиссар, вы, наверное, даже и не знаете что я всегда в душе был коммунистом. Я глубоко ненавидел Сцурмай<sup>1)</sup>. Он не хотел меня назначить начальником

своей канцелярии. Вы можете вполне на меня положиться. Я уже и теперь могу вам сказать, что здесь работает много контрреволюционеров. Их следовало бы отсюда убрать».

Но я прекрасно знал, что это за птица. И такими-то беспринципными субъектами были переполнены все государственные учреждения.

Незабываемое впечатление я вынес из того периода революции, который непосредственно примыкает к великому дню 2 мая. В последних числах апреля, когда дела на фронте казались безнадежными, весь аппарат народного комиссариата предавался саботажу. Все рассчитывали на скорый конец советской власти. Дело несколько исправилось только тогда, когда беспримерное воодушевление рабочих масс резко повернуло руль событий и создало свою Красную армию. Большая часть офицерства стала тогда работать с усердием и преданностью. Но имелось еще много офицеров, не отказавшихся от саботажа. Комплектование и отсылка на фронт шли полным ходом. Я ежедневно об'езжал казармы, и чуть ли не каждый день мне приходилось убеждаться, что офицеры, руководящие формированием, саботируют попрежнему. Особенно это наблюдалось в первом пехотном полку. Как-то утром мне позвонили на квартиру, что получилась задержка в обмундировании из-за отсутствия должной амуниции. Я помнил точно, что только день тому назад все требующееся было отправлено в казармы. Я сейчас же выехал на место происшествия. Там высочила мне навстречу весьма забавная фигура в офицерском мундире и гражданской шляпе с широкими полями.

— Тов. народный комиссар, во вверенной мне казарме все обстоит благополучно.

— Кто вы такой? — перебил я его.

— Комендант казармы.

— Вы кадровый?

— Так точно, я был полковником.

— Что у вас на голове? Вы делаете Красную армию смехотворной.

— Тов. народный комиссар, в армии нет головных уборов. Военские части вынуждены отправляться на фронт в гражданских шляпах.

<sup>1)</sup> Министр обороны во время европейской войны.

— Казарменный караул! Немедленно посадить этого человека под арест! — отдал я свое приказание и тут же на своих глазах заставил осмотреть вещевые склады. Требующиеся предметы, разумеется, имелись в достатке, и сформированные части еще в тот же вечер отбыли на фронт.

Еще во время демократической республики во всей народной армии насчитывалось всего артиллерийской четыре батареи, которые и перешли к нам по наследству. Но этим наши артиллерийские силы и исчерпывались. До 2 мая официально значилось, что вся артиллерия, после разгрома государства на четвертый год европейской войны, осталась за пределами вновь установившихся границ Венгрии. Этим и объясняли отсутствие артиллерии в войсках народной армии буржуазно-демократической республики, наследниками которой мы являлись.

Дело в том, что кадровые офицеры, проводившие демобилизацию европейской войны, припрятали всю артиллерию, как и все артиллерийские запасы. Когда в свое время республиканское правительство выразило желание видеть артиллерию восстановленной, ей неизменно приходилось выслушивать, что артиллерии нет, а имеются только разрозненные артиллерийские части. Но когда после 2 мая стояли под ружьем 98 батальонов Красной армии, когда даже и кадровое офицерство видело, что здесь идет речь о серьезном военном строительстве, неожиданно появилась на свет и Красная артиллерия. Весьма характерен и интересен самый процесс ее созидания.

С момента создания Красной армии советская власть ощутила на себе всю тяжесть отсутствия артиллерии. Я призывал к себе бывшего артиллерийского полковника, пользовавшегося еще при монархии большим авторитетом, как выдающийся специалист по артиллерийскому делу. Мне говорили о его явно контрреволюционных убеждениях и предупреждали вести себя с ним осторожно. Разговор с этим человеком верно отражал настроение большинства кадровых офицеров, находящихся на службе в Красной армии. На мой

вопрос, какого он мнения об армии, лишенной артиллерии, он ответил:

«По моему воспитанию и всему моему прошлому я не революционер. Более того, ход революционных событий меня сделал скорее контрреволюционером. Правительство и государство без армии должны погибнуть. Республиканское правительство своим пацифизмом привело к гибели не только старую армию, но и все предпосылки для создания новой. До 2 мая советская власть в общем продолжала военную политику своих обанкротившихся предшественников. Но теперь я вижу серьезную перемену. Я вижу, что коммунисты одержали верх над социал-демократами внутри правительства. Я вижу, что коммунисты сумели мобилизовать население для защиты страны и государства. Все это внушило мне уважение. Я не коммунист, но я честный солдат. Вы вполне можете располагать моими знаниями военного специалиста. Я буду добросовестно работать и выполнять ваши приказания».

Когда я в заключение беседы сказал: «Мы должны постараться в самое ближайшее время поставить на ноги нашу армию», — он ответил:

«В 48 часов вам будет представлен мой организационный план».

Два дня спустя полковник мне доложил следующее:

«В ближайшие 48 часов я представлю каждой дивизии четыре батареи. В следующие 48 часов — еще две. В две недели мы можем довести число дивизионных батарей до восьми, а через четыре недели и до двенадцати. Разумеется, если найдутся соответствующие прислуга и лошадь. Артиллерийскими запасами мы обеспечены на год».

Доклад полковника на меня произвел впечатление блёфа. На мои несколько недоверчивые расспросы, он твердо заявил:

— Я всегда обещаю только минимум того, что могу выполнить. Сроки могут еще сократиться, число дивизионных батарей может еще умножиться.

И, действительно, уже несколько дней спустя, Красная армия могла похвастаться отличнейшей артиллерией, в ближайшие же бои показавшей себя

способной на великие подвиги. Не только Красная армия гордилась своей артиллерией. Ею в праве было гордиться и все советское государство. Благодаря ей, оно сумело себе завоевать большое уважение среди военных кругов всех буржуазных государств.

Этот артиллерийский полковник во всем своем личном поведении показал себя человеком весьма достойным. Все остальные офицеры меня называли «товарищ народный комиссар». Лишь у немногих это выходило вполне естественно. Иные из них взялись даже за чтение коммунистической литературы и искренне старались приспособиться к советскому строю. Другие делали то же самое, но уже из корысти и подхалимства. Только этот честный артиллерийский полковник, один из всех кадровых офицеров Красной армии, титуловал меня «господином народным комиссаром».

До самого свержения советской власти он честно служил Красной армии.

К концу июня месяца все кадровые офицеры под всевозможными предлогами начали отлынивать от своих служебных обязанностей. Рапортами об отпуске меня буквально забрасывали. Уступить им значило бы совершенно парализовать всю армию. Поэтому я отдал приказ о прекращении всяких отпусков. Два дня спустя после опубликования соответствующего приказа, ко мне вновь поступил рапорт об отпуске одного интенданта. Отпуск я отклонил. На следующий день интендант явился ко мне в кабинет и уже устно возобновил свое прошение. Я снова отказал ему. Через два дня сообщили мне, что интендант самовольно отправился в отпуск и собирается вернуться только через 4 недели. Я немедленно уволил его со службы. На следующее утро я получил коллективное заявление, подписанное всеми интендантами. Они объявляли себя солидарными с уволенным чиновником и требовали его восстановления в должности с подтверждением отпуска. В интендантском управлении царило большое волнение. Интенданты дожидались ответа. В 2 часа явился ко мне под каким-то предлогом обер-интендант, чиновник, работающий до этого времени вполне при-

лично. Когда наш деловой разговор закончился, он спросил меня, не принял ли я уже решения по заявлению интендантов.

— Да, — ответил я.

— Но нам ответ еще не известен, — сказал он.

— Отсутствие ответа является тоже ответом.

— Вы, стало быть, отклоняете прошение. Подумайте хорошенько, что это значит для армии, если интендантура не работает.

— Интендантское управление будет работать, но только без вас. С биржи труда я могу получить сколько угодно военных счетоводов и переписчиков, прошедших школу европейской войны.

Обер-интендант побледнел, он заметил, что я говорю серьезно.

Через полчаса он ко мне опять явился с новым письменным отношением интендантов. В нем с одной стороны осуждалась самовольная отлучка интенданта и советовалось ему немедленно прекратить свой самочинный отпуск, с другой же — высказывалась просьба о восстановлении его в должности.

— С делом этого интенданта я закончил, — коротко ответил я.

— Товарищ народный комиссар, смею ли я через полчаса вас еще раз о беспокоить?

— Если я еще буду здесь, то пожалуйста.

Не прошло и полчаса, как обер-интендант опять стоял перед моим столом. Он передал мне новое заявление за подписями всех интендантов. Они извещали свое сожаление по поводу ранее высказанной солидарности с уволенным чиновником, просили считать таковое ненаписанным и выражали готовность продолжать свою работу в Наркомате.

Восстание контрреволюционеров от 24 июня. Нота Клемансо, переданная нам в середине июня, сообщала от имени Антанты окончательные границы Венгрии и требовала немедленного отвода наших войск в пределы новых границ государства. Нота породила в Красной армии большую деморализацию. Часть Красной армии хотела под влиянием

пацифистов демобилизоваться, так как решение Антанты все же обеспечивало мир и неприкосновенность границ, дальнейшая же война все равно не имела никакого смысла. Другая же половина армии, главным образом, войсковые части, скомплектованные из одних крестьян, сагитированные офицерами-монархистами, видели в новом акте Антанты гибель своей националистской мечты о восстановлении старых границ государства. Пацифистское настроение Красной армии поддерживалось соц-дем., которые к тому времени, установив тесную связь со всеми миссиями Антанты, усердно подготавливали свержение советской власти. Контрреволюционеры отлично знали о содержании этих тайных переговоров и готовились к вооруженному выступлению. Они были также хорошо осведомлены о сильных разногласиях между коммунистами и соц.-демократами. Выпад соц.-демократов против коммунистов на партийной конференции, имевший целью опорочить всю нашу политику, не удался. Вторичная атака была ими возобновлена на ближайшем с'езде советов. Произнесенная здесь Вильгельмом Бемом крайне демагогическая речь прямо ставила на очередь контрреволюцию.

24 июня в 2 часа пополудни состоялось совещание с ген. штабом и начальником округа, которое окончилось в 4 часа. Отсюда я направился на заседание Будапештского совета рабочих депутатов. На улицах было совершенно спокойно. Ничто не указывало на близкое восстание контрреволюционеров. В Совете как раз занимался своей обычной нечистоплотной болтовней соц.-демократ Гендер, газета которого незадолго до этого подверглась закрытию за контрреволюционную деятельность. Во время разыгравшейся сцены возмущения против этого политикана быстро вбежал в залу заседания товарищ Георг Самулен и крикнул громким голосом:

— Вы еще здесь, а на Дунае подняли национальный флаг броненосцы и уже подплыли к Дому Советов. Контрреволюция разразилась.

В зале произошло смятение. Все затеснились к выходу. Я тут же расспросил тов. Самуэли об отдельных подробностях события и поспешил к Дому Со-

ветов, чтобы лично удостовериться в положении вещей.

Достигнув здания, я заметил на Дунае два броненосца под национальным флагом. В Доме Советов я немедленно вызвал караул и приказал всем лицам, не живущим в этом здании, спешно его покинуть, а жильцам оставить все помещения, окна которых выходят на набережную. Я еще находился в Доме Советов, когда броненосцы дали три первых залпа по зданию. Стены дома сильно поразрушились. Но из людей никто не пострадал.

Отсюда я пошел в расположенный поблизости от дома советов штаб 4-го корпуса, на который была возложена охрана Будапешта. Здесь я встретился с Бела Куном, прибывшим за несколько минут до меня. Мы предложили начальнику корпуса Гобреху, известному вождю металлистов, доложить нам о чрезвычайных событиях и принятых им мерах обороны. Он сообщил, что начало беспорядков обнаружилось в артиллерийских казармах, откуда было дано несколько сигнальных выстрелов по направлению о. Маргариты. В ответ на эти выстрелы выступили по тревоге слушатели старой Военной академии и захватили центр. телефонную станцию. Потом выехали под национальным флагом броненосцы для обстрела Дома Советов, где тогда проживали народные комиссары. Во время доклада прибыл и тов. Янчик (нач. Красной гвардии), сообщивший, что офицеры артиллерийской казармы подняли красноармейцев обманом под предлогом предстоящих маневров. Только когда раздались первые выстрелы, команда опомнилась, перерастовала своих командиров и сдала их в руки Красной гвардии.

Положение казалось довольно странным. Из всех районов города нам сообщали о полном спокойствии и порядке. Все указывало на неудачу мятежа. После короткого совещания мы пришли к след. решению: 1) сейчас же созвать рабочих крупнейших предприятий и держать их под ружьем в готовности. 2) В городе расставить усиленные патрули. 3) Приступить к немедленному обратному захвату телефонной станции и Военной академии и

принять спешные меры к сдаче броненосцев. Первая задача была возложена на Гобриха, вторая на меня.

Вовлечение в восстание Военной академии и предоставление ей руководящей роли свидетельствовало о том, что здесь замешаны крупнейшие предстатели военного командования. Бела Кун решил отправиться в Гедделло, в ставку главнокомандующего, а оттуда, быть может, и на фронт, чтобы всячески воспрепятствовать участию Красной армии в этом восстании. В это время прибыл и тов. Отто Корвин. Он сообщил, что знает совершенно достоверно о том, что центром восстания является тот самый 4-й корпус, в котором мы сейчас находились. Поэтому мы решили, что я не покину здания корпуса и все мои распоряжения буду передавать отсюда. Одновременно были приняты необходимые меры предосторожности.

Между тем, броненосцы прекратили свою бомбардировку и поднялись вдоль по Дунаю. Совместно с руководителем артиллерийского управления, тем полковником, о котором говорилось выше, мы спешно обсудили план обороны и приступили к его реализации. В 10 часов вечера Бела Кун возвратился из Гедделло. Он вынес от своей поездки далеко не блестящее впечатление. Непосредственной опасности он не заметил, но настроение Вильгельма Бема, а также полевой жандармерии и офицерства показались ему далеко ненадежными. Мы решили направить в Гедделло батальон рабочих-металлистов для контроля над высшим командованием армии.

Уже вечер близился к концу, но в положении вещей ничего не изменялось. Центр телефонная станция и Военная академия все еще находилась в руках восставших. В остальных частях города попрежнему царил полное спокойствие. В 11 часов зазвонил телефон Гобриха. Каждый телефонный звонок в этот вечер ожидался нами с нетерпением, так как мы с минуты на минуту ждали известия о занятии нами телефонной станции. Нач. корпуса Гобрих взял одну трубку, а я другую. К моему большому удивлению, я выслушал след. диалог:

— У аппарата нач. корпуса Гобрих.

— У аппарата командир отряда, захвативший центр. станцию. Тов. Гобрих, я жду ваших новых распоряжений.

— Моих дальнейших распоряжений? Как вы-то туда попали? Что вы там ищете?

— Я действовал по вашему предписанию, тов. Гобрих.

— Я вам никаких предписаний не давал.

— Так точно. Я от вас получил письменное предписание о занятии телефон. станции.

— От меня? Когда и где? Я вас даже и не знаю.

— Так точно. Я получил письменное предписание. Под ним ваша подпись.

— Моя подпись? Я ни вам, ни кому другому не предписывал подобных действий. Но если вы действительно полагаете, что действуете по моему предписанию, то я вам теперь приказываю немедленно очистить здание центр. станции.

На этом разговор прервался. Командир отряда никакого ответа не дал.

Гобрих дрожал всем телом. Он клялся, что ни в какой мере не замешан в восстании. Он требовал строгого следствия, а до того складывал с себя обязанности.

Сообщение тов. Корвина, сделанное им сегодняшним вечером, как-будто отчасти подтверждалось. Но в данный момент нам было важно поскорее ликвидировать восстание, а не углубляться в загадочное поведение Гобриха. Мы еще раз посоветовались. Мне было дано приказание очистить здание телефона еще этой ночью любыми средствами.

Я поехал на телефон. станцию. Это было новое здание, сооруженное на пл. Марии Терезии. Станция была построена по последнему слову техники.

Полночь. Повсюду царил мрак. На площади Марии Терезии все уличные фонари были прострелены картечью. Во всей окрестности не видно было ни одного огонька. Окна всех зданий, не исключая районного Совета, были разбиты.

Ко мне подошел с рапортом командир Красного отряда. К моему удивлению, я должен был удостовериться в



том, что с нашей стороны приняты были самые ничтожные меры. На площадь была выставлена всего одна пехотная рота. Мне сейчас же стало ясно, что командование 4-го корпуса саботирует. Боевая обстановка была следующая: центр, телефонная станция, здание с плоской крышей, несколько подавалось вперед по сравнению с фасадами остальных домов. На этой крыше и расположился отряд восставших, выбрав себе блестящую, вполне защищенную от пехотного огня позицию. Контрреволюционеры заняли все командные высоты. На церковной башне, расположенной наискось против телефонной станции, работал их пулемет. На мой вопрос, какова численность неприятеля, командир мне ответил, что она едва ли превышает 100 штыков.

С обеих сторон то и дело раздавались одиночные выстрелы.

— Когда вы получили приказание?

— В 7 часов вечера.

— Сколько убитых и раненых мы насчитываем?

— Ни одного.

— Куда вы направляете свой огонь?

— В крышу здания.

— И вы думаете такой стрельбой кого-нибудь хотя бы потревожить?

Я обдумывал ситуацию и необходимые мероприятия. Я как-то сразу понял, что выполнить задачу мне удастся.

— Ротный сигналист, давайте сигнал к прекращению огня,—отдал я свое приказание.

Сигнал был проигран, и стрельба постепенно начала утихать, становилась все слабее, и уже через 2 минуты не слышно было ни одного выстрела.

— Ну, дело, кажется, выиграно,— заметил я,—теперь все быстро пойдет на лад.

Я выслал парламентаров, поручив им передать командиру восставшего отряда мое приказание явиться ко мне в течение 20 минут. Потом я отправился в Дом районного Совета, в котором продолжалось заседание.

20 минут прошло, а наши парламентары все еще не возвращались. Я выслал новых парламентаров со след. ультиматумом: если парламентары не

будут освобождены в течение ближайших 15 минут, то я приму свои меры; и тогда уже ни один человек не уйдет от меня живым.

Через 15 минут предстал передо мною поручик восставшего отряда в сопровождении всех наших парламентаров.

— Вы командир восставшей части?—спросил я его.

— Нет, я его заместитель.

— А где командир?

— Его нельзя было сыскать.

— Я отдал приказ, чтобы он ко мне немедленно явился.

— Разрешите мне вернуться и немедленно направить его сюда.

— Вы останьтесь здесь. Он и сам найдет дорогу.

— Разрешите мне тогда дать ему письменный совет немедленно подчиниться.

— Это я вам разрешаю.

Письмо поручика отправляется командиру. Через 15 минут он стоит уже передо мною.

— Я приказываю вам немедленно очистить центр, телефонную станцию. Через 30 минут я жду донесения, что восставшие выстроены во дворе в две шеренги и винтовки составлены в пирамиды.

— Мне хотелось бы поставить несколько условий,—возразил командир отряда.

— Ваше дело не ставить условия, а исполнять мои приказания.

Командир отдал честь и направился к выходу для личного исполнения приказания.

— Стойте! Вы остаетесь здесь. Вы должны отдать приказание в письменном виде.

Через 30 минут я уже получил донесение, что отряд восставших выстроен в две шеренги, винтовки же сложены в пирамиды.

Я оставил караул для присмотра за двумя офицерами и приказал Красной роте вступить в помещение телеф. станции. В 2 часа я позвонил в штаб 4-го корпуса сообщить Бела Куну, что телефонная станция находится в наших руках.

Потом я прошел во двор взглянуть на обезоруженный отряд восставших.

Я приказал арестовать и третьего офицера и всех трех направил в штаб корпуса. После обыска, когда мы удостоверились, что у восставших нет револьверов, отряд был отправлен в ближайшую казарму. Пулеметное отделение, занимавшее церковную башню, успело за это время спастись бегством, оставив нам свой пулемет.

В 3 часа я уже возвратился в штаб корпуса. Здесь производилось дознание 3-х офицеров. Дознание только отчасти распутало нити заговора. Самый словоохотливый пленный, полковник, был кем-то убит еще вечером, сейчас же после ареста офицеров артиллерийского полка. Все 3 офицера утверждали, что действовали по предписанию Гобриха, самого же Гобриха никогда не видели. Письменное приказание о занятии телеф. станции, якобы подписанное Гобрихом, будто бы было уничтожено командиром отряда. Таким образом, установить его подлинность оказалось невозможным. Спрошенные об общем плане восстания, офицеры заметили, что его крушение было вызвано отступничеством рабочих организаций. Им будто бы было сообщено, что после артиллерийских сигналов к занятию телеф. станции и открытию орудийного огня броненосцами, должно будет присоединиться к восстанию и все рабочее население Будапешта. На этот счет будто бы имелась договорен-

ность между офицерством и Гобрихом. Впоследствии, после падения советской власти, Гобриху было пред'явлено обвинение в том, что он подготовил восстание, а затем его предал. Но он продолжал утверждать и перед контрреволюционным судом, что ему ничего не было известно об этом контрреволюционном выступлении. Следствие белого суда установило, что руководящая роль в восстании принадлежала помощнику Гобриха, одному бывшему полковнику. Но этот полковник от суда уклонился и таким образом полной ясности внести в это дело так и не удалось. Военная академия нами была занята только следующим утром. С нашей стороны при этом погибло 18 товарищей.

На следующий день в полуденное время еще раз появились дунайские броненосцы и, дав несколько прощальных залпов, отправились вниз по течению. Они пристали к берегу в Югославии.

Восстание было ликвидировано в течение 20 часов.

Три арестованных нами офицера были приговорены к смертной казни. Но итальянский полковник Ромонтелли заступился за них и за воспитанников Военной академии от имени Антанты. Под давлением соц.-демократов советское правительство вынуждено было уступить и отказаться от более суровых мер.

# За кулисами статуи свободы

ЭГОН ЭРВИН КИШ

## I. Д-р Беккер у врат рая

Человек, которого мы назовем д-ром Беккером, находится на борту английского парохода; чувства его в смятении.

Чувства д-ра Беккера мнутся не потому, что судно качает и бросает, не потому, что его койка находится как раз над паровым винтом, и не потому, что салон и курительная его класса противно сотрясаются от движения машины.

Пассажиры второго и особенно первого класса, обитающие в середине парохода, значительно меньше ощущают качку и толчки и совершенно не ощущают движения парового винта. Кроме того, они развлекаются прогулками по натертой палубе длиною в сто метров, джазбандом и певцами.

Менее состоятельные классы, к которым принадлежит и д-р Беккер, ютятся на средней палубе; но они ни в коем случае не называются «палубными пассажирами»; если какое-либо учреждение открыто скомпрометировано, то просто меняют его имя.

Д-р Беккер неоднократно глядел на владения высших классов, где часто менее талантливые его коллеги совершали путешествие через океан; как раз те, которые имеют возможность странствовать по свету «первоклассно», без качки и тряски. Он не завидует их отдельным каютам, хотя д-р Беккер, несомненно, еще ближе сошелся бы с черноглазой венгеркой, своей соседкой за

столом, если бы не торчали они вчетвером — он в своей каюте, а она в своей. Д-р Беккер завидует не тому, что на палубе для прогулок у этих более счастливых пассажиров поля для игры в «Schuffle-board» навсегда покрашены лаком, в то время как на средней палубе матрос ежедневно рисует их мелом. Он завидует и не тому, что они избавлены от наглядного обучения, как перед сном, согласно правилам искусства, справляться с геморроем и как остричь ногти на ногах, не снимая чулок (само собой разумеется, порванных соответственным образом).

Нет. Д-р Беккер завидует им только потому, — если он им вообще завидует, — что они проделывают это далекое путешествие не в таком смятении чувств, как он.

Но почему же, черт возьми, у д-ра Беккера чувства в таком смятении? Чувства д-ра Беккера в таком смятении из-за радости и опасений.

Радость д-ра Беккера общего характера, — она легко объяснима. Он радуется, что увидит новую часть света, страну невообразимую, по описаниям путешествий — самую невообразимую из всех. Его радость проистекает из уверенности, что Америка, не знающая древности и средних веков, т. е. являющаяся варваром, так сказать, среди других стран света, ни в коем случае не ограничится тем, что в своем развитии догонит или перегонит Старый Свет, т. е. будет изобретать и усовершенствовать галстуки, жилеты и под-

тяжки, религии и косметику, и банки, и полицейских шпиюгов, и биржевые сделки, и шаблонные фильмы.

Что же касается опасений нашего друга, то они — личного свойства. Вот они: увидит ли вообще д-р Беккер эту Америку? Не окажутся ли выброшенными зря потраченные на путешествие деньги и время; может быть, д-ру Беккеру совсем не разрешат сойти на берег, и либо отправят со следующим идущим в Европу пароходом, либо задержат в лагере иммигрантов Ellis Island, на «Острове слез», пока не выяснят, что он аферист и мошенник, и не пошлют в тюрьму?

Да, наш друг — стоит ли нам вообще его так называть? — по-американским понятиям никуда не годен. Уже три раза ему отказывали в визе. В первый раз потому, что его паспорт был заклеен русскими отметками; как объяснили, из-за этого подозрительного обстоятельства надо было сперва запросить департамент по делам печати; д-р Беккер не пожелал доводить до этого. Когда же он в другой раз, в другом городе и с другим паспортом просил о разрешении на въезд, то уже не потребовалось никаких справок в департаменте по делам печати, чтобы сказать ему, что своими открытыми заявлениями: казнь Сакко и Ванцетти — варварское «убийство по всем правилам закона» — он на вечные времена лишил себя права вступить в страну обетованную, — в Америку. В третий раз, когда д-р Беккер думал, что его вина уже забыта, с ним произошло то же самое.

Друзья посоветовали ему попытаться счастья в американском консульстве в какой-нибудь другой стране или достать фальшивую визу, или получить настоящую при помощи взятки, или отправиться в путешествие с чужими документами и т. п. Д-р Беккер гордо отклонил все эти предложения и воспользовался только одним из них.

С его помощью он находился на борту английского парохода и на пути в Америку; благодаря этому, д-р Беккер ощущал определенную радость, в то же время опасаясь, что его по меньшей мере не допустят вступить в страну, не раз упоминавшуюся Колумбом. По этому у д-ра Беккера такие смутные

чувства; еще не объясняя их, мы уже достаточно о них говорили.

Д-р Беккер письменно удостоверил и подтвердил честным словом, что он вполне признает американскую конституцию, что он ничем не оправдывает насильственное свержение власти, что он не анархист и не коммунист...

Д-р Беккер наблюдал развращающуюся на пароходе жизнь.

В гавани Соутгемптон, еще во время пути вдоль английского берега, и до Шербурга, где на судно вошли пассажиры с континента, жизнь шла весело. Резвые девочки, пятнадцати-семнадцати лет на вид, прыгали по всему пароходу и занимались гимнастикой; у них развевались юбки и были видны панталочки. В курительной серьезные мужчины играли в кости, пили джиин, брэнди, виски и коктэйль. В салоне дамы играли на рояли, иногда кто-нибудь пел или танцевал. Молодые люди залисывали в дневник час отправки и отмечали перед доской, что судно сегодня покрыло 487 английских миль. За столом разговаривали, и скоро каждый знал о своем спутнике, куда он едет — в С. Луи или в Филадельфию — и который раз совершает морское путешествие.

В соседней комнате был накрыт стол для семей с детьми, и там же за отдельным столом сидел негр, немолодой уже, по виду образованный человек, в очках, и ел свой обед. Это удивляло некоторых европейцев; им объяснили, что американец не сядет за стол с colored man — с цветным. Если некоторые европейцы все еще удивлялись, то получали авторитетный ответ: «Поживите недельке две в Америке, и вы перемените свое мнение о неграх».

Сначала пребывание на пароходе было не скучно и поучительно. Но слишком скоро Атлантический океан, который, казалось, можно было охватить взглядом, начал давать себя знать.

На палубе стало пусто. В салонах и ресторане тоже. Каждый лежал на своем узком ложе, две доски предохраняли от падения. Это был скорей гроб, чем кровать, жалкий гроб бедняка, орудие пытки. В головах стояла принесенная пароходной прислугой корзичка, застланная бумагой; когда она

наполнялась так, что готова была лопнуть, ее заменяли другой. Кроме того, на четыре лица — два стакана воды для питья и полоскания, таз и два ночных горшка. Воздух там внизу — не превеличивая — был соответственный.

Прошло два-три дня, пока этот воздух и голод снова не выгнали людей наверх, хотя в таком состоянии было нелегко одеться и проковылять, шатаясь, несколько ступенек.

Раньше всех на посту оказались дамы, играющие на рояли, и дети, играющие под его звуки; на палубе принялись играть в пароходный теннис: мячом служит каучуковое кольцо, которое левят рукой и снова бросают через сетку. Были и другие развлечения: бросали кольца на прут и резиновые кружки на доску, покрытую номерами. Главный спорт — «Schuffle-board»: на расстоянии около четырех метров толкают деревянные кружки в отмеченную номером бутылку.

Снова завязываются разговоры, и многие высказывают опасения, что при высадке они встретят затруднения. Иногда американское бюро труда требует залога в 500 долларов для того, чтобы не обходили закона об иммигрантах и не отбивали бы работу у местного населения, иногда американский гражданин, указанный иммигрантом как поручитель, уклоняется от поручительства, и тому подобно.

Более опытные «ездок в Америку» рассеивают подобные опасения. Уже давно дело обстоит не так строго с иммиграционным контролем. Никто, у кого есть виза, не отсылается обратно. Только с большевиками долго не церемонятся. В этом отношении здесь неумолимы. Есть такие, которые всеми правдами и неправдами добьются визы, но до них всегда доберутся, ведь списки пассажиров раньше посылаются в Нью-Йорк, а там у полиции есть точнейшие иллюстрированные списки политически неблагонадежных всего мира.

Д-ру Беккеру это не нравится.

Д-ру Беккеру не нравится еще следующее: время от времени среди пассажиров менее состоятельного класса появляется коренастый молодой человек в нелепых роговых очках; он, правда, подтверждает, что он впервые едет

в САСШ, однако, он не стесняясь проходит через все запретные входы и выходы. Начав с предстоящих президентских выборов, он втянул доктора Беккера в политический разговор, и мы дрожали уже за д-ра Беккера, как бы он себя не выдал. Как охотно мы подошли бы и шепнули ему, чтобы он ни в коем случае не отвечал! Но д-р Беккер уже развивал незнакомцу свои политические убеждения, он смело и открыто признавал себя единомышленником «Berliner Acht-Uhr Abendblatt»; правда, он республиканец и демократ, — сказал д-р Беккер, — но он не хочет вступать в круг тех, которые лягают копытом свергнувших правителей, ведь они все самоотверженно служили благу подданных, и никто не думает о их возвращении.

Путешествие продолжается; и кажется, что постепенно турбины приходят в себя после морской болезни. Карта в курительной комнате показывает, что за день покрыто 530 миль.

Пассажиры третьего класса могут предпринять, хотя это и не разрешается, прогулку под привилегированным классом. Этот подводный путь от кормы к носу ведет мимо машинного отделения, оттуда пышет жаром, тяжелым, как удар кулака. На другой стороне коридора — кубрик и кают-компания экипажа; матросы сидят голые, отдыхая от чада и жара. На стенах висят предписания на случай тревоги, столкновения, пожара или тумана. Экипаж должен оставаться на посту, пока не будут спасены пассажиры. Плакат запрещает контрабандный ввоз в Англию морфия, кокаина, героина и экгоманина. Угрожает штраф до тысячи фунтов стерлингов и десять лет принудительной службы. Висят также правила стриховки от несчастных случаев.

В предпоследний день имели место похороны моряка; произошло это, когда пассажиры были заняты ужином, следовательно ни о чем не знали, и грустные размышления их не тревожили. Рабочий, приготовлявший пакеты для почтового парохода, который должен был притти на следующий день из нью-йоркской гавани, свалился в люк глубиной в тридцать метров и разбился на смерть. Ему было двадцать три

года, в Америке у него остались жена и ребенок, которые завтра, вероятно, будут ждать его на пристани, сняв от счастья. Тело зашили в кусок материи с грузом свинца, покрыли национальным флагом Великобритании, капитан прочитал молитву, и мертвеца спустили вниз на двух канатах.

Рабочие — от похорон снова к машинам, — проходили мимо пассажиров, которые как раз шли — от ужина на концерт — в салон и таким образом узнали о несчастном случае.

Так как председатель праздничного комитета был лицом духовным, то, открывая праздник, он вспомнил о покойном, умершем при исполнении служебных обязанностей, и произнес молитву; при начале молитвы все английские дамы автоматически поднесли руку к глазам, закрывая их в знак сочувствия. «Теперь же, — сказал пастор, — подумаем о более веселом».

Молодой человек продекламировал (плохо) главу из «Пиквикского клуба», дама, скривив нос, спела (плохо) арию из «Травиаты», двое детей протанцевали (плохо) чарльстон и купец из Чикаго рассказал (плохо) три анекдота об ирландцах.

На следующий день, последний день пути (но только для пассажиров I-го класса с американским правом гражданства — последний день на борту парохода), проходили мимо всевозможных ярко-красных бакефов, они были в форме кораблей и, подобно им, назывались «Nan tucket», «Fire Island». Море, прежде жившее только своей жизнью, ожило, показались суда, истребитель, казалось, направлялся прямо на нас. Все переменяли в кассе последние английские деньги на американские. Женщины отнесли обратно взятые напрокат одеяла, под которыми они лежали на лоншезах; с одеял сняли болтающиеся записки с фамилиями, похожие на бумажки с ценой в магазинах.

Дамы нарядились и намазались, в пожилых лэди можно было снова — и без ветра — узнать подростков из Соутгемптона.

Парикмахеру было много дела. Раньше у него только покупали запонки для воротничков и элексир для зубов. Теперь все брились и завивались. Спут-

ник д-ра Беккера по каюте, научивший его стричь ногти на ногах, не снимая чулок, достал из сундука два бриллиантовых кольца и жемчужную булавку для галстука и надел их: «Ради служащих по иммиграционным делам, — заметил он, — они тогда совсем иначе смотрят на человека».

Наступает вечер. Пловучие и простые маяки приветливо подмигивают, с Swinburne-Island приходит лодка с дежурным врачом, с контрольными часами в руках он пропускает мимо себя всех пассажиров. В половине седьмого закрывается бар в курительной комнате.

Направо ряд огней: как узнаем, Conney-Island, налево—Staten-Island. Навязчиво приветствует нас реклама жевательной резины: «Wrigleys here, Wrigleys there, Wrigleys everywhere»<sup>1)</sup>.

Также «статуя озаряющей мир свободы». Раньше мы видим ее в профиль, факел вытянут далеко вперед, фигура, освещенная с покся, целомудренно закутана складками одежды. Она стоит на Bedloe-Island, на острове, к которому еще не так давно выезжал весь Нью-Йорк, когда кого-либо вешали. Виселица упразднена, электрический стул стоит в Sing-Sing, а на Bedloe-Island — статуя Свободы.

И ужé: направо южная оконечность Manhattan Island с небоскребами!

Вечер. От фасадов видны освещенные прямоугольники. Можно считать много рядов, — значит много этажей, — и над ними сияют купола или шпильи. Но нет масштаба, — ведь не догадешься, что крохотные игрушки, лежащие без внимания на земле, — восьми-, десятиэтажные постройки.

Вечерняя встреча с небоскребами не подавляет, только очаровывает. Все кажется единым массивом; Монсальват на отвесной скале, зубцы горят, сторожевые башни пламенеют.

Мы едем вверх по Гудзону, вдоль самого города, мимо пятидесяти внушительных гаваней, но это не гавани, а лишь пристани нью-йоркской гавани.

Нас минуют длинные железнодорожные вагоны. Неужели они едут по воде? Это паромы.

Всюду огни и световые рекламы.

<sup>1)</sup> «Риглес здесь, Риглес там, Риглес всюду».

Пароход слишком велик, чтобы самостоятельно подойти к пристани. Поэтому происходит нечто весьма смешное. Восемь моторных катеров буксируют, иначе говоря, тянут его. Два из них впрягаются спереди, а два тянут судно сбоку, чтобы оно не теряло правильного направления, что само по себе не смешно; смешно то, что время от времени два катера с обязательными носами ударяют в его корпус со штирборда и с бакборда; если бы их нос не был обернут пенькой, они повредили бы и себя и нас; но этого мы не хотим, мы только должны удерживать направление к английской паровой пристани.

Внизу под нами стоят сотни людей и машут шляпами и платками и кричат. Но с британского судна на американский берег спускают только две сходни: одну для пассажиров первого класса, вторую — для багажа пассажиров первого класса.

Все толпятся там, где взглядом и голосом можно установить связь между ожидающими и ожидаемыми. Сцены узнавания, сцены свидания, сцены встречи... à distance<sup>1)</sup>.

Еще ночь на борту, и неприятная ночь. Выясняется, что шум работающей машины имел свои преимущества: теперь, когда она замолчала, слышишь не только храп и рыгание сокаютников, но и все звуки соседних кают. А привыкнув к дребезжанию машин, к качке парохода, чувствуешь морскую болезнь и головокружение от внезапного равновесия.

Процедура проверки паспортов и примет иммиграционной комиссией длится часами — с шести утра и далеко за полдень.

Д-ра Беккера, указавшего как род занятия «писатель», спрашивают, что он пишет.

— Я пишу только романы и новеллы.

— А о политике?

— Not at all!<sup>2)</sup> — отвечает он, улыбаясь.

Тогда ему разрешается сойти на пристань, где его ожидают три товарища с условными знаками, он представляется им...

## II. Канун выборов, день выборов и ночь после выборов президента С.-А. Соединенных Штатов

Джимми Уокер — бургомистр Нью-Йорка и человек лучше всех одетый в Нью-Йорке (хорошо одеваться так же важно в стране Равенства, как это важно для немецких студентов-корпорантов), — Джимми Уокер произносит в Times Square спич в пользу кандидата демократической партии Al. Smith'a. Его голос разносится далеко, его жесты выразительны, фразы закруглены и красивы.

Конная полиция поддерживает порядок: тысячи людей напирают на оратора, стремясь посмотреть на него, услышать его, оживить его речь репликами одобрения или протеста.

Джимми Уокер не реагирует ни на возгласы протеста, ни на возгласы одобрения. Он спокойно произносит свою речь. Заканчивая ее, он вновь начинает сначала — тем же тоном, с теми же выразительными жестами и теми же красивыми закругленными фразами.

Он говорит всю ночь, не уставая. Он находится здесь как бы не в собственной персоне, он лишь агитатор на Times Square. Во время его речи его снимают фильмовые операторы, звуки его речи увековечиваются на пластинке, и в вечерние часы на Times Square на экране будет показываться его фигура, а его голос будет передаваться громкоговорителем на далекие расстояния.

В полдень происходит парадное шествие через город кандидата-демократа Al. Smith'a. Впереди выступает отряд полицейских на велосипедах, затем следуют конные полицейские, за ними два пустых автобуса, на крышах которых восседают оркестры музыки, затем опять автобусы с представителями прессы и с фильмовыми операторами.

За ними, наконец, открытый автомобиль, на заднем возвышении которого восседает сам кандидат Смит. На нем светлокоричневая шляпа-дерби, шляпа, которую он сделал столь популярной и которая, в свою очередь, благодаря ему, стала столь популярной, что все витрины в магазинах заставлены светло-коричневыми твердыми шляпами с пря-

<sup>1)</sup> На расстоянии.

<sup>2)</sup> Совсем ничего.

мыми полями. Смит машет то правой, то левой рукой и едет дальше, не обращая внимания на то, ликует толпа или свистит. За ним следует в автомобилях кортеж оплаченных и неоплаченных выборщиков с большими плакатами в руках.

Это и есть «большой парад». Целые столбцы газет были посвящены этому ожидаемому параду. Вечерние газеты дадут подробнейшие отчеты о нем. Что, собственно говоря, случилось? Один из кандидатов проехал в сопровождении музыкантов по улицам Нью-Йорка.

«Смит проехал по улицам Нью-Йорка» — вот все, что случилось. Пирамиды 50-этажных домов с их 3.000 окон, со всеми их плоскими крышами и башнями со всеми поднимающимися на головокружительной высоте незащищенными карнизами, усеяны людьми. Эти люди счастливы, что могут на несколько минут оторваться от прилавка, от счетной машины, от рабочего стола и, выглядывая на улицу, кричать и бросать вниз замечательные, чисто-американские бумажные змеевидные ленты и замечательное, чисто-американское конфетти.

Эти змеевидные бумажные ленты не что иное, как бесконечные бумажные полосы телеграфных приемников, установленных в каждой конторе и сообщающих о биржевых курсах и о состоянии рынка. Конфетти же представляет собою изорванные в клочки прошлогодние телефонные книги Нью-Йорк-Сити, Бруклина и Нью-Йорк-Себербен. Эти книги, вопреки правилам, не возвращаются телефонным обществам, а сохраняются для того, чтобы изорвать бумагу их на клочки и осыпать этими клочками спортсменку, переплывшую канал, или летчика, перелетевшего океан, или, по меньшей мере, кандидата в президенты Соед. Штатов. Эти обрывки печатной бумаги носятся в воздухе, свисают со строгих фасадов и падают на улицы, покрывая их по колено — во время шествия претендента на его пути к власти и славе — устаревшими биржевыми курсами и телефонными адресами за минувший год.

Поперек улиц расставлены знамена с именами кандидатов. Некоторые дома

украшены флагами с портретами кандидатов. На клубах каждый вечер вспыхивают освещаемые цветным электрическим светом новые лозунги. На всех углах раздаются летучки на английском, итальянском, французском, русском, немецком, еврейском, польском и греческом языках (в указанной последовательности). Плакаты же составлены лишь на одном каком-нибудь языке — в каждом районе, однако, на другом.

В Харлеме — районе негров — вечером происходит парад в честь Гувера — «партийного товарища Авраама Линкольна» (это удачный лозунг, так как имя Линкольна — освободителя негров — здесь свято). Шествие движется через Lenox Avenue мимо сотен кино, певческих зал, кабачков speak-easy, музыкальных магазинов и ломбардов. Медленно двигающиеся автомобили до отказа увешаны людьми, в глубине автомобилей сидят элегантно одетые негры — дамы и мужчины, — а на подножках — бедные черные чертенята, машущие знаменами и выкрикивающие: «Голосуйте за Гувера», «голосуйте за Гувера». Среди этих автомобилей движется и грузовик, на котором разместились оркестр. Странным образом, — а может быть, это так и должно быть, — в этом музыкальном оркестре нет ни саксофона, ни баньо и никакого другого инструмента джаззового оркестра, только скрипки, брачи, трубы и тарелки. И все нанятые неграми музыканты — белые.

Окна большого углового магазина на Бродвей оклеены афишами с надписями: «Если вы не верите тому, что Ку-Клукс-Клан ведет пропаганду против Смита, то вы должны войти сюда и сами убедиться в этом». Мы входим и рассматриваем доказательства этого положения: газеты, осмеивающие католицизм Смита, карикатуры: папа римский везжает в Америку на плечах Смита; Смит из Белого Дома призывает к себе целые сбны иезуитов. Стены разукрашены надписями, полемизирующими с Ку-Клукс-Кланом и подчеркивающими, что нельзя затрогивать религиозных верований дру-



Оба претендента — Гувер и Смит — наперебой выступают в кино, — их можно видеть на больших фильмах, они идут отдельными номерами в мюзик-холлах, их видишь повсюду, подобно тому, как повсюду бросается в глаза реклама о жевательном каучуке Риглей. И тут и там, и повсюду — куда ни кинешь взгляд! Дома, на улице, на трибуне!

Они оба выступают также с докладами по радио. Почти в каждой отдельной квартире Америки радио-абоненты имеют возможность целый час слушать извлечение из речи Гувера в Madison Square, в следующий час абонент наслаждается речами Смита в Бруклине. В каждой квартире, в которой имеется этот божественный дар — радио, слышны все возгласы одобрения, все враждебные протесты и свист собрания. Если шум после какой-нибудь удачной фразы слишком затягивается, то кандидат в президенты обращается к публике со словами: «Друзья, мы не будем занимать предоставленное в наше распоряжение драгоценное время разглагольствованиями собрания!».

Он прав. Время, предоставляемое оратору радиостанцией, оплачивается чрезвычайно высоко — 30.000 долларов в час! Между тем, каждый вечер передаются по радио не только речи самих кандидатов, но и речи партийных лидеров.

Сегодня, однако, совсем особенный день, — сегодня день выборов! Весь день царит спокойствие, как перед битвой. Все и всё шествуют обычно в этот день к урнам. Но жители Нью-Йорка не шествуют, а тянутся бесконечной автомобильной вереницей, и не к урнам направляются они, а к машинам, регистрирующим избирательные голоса.

В каждом избирательном районе имеются три-четыре машины. Змеевидные цепи избирателей перед машинами врезываются друг в друга, смешиваются, однако, каждое звено этой живой цепи знает свое место в ней. Распорядители со стороны обеих партий, — их можно отличить по значкам, — вертятся тут же с моделями регистрирующей голоса машины и объясняют избирателям, что им надо сделать, чтобы

машиной был засчитан голос за их кандидатов (за их кандидатов! во множественном числе! Избираются не только президент, но также и вице-президент, губернатор, сенатор, верховный судья, верховный прокурор и один член конгресса).

Вот очередь дошла до избирателя. Его имя проверяется по спискам, после чего он попадает в закрытую будку, где находится регистрирующая машина. Тут, отрезанный от всего мира, он может, наконец, осуществить писанное право свободного американского гражданина: нажать каждую пару лет на шесть кнопок машины, способствуя таким образом избранию своих кандидатов. После этого он спокойно направляется домой. Все происходит в образцовом порядке.

Только к вечеру начинается настоящее движение и оживление. Times Square, представляющий собою отклонение от Бродвея, и в нормальное время является самым бойким на земном шаре местом сборищ, увеселений, балаганщины. В этот же день — в день выборов — сюда стеклись буквально сотни тысяч людей, чтобы узнать о результатах выборов. Нью-йоркская полиция, подкрепленная отрядами из Бронкса и Бруклина, пытается как-нибудь поддержать порядок на 7-ой Авеню, между 40 и 59 улицами. Каждый из присутствующих имеет при себе заливчатый свисток или барабан, или трещотку, как-будто бы недостаточно одних возгласов, издаваемых этими сотнями тысяч единомышленников. Дети бьют в цинковые тарелки и эмалированные миски, изображающие литавры. Шоферы сдают в наем места на крышках автомобилей. Нет ни одного окна в конторах и учреждениях, которые бы не осаждались любопытными, — несмотря на то, что сегодня праздничный день и что даже в будни в эти часы учреждения уже закрыты. В садах, разбитых на крышах домов, так тесно, что яблоку негде упасть.

Каждое новое сообщение, появляющееся огненными буквами на 8-м этаже здания, занимаемого газетой «Times», вызывает невообразимый гул толпы, передаваясь в другие боковые

улицы, в те массы, которые не в состоянии сами увидеть выскакивающие на фасаде здания новости.

Ровно в 12 часов и одну минуту полуночи представление заканчивается. На стене здания «Times» появилось залитое красными огнями электрических ламп сообщение из Ardmore, Oklahoma: Гувер получил только что в Миссури большинство голосов, он получил 266-й голос, который необходим для коллегии избирателей. Коллегия избирателей должна состоять из 581 человека, таким образом, 226-й голос дал перевес Гуверу и решил вопрос в его пользу.

Людские толпы расходятся — со свистом, ревом, с ликованием и музыкой, тихие и разочарованные.

На следующий день все газеты полны исключительно Гувером, его жизнью, его семьей, результатами выборов и отчетами о ходе выборов.

За Гувера подано 22 миллиона голосов, за Смита — 17 миллионов. Сорок звезд американского флага (Gösch)<sup>1)</sup> зажглись для Гувера и только восемь для Смита.

Целые состояния были выиграны и проиграны в пари, на бирже было продано 5 миллионов акций.

Что же, собственно, произошло? В президенты Соед. Штатов был избран кандидат республиканской партии против кандидата демократической партии. Но демократическая партия, естественно, насквозь пропитана республиканским духом, республиканская же партия, конечно, не позволила бы никому считать себя менее демократической, чем демократическая партия.

Генетическое различие между обеими партиями, т. е. то обстоятельство, что демократы являлись когда-то представителями собственников плантаций в Южных Штатах и мелкой буржуазии в городах, имеет в данном случае так же мало значения, как и тот историко-политический факт, что демократы в свое время вели борьбу против высоких запретительных пошлин.

Каждый из «домогающихся» места кандидатов выступал с особыми политическими лозунгами-приманками.

Однако, Гувер, одержавший победу на этих политических гонках благодаря своим трем лозунгам, начинающимся по-английски буквой П Prosperity, Protestantism, Prohibition (что значит — благоденствие, протестантизм, запрещение алкоголя), благоразумно не подчеркивал своего протестантизма. Вместе с тем в программу Смита, также как и в программу Гувера, входило благоденствие и процветание страны. Смит также был за сохранение закона о запрете алкоголя, правда с оговоркой, что под «опьяняющие напитки» должны быть отнесены напитки, содержащие на 2 проц. алкоголя более, чем это допускает старый запрет. Вместе с тем изменить этот закон не в силах ни один президент, так как изменение, внесенное президентом в действующие законы, противоречило бы конституции Соединенных Штатов.

Смит также готов был изъять право на эксплуатацию водных сил из рук частной спекуляции, обещая как и Гувер, использовать водные богатства в интересах наибольшего преуспевания страны.

В программах обоих кандидатов нет никакого различия, это различие едва ощутимо и в избирательных лозунгах!

Выбор того или иного кандидата не является также и персональным вопросом: никто не может предвидеть, не может предсказать, как тот или иной кандидат, став президентом, в состоянии будет противостоять различным влияниям.

Единственным президентом, имевшим свою твердую программу, был Вильсон.

«Ни один американский государственный человек не смеет быть столь бесчестным и бесхарактерным, чтобы под тем или иным предлогом, втянуть С.-А. Соед. Штаты в мировую войну». Благодаря лозунгу «He kept us out of the war», Вильсон был переизбран в президенты, несмотря на колоссальную агитацию Антанты про-

<sup>1)</sup> На американском флаге изображены 48 звезд, по числу штатов.

тив него. Что же сделал вновь избранный президент? Он объявил войну (с тех пор ни один демократ не имеет успеха в Америке).

Таким образом, выборы президента не являются также и персональным вопросом! Исход выборов зависит исключительно от могущества той или иной партии.

Комитеты обеих партий истратили на предвыборную агитацию восемь с половиной миллионов долларов, не считая тех миллионов, которые были затрачены в штатах.

Исход выборов — повторяю — это вопрос могущества партий, преследующих лишь деловые цели.

Но 40 миллионов избирателей не приходят от этого в отчаяние!

— Что, собственно, изменится от того, — спросил д-р Беккер своего взволнованного соседа в вечер выборов, — что изменится от того, окажется ли выбранным Смит или Гувер?

— О, — ответил сосед — выбор Смита или Гувера вызовет такие же изменения в жизни С.-А. Соед. Штатов, какие произошли, когда всемирным чемпионом бокса был выбран Тенней вместо Демпсея...

### III. Банк в Уоллстрит

По пути за получением денег по чеку д-р Беккер проходил через Уоллстрит.

Ему казалось, что обитатели какого-то павильона для буйных помещаных, каждый из которых убежден в том, что он совершенно нормален, собрались на праздник под девизом: «у настоящих буйнопомещаных».

Быть может, он попал в кровавый водоворот революции или на место массового убийства?..

— Что тут случилось? — спросил д-р Беккер.

— О, ничего особенного, просто на бирже сегодня вяло и поэтому здесь так спокойно.

Покачав головой, д-р Беккер продолжал свой путь в Chaisebank, о котором он в Европе никогда ничего не слышал.

Из 19 подъемных машин он выбрал ту, на которой была надпись: «Экс-

пресс». «Ведь мое konto, — думал он, — должно быть в важном отделении, у которого и экспресс-лифт обязан остановиться». Так д-р Беккер поднялся в 35-й этаж. Это обстоятельство, с одной стороны, покорило его (он бы скорее ожидал, что его konto находится в более знатном этаже), но, с другой стороны, оно успокоило его насчет солидности предприятия: ведь какой-нибудь заухудший банк не выстроил бы себе такого небоскреба.

Впрочем, счет его оказался не наверху, и он должен был на другом экспресс-лифте спуститься все 35 этажей вниз, чтобы навести более точные справки у швейцара. К его удивлению, он, однако, спустился вниз не на 35, а на 39 этажей. Загадка разрешилась лишь когда он вышел из лифта и узнал о существовании подземных этажей.

Д-р Беккер находился теперь у тех помещений, которые в странах, где не говорят по-английски, называются английским словом «safes», но здесь их называют «vaults». Он осматривал их с большим любопытством, но в то же время и его самого разглядывали весьма подозрительно. Его даже спросили, имеет ли он здесь свой ящик. Он дал отрицательный ответ на этот вопрос и объяснил, что он зашел сюда на этот раз не ради сейфа, а по личному делу, и представился, как крупный клиент банка. Тотчас же на лице банковского служащего появилась строго предписанная в обращении с клиентами улыбка, и он стал объяснять д-ру Беккеру оборудование помещения и прежде всего описал дверь, механизм которой глупейшим образом напомнил д-ру Беккеру устройство средневековых башенных часов с подвижными фигурами.

Дверь эта, как узнал д-р Беккер, сделана из нержавеющей стали, имеет толщину 1 метр, весит 45 тонн и запирается по вечерам тремя служащими, которые ее, однако, могут снова открыть лишь в час, точно устанавливаемый старшим контролером на часовом механизме.

Д-ру Беккеру, как человеку, несколько знакомому с техникой преступников, было совершенно ясно, что все эти меры предосторожности приняты были только для успокоения арендаторов сейфов, а не против воров, и что даже бронированное помещение более старой системы, как, например, европейский сейф, дает так же много или, лучше сказать, так же мало гарантий против налетов и взломов.

Д-р Беккер, однако, ничем не выдавал своей уверенности. Наоборот: хотя он и не знал в истории криминалистики ни одного случая употребления шифра при вскрытии сейфа, он притворился крайне удивленным, когда ему показан был один оптический трюк, состоящий в том, что включенный шифр могло видеть только включающее его лицо, но не стоящее с ним рядом или любопытно заглядывающий сосед по сейфу.

По словам служащего, здесь хранилось около 3 миллиардов долларов наличными, а также в бумагах и ценностях. Но интересно было слышать, как все эти богатства доставлены были в эти помещения. Восемнадцать броневиков с пятью полицейскими с газовыми бомбами, вызывающими слезотечение, и пулеметами проезжали из старого здания банка между шпалерами сыщиков. Только в одном из броневиков находилась заманчивая кладь, остальные 17 лишь конвоировали его.

Сейчас для д-ра Беккера важно было получить деньги по чеку. В первом, но, понятно, все еще подземном этаже над самыми сейфами д-р Беккер увидел себя окруженным двумя или тремястами в большинстве своем молодых людей, которых он при первом взгляде счел за разбойников с большой дороги, но по их крику узнал в них биржевых дельцов. Эти люди не были высокомерными или сдержанными. Столпившись вокруг д-ра Беккера, не знаящего, беседует ли он с Пирпнотом Морганом или Джоном Рокфеллером, стали доверчиво делиться с ним деловыми тайнами, как, например, той, что окошко, за которым сидит банковский служащий, сделано из непроницаемого для пуль стекла, или что тонкая мра-

морная стенка, отделяющая помещение для служащих от зала для посетителей, изнутри выстлана пластинками из броневой стали, гарантирующими против взлома.

Для чего здесь собрались все эти биржевые маклера, д-р Беккер догадался по надписи «ночные вклады». Тут же ему было предупредительно сообщено, что заложенные за наличные деньги или сданные на хранение на ночь ценные бумаги обеспечиваются не только против револьверных пуль и инструментов налетчиков, но и против обесценивания. Благодаря специальному осведомительному бюро, которое извещает банк не позже 20 минут после обнаруживания растраты, раскрытия банкротства или самоубийства какого-нибудь контрагента, банку еще удастся сплавить его залог по возможно сходной цене.

Затем д-р Беккер поднялся вверх. К своему удивлению, он нашел все помещения свободными для доступа, а задвижные двери, которые почти повсюду заменяли стены, открытыми. Совершенно никем незамечаемый, он проходил по пушистым коврам в пыльных залах, мимо девиц у беззвучных пишущих и счетных машин, мимо конфеирующих, диктующих, спекулирующих или отклоняющих кредиты директоров. Его беспрепятственная прогулка возможна была лишь потому, что в открытых для публики помещениях между посетителями и чиновниками, кроме кассиров, не было перегородок.

Д-р Беккер вошел без задержки и в зал заседаний, где лежали приготовленные блокноты и хорошо заостренные карандаши. Этот красивый зал имел форму полуэллипса и был, по видимому, копией зала верховного суда в Вашингтоне. По сверкающим золотом плакатам, прикрепленным к клубным креслам, д-р Беккер мог узнать имена кардиналов этого финансового собрания.

В телефонной комнате д-р Беккер насчитал двадцать пять спин девиц, которых он спереди видеть не мог, так как они сидели лицом к испещренной отверстиями стенке. Да даже если бы было наоборот, д-р Беккер имел бы ма-

ло удовольствия от вида этих девиц, так как у каждой из них на рот был одет микрофон, а на ушах торчала слуховая трубка.

— Сколько телефонных соединений? — строго, как контролер, спросил д-р Беккер даму-наблюдательницу. Дама тотчас же сложила губы в любезную улыбку и ответила:

— 150 государственных станций, 900 добавочных и 100 прямых проводов на биржу и в филиалы.

Не смущаясь улыбкой дамы, д-р Беккер продолжал допрашивать:

— Сколько вызовов в день?

— На прошлой неделе ежедневно в среднем было 27.500, максимум 31.200.

— Благодарю вас.

Д-р Беккер твердо прошел в смежное помещение. Он не был поражен тем громадным аппаратом, который здесь стоял. Что это скоропечатающая или размножающая машина, он знал. — Как ваша работа? — спросил неопределенно д-р Беккер. Пресс застопорил. — Для воспроизведения, проявления и копирования нам требуется одна минута с четвертью. — Лицо д-ра Беккера сохраняло свое критическое выражение. — А что вы воспроизводите? — спросил он, указывая на загадочный для него аппарат-великан. — Фотостат изготовляет копии векселей и входящих документов. — Благодарю вас.

Затем инспектор д-р Беккер зашел в помещение, заполненное трубами. — Объяснить! — Здесь центральная станция электрического почтового сообщения между отделениями при помощи труб. В среднем мы имеем 8.000 отправлений ежедневно. — Ольрайт.

И в «крематории», где оплаченные купоны сжигались при полной пожарной безопасности и гарантии от воров, д-р Беккер нашел все в порядке. Он попросил объяснить устройство перегородок, которые в случае пожара отгораживали каждое отделение и оставляли открытыми лишь вход в горящую кабину. В раздевальне для служащих он нашел, что шкафы устроены остроумно, особенно же понравилось ему приспособление, благодаря которому повешенный снаружи зонтик может быть

снят только изнутри. В кассовом зале ему сообщили, что кассы пропускают ежедневно 3.000 клиентов. «Ольрайт!» — сказал на это д-р Беккер.

Здесь же д-р Беккер заметил надпись над одним столом: «кредитные письма». Ему некогда было медлить и размышлять о том, не оставить ли пока свои деньги в этом, повидимому, заслуживающим доверия банке. Деньги ему как раз были очень нужны.

Долго не рассуждая, д-р Беккер взял все 100 долларов, обозначенных в его кредитном письме, и, таким образом, отказался от сверкающего золотом плаката с его именем, которое в противном случае, быть может, когда-нибудь красовалось бы на клубном кресле в полуэллиптическом зале заседаний правления банка.

#### IV. Трамвай ходит по морю. Беккер называет его сумасшедшим ящиком

Это ведь сумасшедший ящик!

Хотя мы и не склонны считать каждое замечание, которое д-р Беккер пробурчит про себя, за евангельскую благовесть, мы должны все-таки признать, что на этот раз он был совершенно прав.

Это действительно сумасшедший ящик!

Уже этот пароход, на котором мы находимся...

Нет, уже эта пристань, с которой мы в него попадем... Что же это за пристань? Выглядит она, как триумфальные ворота с тремя пролетами: двумя для пешеходов и одним для грузовиков, автомобилей, мотоциклетов и других средств передвижения. Открыта также для прохода и верхняя платформа. И вот каждые 15 минут, как только открывается задвижная дверь станции Заутс-Ферри, целые потоки автомобилей устремляются через средний пролет, а две тысячи пешеходов — через верхнюю платформу и через боковые пролеты этого подобия Бранденбургских ворот в Берлине. Они стоят уже над водой. Если бы передний ряд двинулся на один шаг вперед (здесь имеется, однако, решетка!), то они полетели бы в море, да, прямо в море, в

Атлантический океан, так как здесь место слияния Гудзона с Ист-Райвером.

Однако, если передние ряды входят и за ними напирющие сотни рядов делают шаг вперед в ту минуту, когда поднимается решетка, то они в действительности не падают в воду, а попадают на только что причаливший пароход, нижняя палуба которого представляет теперь точное продолжение сводчатых проходов, а верхняя — платформы триумфальных ворот. Первый автомобиль продвигается от кормы к носу, за ним следуют другие, первые ряды людей теснятся от кормы к носу, за ними протискиваются остальные.

От кормы к носу? Бессмыслица! У этого парохода нет ни носа, ни кормы. Есть только корпус, который дает место людям за проездную плату в 5 центов и экипажам за 35 центов. Корпус парохода имеет, значит, все права на существование. Но к чему заостренные концы спереди и сзади? Поэтому-то вьючному животному и отсекаются его передние и задние ноги: хватит одного туловища! Перед нами, таким образом, полое призматическое тело, его основание на волос точно прилаживается к палубе пристани, а его крыша — к ее верхнему этажу. На другом берегу морской бухты повторяется то же самое, так что и поворачивать не надо.

Значит, не пароход, а ящик. И чтобы уж незаконно воспользоваться процеженным через зубы замечанием д-ра Беккера, можно сказать: сумасшедший ящик!

Представьте себе вагон трамвая, который проходит не по улице, не по рельсам, да и вовсе это не вагон и вообще ничего общего с трамвайным вагоном не имеет. Есть? Хорошо, умножьте его теперь на .50. Есть? Хорошо. Теперь вы можете получить представление об одном из паромов, которые каждые четверть часа перевозят людей из Мэнгэтэна, этого уютного острова нью-йоркского Сити с его пятью миллионами дневных и ночных тружеников, на другие острова, на сушу, в Гобокен, Нью-Дулрсей, Унгевкен, Стейтен Эйленд, словом, во все те места,

которые являются спальнями Нью-Йорка.

В половине девятого утром и в половине шестого вечером вливается поток сменяющихся рабочих в паромы, на каждом из которых согласно расклеенным объявлениям имеются места для 1.600 человек, но которые в это время поглощают 2.000 пассажиров ради спасения людей от жестокосердия контральных часов на фабриках.

Сумасшедший ящик, который после 5 часов отчаливает от Зауст-Ферри, переправляет комюторов (живущие вне Мэнгэтэна нью-йоркские труженики) на Стейтен-Эйленд. Каждые четверть часа две тысячи, скорость 9 узлов!.

Оглядываясь назад, на берег, можно видеть прежде всего фронт двухэтажной пристани, которая теперь напоминает не Бранденбургские ворота, а яркий портал громадного цирка.

Позади видны небоскребы. Чем дальше паром отходит от берега, тем больше вышек толпится в поле зрения, тем теснее они сдвигаются, образуя массив из скал. В стороне рвутся к небу, подобно заблудившимся великанам, здания Уайтхолла и телефонного общества. Ранние сумерки. В лучах вечернего солнца искрятся окна, как кристалльный шифр или ледник на альпийских высотах. Возможно, что брошенное д-ром Беккером замечание: «сумасшедший ящик» — и относилось к этому виду южного конца Мэнгэтэна, к этому несомненно чудовищному ландшафту, созданному рукой человека.

Трамвай движется дальше по морю. За оконными стеклами стоят и сидят люди, покрытые длинными полотнищами... нет, это только газета, которую каждый держит перед собой и которая вплотную прилегает к соседям. Эти люди читают отчеты о скачках и о соревнованиях, при которых они не были, о светских приемах у лэди такой-то, на которые их никогда не пригласят, о новых театральных пьесах, которые они не могут видеть, о биржевых курсах и об акционерных обществах, от которых они так же мало имеют, как от прибылей тех предприятий, на которые они работают.

Девушки выглядят теперь иначе, чем днем в метро. Там они сидят с веселыми глазами, запрокинув одну ногу на другую, и радуются своему влиянию на мужчин. Здесь же они с'ежились, голова прижата к груди, глаза закрыты, нижняя губа некрасиво отвисает...

На каждом пароме между Сити и предместьем маячат туда и обратно двое мужчин с сапожными щетками, болтающимися на руках, и скамеечкой под мышкой. Их расчет правильный: если уж американец вынужден сидеть спокойно, если он уж ничего другого делать не может, как жевать резину (это занятие не имеет ничего общего с непрерывным лужанием семечек в России, а говорит о нервозности постоянно жаждущего деятельности американца), и вчитываться в радужные газетные сенсации, то он хочет использовать время хотя бы для того, чтобы дать почистить сапоги.

Однако, по вечерам у мужчин, вооруженных сапожными щетками и скамеечками, работы мало. Ведь тому, кто едет на ночную работу или в постель, свежесчищенные сапоги не нужны.

Как вода из садовой лейки, разбредается вся толпа в разные стороны, когда паром причаливает к потубережным триумфальным воротам... В середине мчатся автомобили, направо, налево и сверху вихрем несутся люди к трамваям, к автобусам, к поездам.

Сумасшедший ящик опустел, но лишь для того, чтобы сейчас же наполниться двумя тысячами свежих пассажиров, проделывающих обратный путь.

Это тот же самый путь, и ведет он совершенно точно к прежнему месту отчала, а все же это другой путь, да и место отчала стало другим... Ведь наступили потемки, потемки Нью-Йорка!

Запылали световые рекламы. Колгейт показывает время на пламенном красном циферблате, Скуйб лезет в глаза своим «магnezия-молоком», слабительным средством и в то же время панацеей против всех болезней. Проектор бросает снопы лучей прямо в глаза пассажирам на иностранных кораблях и влечет их внимание к месту его стоянки: отель ст. Джордж!

Огневые уличные бои между зубной пастой и зубным порошком, между резиной для жевания и конфетами, между мылом и кремом для бритвы, гражданская война между разными сортами папирос—все это здесь на воде превращается в морское сражение.

Вблизи казавшийся грозным, скалистый остров превратился в фантастическую драгоценность, висящую на двойной жемчужной цепи: на освещенных мостах, ведущих в Бруклин, он стал семейной драгоценностью с черными вставками, с пылающим бриллиантом в середине,—мы знаем, что это шпиз здания Уильвортса, с двумя сапфирами Стандарт-Ойла, с рубином треста Эквитэбл. А на этой драгоценности лепится и сверкает, как черный алмаз с блестящими фасетами, небоскреб телефонного общества.

Но если бы даже все это и было драгоценностью из жемчуга и алмаза величиной в эти здания, то и тогда оно не было бы так ценно, как шкатулка из кирпича, к которой, быть может, относилось выражение д-ра Беккера «сумасшедший ящик!».

## V. И это называется футбол

— Опасная игра — этот американский футбол!

Д-р Беккер констатировал это уже тогда, когда он, — это было в субботу, ровно в половине второго после обеда,—стоял на перроне подземной дороги, чтобы отправиться на состязание между нью-йоркским и миссурийским университетами.

Он никогда еще не видал американского футбола.

Однако, взгляд, что «этот американский футбол»—грубый и опасный для жизни спорт, установился у него,—это было, как, может быть, уже упомянуто, в субботу, ровно в два часа после обеда,—твердо и непоколебимо. Не так твердо стоял сам д-р Беккер: в начале как клином вколоченный в плотное единство ожидающих, он постепенно был отнесен к краю перрона, так как несколько передних рядов уже завоевали себе места в поездах подземной дороги, они втискивали выходящих пассажиров, несмотря на их сопроти-

вление, проклятия, работу ногами и боксерскими приемами, обратно в вагоны и сами врывались во внутрь. Он висел теперь, в субботу, ровно в половине третьего после обеда, косо к направлению рельс, крепко держась за соседей.

Замкнутыми колоннами притекал народ к стадиону: автомобилисты на своих машинах, пешеходы пешком, совершенно как у нас, так что об этом, строго говоря, упоминать не приходится.

Зато нам совершенно чужд тот факт, что здесь люди с опасностью для жизни и самопожертвованием, на которое со времен Арнольда Винкельрида в борьбе за существование способен только деловой мир Америки, преграждают путь автомобилям и шипящим голосом приказывают или, если это не помогает, начинают заклинать и молить шоферов завернуть к ним. Они платят аренду за свои места, и эти расходы можно вернуть только по субботам: отсюда понятно это презрение к смерти. Но автомобили преодолевали препятствия на своем пути своими упругими, как сталь, резиновыми шинами.

Оцепенелый от удивления, появился д-р Беккер на стадионе. Ды мы и не можем сердиться на него за это. Вместе с тысячами людей он теснится в подземной дороге, в цепи десятков тысяч людей и тысяч автомобилей прошел он последнюю часть дороги, а тут вот места для зрителей стоят пустыми!

Ведь здесь приходится употребить слово «пустой», там, где незанятыми остались сорок тысяч мест!

Этот факт нисколько не меняется от того, что занятых было сорок пять тысяч мест. Ведь Янки-стадион вмещает восемьдесят пять тысяч человек (Берлинский 30 тысяч), а сейчас пустует почти что половина из них.

Пока еще военная капелла с барабанами и трубами исполняет на площадке вереницу маршей. Но это в действительности не военная капелла, а обрядовая в мундиры студенческая музыкальная банда нью-йоркского университета, да и полковой тамбур, в высокой белой шляпе с пером над стро-

гим лицом, в своей частной жизни — колледж-бой. Музыканты, семена ногами, уходят. Рукоплескания.

В манеж влетают миссурийские игроки. Рукоплескания. Их тридцать. В игре в каждый данный момент участвуют, правда, лишь одиннадцать человек, но непрерывно должны вступать в действие заместители, мы все это потом увидим.

И вот появляется нью-йоркская команда со своими заместителями. Бурные рукоплескания. Нью-йоркцы одеты в фиолетовые сорочки и оливково-зеленые штаны, на гостях из Миссури оранжево-красно-черный в полосках дресс. Все играющие носят шлемы: туземные—белые, а миссурийцы—золотистые. Особенно массивные кружки защищают уши: при приличных играх уж не бывает того, чтобы играющие отрывали друг другу уши.

Кроме всего этого, игроки плотно обмотаны ватой под одеждой, что не нравится д-ру Беккеру: футбол с бинтами и бандажами, по его мнению, лишен логики.

Появляется рефери, своего рода помощник судьбы. Оживленные рукоплескания. Появляется эмпайр—своего рода главный судья. Бурные рукоплескания.

Однако, уже давно пора кое-что сказать об истории происхождения и о видах несколько раз упомянутых — «рукоплескания», «оживленные рукоплескания» и «бурные рукоплескания».

Дело обстоит так: у наружной черты стоят симпатичные молодые люди, которых официально титулуют—«чирлидерс». Эти организаторы оаций, вооруженные мегафонами, становятся до и во время игры перед отдельными секторами публики и выкрикивают благим матом, какой команде или какому игроку сейчас надо аплодировать. Покончив с провозглашением, они кладут в стороны громкоговорители и начинают дирижировать коллективным выражением восторга, проделывая при этом всякие гимнастические упражнения: глубокие сгибания колен, выбрасывание рук вверх и в стороны. Обычай и ритм этих радостных возгласов, повидимому, древнеиндийского происхождения. Чаще всего раздавал-



ся поощряющий возглас в честь миссургийского бека по имени Розенгейм и в честь левого бека из Нью-Йорка по имени Джерри Немечек.

Ра, ра, ра,

Сэйс, бум ба,

Н. И. У., Н. И. У.

Немечек, Немечек, Немечек.

(Без гарантии за правописание.)

Этот мяч совсем не круглый, как нормальный европейский. Он имеет вид сливы, при том сливы не зрелой и не крупной, а приостренной на обоих концах.

У середины средней черты неподготовленного д-ра Беккера испугала детонация: взорван заряд пороха, игра начинается.

Американский национальный спорт называется в стране просто «футбол», как-будто, с одной стороны, не существует другого футбола, а с другой, как-будто бы это была игра при помощи ног и мяча. Правда, в Америке, встречающийся и в Европе, футбол культивируется частью в парниках (профессионализм), частью на свободе (любительство). Однако, эти игры здесь никогда не называются «футбол», а «сокцер», что представляет собою искаженное слово «ассоциэйшен» (ругби в Америке не играют, хотя т. н. футбол позаимствовал у ругби некоторые свои элементы).

Игра протекает в четыре срока, по пятнадцати минут каждый. Поле имеет длину в 100 метров и через каждые 5 метров по нему проведена черта. Имеется двое ворот (гол), но поперечная перекладина покоится не на верхних концах стоек, а прикреплена по середине их, так что получается форма буквы Н. Гол, однако, не означает непреходимой границы, как это имеет место на разумных материках, наоборот: он играет второстепенную роль и находится вне самой площадки игры.

После начинается у первой, на 5 метров от гола удаленной и поперец через всю площадку пробегающей черты, так называемой гол-линии. Команда, которой удается пронести мяч через линию гола противника, выигрывает «тоучдаун» — значительный успех, соответствующий нашему вы-

игрышу ворот и оцениваемый в шесть очков. Команда, выигрывшая тоучдаун, имеет право через одного из своих игроков бросить мяч на 20 метров расстояния в «мейль». Если мяч перелетит над поперечной перекладиной, то это хорошо и оценивается в дальнейшее одно очко.

Сторона, которая выбрасывает мяч, имеет право на дальнейших два удара, а после этих трех «шагов вперед» она должна пронести мяч еще, по крайней мере, на десять шагов дальше вперед. Если перенос мяча на руках не удастся, то его гонят ногой вперед. Если мяч перелетает через перекладину ворот, то это оценивается в 3 очка.

Таким образом, мяч все время нести или, вернее говоря, пытаются нести, так как все одиннадцать игроков противной стороны стремятся к тому, чтобы помешать противнику пройти десять шагов вперед, не говоря уже о том, чтобы перешагнуть линию гола.

Как же они препятствуют этому? Они бьют своими головами, покрытыми шлемами, в живот обладателю мяча, хватают его за ноги, боксуют его в лицо или награждают другими нежностями подобного же рода.

Совершенно естественно, что обладатель мяча в течение самое большее одной четверти минуты лежит на земле, а над ним враги и друзья сблизись в страшный клубок человеческих тел. Судья свистит. Клубок распутывается. Только лежащий в самом низу игрок, который совсем незадолго перед этим нес мяч, остается на месте раненый или в обмороке. Либо так и этак одновременно. Чернокожие слуги клуба спешат на площадку, чтобы укусом и искусственным дыханием привести жертву в себя. Появляется также и врач с ящиком медикаментов. Но судья не может допустить такого беспорядка, чтобы тут валялись остатки человека, а велит отнести лежащего.

Оставшиеся в живых игроки в это время,—а время—доллары,—освежились ледяной водой, и игра продолжается... еще четверть минуты, а иногда полминуты.

Команда, выбрасывающая мяч, выстраивается предварительно в трех шагах позади мяча и, сомкнутым кру-

гом, с наклоненными вперед корпусами, шопотом и пользуясь шифром, совещается: «4 бросит 7, 9 отдает 2» или в этом роде.

Затем 10 человек идут вперед и, во всякий момент готовые к прыжку, выстраиваются в одну линию. Одиннадцатый, куортербек, остается позади. Ему обыкновенно передается мяч, так как он единственный, который стоит без прикрытия.

Против остальных десяти игроков становятся одиннадцать врагов, готовых без всякого милосердия расшибить каждого, кто завладеет мячом.

Мяч играет приблизительно роль жезла при эстафетном беге. Его могла бы легко заменить какая-нибудь лента, которую можно было бы переносить через линию гола. В сущности, вся игра представляет бег, которому противник старается воспрепятствовать. Фаланга против фаланги.

При этом замечательном футболе удар мяча ногой является редким и второстепенным делом.

Удивительно не то, что публика сопровождает борьбу возбуждением и варварским криком, а то, что это возбуждение каждые четверть или полминуты совершенно проходит.

В момент выбрасывания мяча все 45.000 (обычно же 85.000) человек вскакивают со своих мест с тем, чтобы снова усесться, как только раздастся свист судьи. Это зрелище постоянного вскакивания и усаживания толпы полно монументального комизма.

Необходимо упомянуть, что в перерывах, кроме музыкальных, предлагаются еще всякие другие нелепые развлечения, как, например: какой-нибудь субъект в медвежьей шкуре (медведь — эмблема Миссури) борется с фиолетовым колледус-боем (т. е. нью-йоркцем).

На трибуне для печати сидят корреспонденты: за Морзо-аппаратом, за телефоном, за радиомикрофоном. Один выстукивает диаграмму, которая движется по фасадам редакции в одно и то же мгновение по всей Америке. Внизу стоят люди, они видят и слышат сигнал судьи: «ауцейт!» и режут: «ложь!», «подтасовка!» в Сан-Луи, в Сан-Франциско, за тысячи миль.

В тисках европейских понятий о спорте и введенный в заблуждение названием «футбол», а также наличием ворот и кожаного мяча, д-р Беккер почти три четверти часа пытался постигнуть смысл игры, который здесь в готовом виде преподносится счастливому читателю.

Всеобщее возбуждение его не охватило, так что он имел время предаться размышлениям, результат которых здесь публикуется:

1) С европейским американский футбол сходен по развитию чувства солидарности и общности, по быстроте и по присутствию духа.

2) Американский футбол превосходит европейский по развитию значительно большей отваги и укреплению верхней части туловища и рук.

3) Американский футбол уступает европейскому вследствие того преимущества, которым в Америке обладает сильный перед более слабым, а это преимущество не может быть уравновешено ни с какой ловкостью.

В тот момент, когда д-р Беккер пришел к этим заключениям, судья прекратил соревнование при счете 27:6 в пользу Нью-Йорка.

Команда-победительница изломала балки ворот, чтобы обломки в виде трофея взять домой. У подземной железной дороги, у трамваев и автобусов снова разгорелась теперь,—это было в субботу, ровно в 5 часов после обеда,—борьба на жизнь и смерть.

## VI. Ее величество жевательная резина

Фабрики жевательной резины утверждают: туземцы Центральной Америки во время охоты держали во рту смолистые выделения сапотового дерева (*achras zapota*), чтобы вызвать образование слюны и таким образом утолить жажду.

Это утверждение неправильно. Ни в одном сообщении испанских конкистадоров нельзя найти подобных сведений, и как раз в тех местностях, где растет эта порода деревьев, жевательная эпидемия и до сегодняшнего дня не нашла ни одной жертвы.

Также не доказана, но несомненно правдоподобна, другая версия происхождения жевательной резины: некий

ню-норкский купец получил из Мексики груз этой смолы Chicle для переработки ее в резину. Оказалось невозможным: материал был не эластичен. Что же было делать с грузом? Получатель,—вероятно, тот самый мистер Томас Адамс, которого производство жевательной резины стремится сделать величайшим благодетелем нации,—был сторонником американско-телеологического мировоззрения: рис растет в Китае,—рассуждал этот янки,—не потому, что китайцы его охотно едят, но потому, что рис растет в Китае, он является средством питания китайцев; не потому в Арктике водятся белые медведи и тюлени, что эскимосы охотно одеваются в белые куртки и мажутся ворванью, а наоборот.

Значит,—с прямолинейной логикой заключил мистер Томас Адамс,—значит, американцы сожрут мой груз по той простой причине, что он здесь. Обязаны сожрать! Зачем у нас рекламы? С середины прошлого столетия появились плакаты:

Жевать табак вредно и негигиенично!

Жуйте резину Chicle!

Жевательная резина очищает зубы!!

Жевательная резина дезинфицирует полость рта и небо!!!

Жевательная резина придает блеск зубам!!!!

Кто жует Chicle, у того тотчас же делается ароматичным дыханием!!!!!!

Жевательная резина способствует пищеварению — поэтому после каждой еды необходима жевательная резина!!!!!!

Вы желаете быть здоровым и красивым? Тогда вы должны жевать резину!!!!!!

Кто не захочет быть здоровым и красивым? Итак, взрослая Америка возвратилась к резиновой соске.

При тех особенно интимных отношениях, которые существуют в Америке между предпринимателями и правительственными учреждениями, вполне возможно допустить, что запрещение курить в вагонах трамвая и метрополитена (в роде того, как в Берлине за-

прещено курить даже в некоторых кино и в библиотеках!) было организовано жевательно-резиновой промышленностью. Под рукой автоматы: опустишь цент, выскочит жевательная резина. Такого кусочка Chicle хватает на двадцать остановок. Все жует.

Значительный подъем имел место в 90-х годах, когда была открыта вездесущность бацилл одновременно с целительными свойствами мяты; к таблеткам жевательной резины спешно подмешали новый ингредиент, и теперь, как убивающие бациллы, они стали расходиться с бешеным успехом.

Главная причина успеха лежала в характере американского народа, склонного к бешено-деловой праздности. Что-то постоянно делается, по ничего не случается, все прилежны и заняты, но почти впустую, устраиваются крупные политические движения для того, чтобы все оставалось попрежнему, «headline» — огромные заголовки газет страстно обсуждаются сегодня, а на завтра они совершенно забыты. «Несколько дел сразу» свирепствует в Америке гораздо сильнее, чем в Европе. Едущий в вагоне метрополитена или на пароме разговаривает о чем-либо со своим другом, читает о чем-либо другом в газете, думает, вероятно, о чем-либо третьем, протягивает чистильщику сапог ноги и,—чтобы «занять» соответствующим образом язык и зубы,—жует резину. Показательно: ню-иоркцы в автоматическом ресторане проглатывают свой обед в течение пяти минут, чтобы затем в продолжение многих часов грызть и сосать мексиканские леса.

Жуя лакричный корень, бетель, табак, лузгая семечки, получаешь какое-то вкусовое ощущение. Вкус же жевательной резины проходит через минуту, и затем во рту часами остается только клейкий комок.

Производство жевательной резины—национальная индустрия САСШ. Оно особенно возросло со времени мировой войны; в бытность свою солдатом каждый американец в походах и на посту привык к жеванию и завоевал для этой деятельности целые области Европы. До войны только 74 фабрики с 2.689 рабочими и годовой опла-

той в 1.648.000 долларов перерабатывали сырье на 322.000 долларов в фабрикат стоимостью в 17.159.000 долларов,—теперь потребитель выплачивает уже 150 миллионов долларов ежегодно, в то время как число фабрик и рабочих не возросло даже приблизительно в таких же размерах, так как все производится машинным способом.

Во многих огромных фабричных зданиях American Chicle Company на Long Island не увидишь ни одного человека, и только в отделениях экспедиции и контроля работают на конвейере — в белых блузах и чепцах — женщины, труд которых все еще дешевле самой дешевой машины.

Лаборатории закрыты для осмотра. Как достигается вкус ананаса, лимона, апельсина и гвоздичного масла и окраска, — остается тайной.

Кроме того, там работают над секретом искусственного получения сырья. Ведь военный конфликт с Мексикой в 1914 г. вызвал ужасную опасность для Северной Америки — остаться в один прекрасный день без жевательной резины. Опыт с ввезенной из Борнео смолой «Понтиак» оказался столь же мало удачным, как и попытки синтетического получения Chicle. Поэтому заслуживает доверия утверждение одного члена конгресса — социалиста, что империалистические вождения Соединенных Штатов к Мексике раздуваются мистером Ригли и другими фабрикантами жевательной резины.

Пока что поставщики сырья — иностранцы; называются они «chicleros» и живут в мексиканских лесах тем, что надрезают огромными ножами кору на деревьях, собирают смолу, вытекающую из ран, и, запаковав ее в джутовые мешки, грузят на пароходы.

И вот будущая жевательная резина лежит в Нью-Йорке, в Long Island City; каждый кусок похож на обрубок. На нем как раз столько сору, сколько можно вспахать в жидкую смолу, чтобы получить максимальный вес...

Очищенный от грязи, разрезанный на более удобные куски, замешанный материал стекает в нижний этаж, где стоят мешальные машины, и — что поразительно — не американского происхо-

ждения, а «Werner Pfleiderer Cannstadt-Stuttgart».

В этом помещении воздух тяжел и сладок от сахарной пыли. Здесь к Chicle присоединяются сахарная пудра, эссенции для различных вкусов и масла для различных запахов отдельных сортов. Работа у раскаленных и шипящих сковород, отрывание комков и их дальнейшая обработка — самая трудная на всем производстве; американцы здесь не работают, только итальянцы и евреи трудятся среди котлов.

В результате — тесто. Оно уже автоматически идет дальше; через комнаты с искусственным воздухом особой температуры и особого состава, через реальные машины, через аппараты, придающие форму, где из него делаются призмы, бруски и шары.

В Coating department, которое на будущей немецкой фабрике жевательной резины называлось бы отделением драже (автор настоящей статьи горд, что он это знает, а знает он это из кондитерского производства), жевательная резина вертится на двухстах косо поставленных медных сковородах. На стене висят таблицы с «рекордами» отдельных рабочих, — фабриканты стремятся выставить в качестве спорта самую высокую выработку, выполненную в их пользу.

Необделанные шарики дребезжат на двигающихся сковородах, на других — необделанные призмы. Они трутся друг о друга, прикипают друг к другу, проталкиваются, пока не станут гладкими, полированными и блестящими.

Итак, эти в высшей степени симметричные тельца, нестрые и блестящие, идентичны с грязными обрубками, которые прибыли из Мексики, — скоро они станут идентичными и с слизистыми комочками, которые какой-нибудь мальчишка приклеивает себе под стул после того, как часами перекатывал их во рту.

Так приветливо, невинно и привлекательно выглядят годные для жеванья тельца, они совсем готовы и могут непосредственно поступить в упаковочную, в отделение экспедиции и отправки, где машины работают индивидуально, а люди механически и мопотонно.

Нью-Йорк 1929 г.

(Продолжение следует)

# Клара Лакомб, союзница „бешеных“

ГАЛИНА СЕРЕБРЯКОВА

«Мы просим чтоб мужчины не отбирали у нас ремесл, составляющих удел женщины. Оставьте нам иглу и веретено, дабы мы могли добывать себе пропитание».

(Из петиции женщин третьего сословия королю в 1789 году).

Одной из замечательных черт Великой французской революции была крупная роль, которую играли в ней женщины. Они ворвались в политику с улицы вместе с вооруженными толпами, они становились во главе клубов, организовывали свои салоны, выступали у решетки представительных собраний, блистали литературными талантами, ораторским дарованием, историческими и философскими познаниями.

Участницы революционного движения, женщины немедленно сделали из лозунгов демократии естественные выводы: политическое равноправие означает политические права для женщин. Нужно потребовать признания этого принципа мужчинами. Феминистское движение запылало, как лесной пожар, быстро охватив женщин зажиточной буржуазии и мещанства. Не только в Париже, но и в провинции разрастаются женские организации.

Голландка Этта Пальм, женщина с неопределенным революционным прошлым, ставшая деятельной патриоткой с 1789 г., слывет «умной почти как мужчина». Ее доклады в смешанном (т. е. допускавшем в члены и мужчин и женщин) «Обществе друзей Истины» о «действиях внешних и внутренних врагов Франции», о «дороговизне и

необходимости победить невежество» имеют всегда большой успех. Она популярна даже в провинции, где «общество» имеет свои филиалы.

Однако, не все «патриотки» устойчиво и уверенно сочувствуют феминистической стихии. Манон Ролан, чей гибкий, предусмотрительный ум особенно выделяется на общем фоне, не считает обязательным равноправие. Видя, какую роль играют женщины в каждом восстании, она предпочитает оберегать их от соблазнов «демагогов». Управляя через податливого мужа министерством внутренних дел, через Бюро влияя на решения Конвента, жена министра может льстить мужчинам: «Управляйте миром... мы (женщины) хотим лишь владычествовать в ваших сердцах» — пишет Манон.

Тереза Кабаррю, бывшая маркиза Фонтенэ, ловко притворяющаяся, чтобы сберечь красивую голову, рьяной якобинкой, говорит: «Женщины не должны соперничать с мужчинами». Обе эти дамы окружены мужским поклонением и предпочитают с меньшим риском «управлять» посредством «мужских сердец», на старый дореволюционный манер.

В петиции, поданной Национальному собранию, буржуазные дамы смело заявляли: «Вы отменили все привиле-

гии, отмените же привилегии мужского пола... 13 миллионов рабов влачат цепи, в которые их заковали 13 миллионов деспотов». Но очень быстро демократический пыл богатых женщин угас. Олимпия де-Гуж, выступавшая в первые годы революции в качестве феминистки-революционерки, кончила злостными нападкама на Робеспьера и высказалась против казни Людовика XVI. Она потребовала, чтобы ей разрешили выступить защитницей короля на суде. Некоторые историки пытались объяснить внезапность такого поворота ее психической ненормальностью. На самом деле в поведении Олимпии де-Гуж нет ничего необъяснимого — восстав против угнетения женщины, она готова была в первые минуты опрокинуть весь общественный строй, как буржуазка — она остановилась, когда увидела, что «разрушительная» работа заходит слишком далеко. Несколько неловких жестов, несколько мечущихся шагов — и Олимпия де-Гуж, демократическая ораторша и памфлетистка, даровитая драматическая писательница, погибает на эшафоте.

Но в революцию говорят свое слово и другие женщины — жены городских бедняков, женщины рабочей и ремесленной среды, прислуги, полу-декласированная женская гольтыба. Они ненавидят не только королевский двор, но и богатую буржуазию и спекулянтов, наживающихся на голоде и войне. Их движение далеко выходит за рамки феминизма. Когда нужно дать отпор контрреволюции, женщины революционного Парижа и провинции немедленно заявляют о своей готовности вооружиться и сражаться с врагами. По всей стране организуются «батальоны амазонок». Днем в садах, на загородных пустырях якобинки учатся стрелять, владеть пикой, кинжалом и шпагой. Вечерами прохожие, заглядывая в низкие окна домиков в предместьях, видят женщин, склонившихся над шитьем обмундирования для волонтеров. Юная патриотка учится перевязывать раны, заставляя подругу изображать война. Мальчики на улицах играют в патриотическую войну, девочки же участвуют в качестве марки-

танток. В Дижоне малютки от 8 до 14 лет учреждают клуб, и одна из девочек, Генриета Эжюре, ростом чуть повыше табурета, на который взбирается, чтобы ораторствовать, жалеет, что по молодости не может защищать отечество. Она обещает взамен «пести лавровые венки для патриотов, возвращающихся после борьбы на фронте».

На окраинах Парижа в душных каморках тысячи женщин шиплют корпию, шьют военные куртки, чистят пики, напевают революционные песни, читают прокламации, баюкая детей. 1793 год для революционной Франции начинается неудачами, сулящими смуту. К Парижу подползает голод, на фронтах армии, обобранные плутами-поставщиками, — босы, не кормлены. Соглашательство просвещенных жирондистов, измены военачальников, инфляция, обогащающая спекулянтов, в страшных тисках сжимают Францию. Четвертый год революции не принес ощутимого облегчения бедняку городских окраин.

На рассвете изможденная домохозяйка подмастерья, мелкого ремесленника, рабочего бежит в очередь за хлебом, за мылом, за сахаром и солью. Дома без присмотра некормленные дети отчаянно режут, и их крик чует мать у дверей булочной, охраняемой вооруженным патрулем. Июньское солнце освещает одну из окраинных улиц революционного Парижа, булочную с покрывившейся вывеской, полусонных солдат, поломанное во время одного из «бунтов» стекло витрины и женщин, прислонившихся к стене дома, сидящих на серых уличных тумбах, на узкой мостовой в ожидании ничтожно малой полочки хлеба. Ненависть женщин обрушивается на посвистывающего песенку булочника в сером фартуке и включенном ларике, видимого за грязным стеклом.

— Как богатеет этот проклятый булочник, его жена опять прикупила землю к загородной ферме, — говорит с затаенным бешенством одна из женщин, с полночи дежурящая у пекарни.

— Вчера Ру правильно говорил в Конвенте, — отзывается другая.

— При короле лучше жилось, — ехидно раздается из «хвоста».

— Молчи, — возмущаются несколько голосов.

— Иди выносить горшки аристократов, — голодные женщины жестко смеются.

Жак Ру, талантливый вождь «крайних левых», т. н. «бешеных», 25 июня 1793 года говорил в Конвенте:

— Свобода — пустая иллюзия, если один класс людей может безнаказанно подвергать другой мукам голода. Равенство — пустая иллюзия, если богатый, пользуясь монополией, держит в своих руках власть над жизнью и смертью своих ближних. Республика — пустая иллюзия, если контрреволюции изо дня в день оказывают содействие такими ценами на продовольственные продукты, которые непосильны для трех четвертей всех граждан... Чтобы привлечь санкюлотов к революции и конституции, необходимо воспрепятствовать коммерческой разбой, который, конечно, надо отличать от чистой торговли, и понизить цену продовольственных продуктов.

Незадолго до этого выступления Ру женщины предместьев, среди которых быстро росло влияние «бешеных», устроили митинг протеста против «высасывающих кровь народа» спекулянтов и монополистов. Гражданки прачки тогда же послали депутацию в Конвент. Цены на мыло, щелок, крахмал и синьку возросли столь непомерно, что лишали их всякого заработка. Разбитная, покрасневшая от волнения петиционерка в белом тугом чепце, описывая Конвенту бедственное положение прачек, требовала смертной казни для спекулянтов. Ее бурные мозолистые венозные руки стискивали перила решетки, будто шею проклятого скупщика, союзника аристократов.

— В скором времени самый бедный класс не в состоянии будет доставать чистого белья, — говорила прачка, — без которого он не может решительно обходиться. Причина этого не в недостатке нужных материалов, они имеются в изобилии, а в действиях скупщиков и спекулянтов, повышающих цены...

В апреле все того же 1793 года бывшая актриса Клара Лакомб и шоколадница Полина Леон, одна из пропаган-

дисток «батальонов амазонок», занялись организацией клуба женщин-плебеек. Это было нетрудно, так как гражданки беднейших секций сами стихийно стремились, по образцу зажиточных женщин, объединиться, чтобы «осознать свое положение, ниспровергнуть врагов и помочь друзьям народа».

10-го мая «Монитор» сообщает:

«Несколько гражданок явились в секретариат муниципалитета и, в соответствии с законом о муниципальной полиции, заявили, что они намерены сгруппироваться и образовать общество, в которое доступ будет открыт только женщинам. Целью этого общества является осуждение средств, способных парализовать замыслы врагов Республики. Оно будет называться Республиканско-революционным обществом и собираться в якобинской библиотеке на улице Сент-Опорэ».

В уставе Общества, между прочим, значилось:

«Общество, принимая во внимание, что нельзя отказывать в слове ни одному члену и что молодые гражданки могут, несмотря на самые лучшие намерения, компрометировать общество необдуманными выступлениями, устанавливает для приема в члены общества восемнадцатилетний возраст».

Открытие «Общества революционных гражданок» было торжественно. Несколько сот новых членов клуба — швей, судомойки, прачки, тряпичницы, жены, матери мелких кустарей, ремесленников, рабочих привели с собой мужей, братьев, отцов, скрывавших наемшливые улыбочки, оживленных, любопытных, все еще поругивающих разорительницу страны Помпадур, старух да беспокойных детей, которых не с кем оставить дома.

Собравшиеся с воодушевлением пропели несколько революционных песен, немного перевирая мелодию гимна марсельцев — гениального творенья Вилье де-Лилля, недавно покоровшего парижан. Председательницей клуба избрали Полину Леон, а секретарем Клару Лакомб, которую женщины окраин знали под кличкой «Красной Розы». С искусством опытной декламаторши секретарша прочла длинный устав, под-

черкнув, что нарушение благопристойности и добродетели будет вести к немедленному исключению из общества. Развращенность считалась пороком аристократов. Под конец вечера несколько пожилых уважаемых граждан передали клубу знамя и символическое изображение «Недреманного ока» (Свободы).

В Париже в 1793 году существовало немало женских объединений, но женщины из народа впервые организовали свое общество, что сразу заставило насторожиться всех, имевших основание бояться народного гнева. Первыми всполошились жирондисты. Ученый либерал Кондорсе, под влиянием своей молодой образованной жены, считал себя поборником прав женщин. Ему казалось, что мадам Кондорсе, мадам Ролан имели все данные, чтобы быть признанными равными своим мужьям, — древняя история поставила же имя мудрой Аспазии рядом с Периклом, властителем Афин, но простолоудинки... безграмотные, пахнущие дымной похлебкой, прелыми пеленками, нищей — в счет не шли.

«Общество революционных гражданок», очень быстро оказавшееся в тесной связи с «бешеными», которые делали центром своей агитации prodвольственные трудности, являлось неожиданным и досадным неприятелем правых депутатов-жирондистов. Это понял и Бюзю, слабонервный «возлюбленный» г-жи Ролан. — Поверьте, — говорил он Манон, — они потерянные, подобранные в грязи женщины, гнусные потаскушки. — Один вид их вызывает тошноту, — продолжал Бюзю.

Жирондисты заодно с роялистами старались дискредитировать организованных санкюлотов на все лады.

«Все революционные гражданки крайне уродливы, — писали они. — Допустив столь безобразных баб к защите Революции, якобинцы не понимают своих интересов».

Стирка на Сене в непогоду, холод и жару, варка пищи у огромного дымящего очага, плетенье кружев при сальной, тусклой свечке, мытье полов и посуды, сбор отбросов на рассвете, тяготы нищенской жизни не оберегают женской красоты, тем не менее, «рево-

люционные гражданки», как правило, вовсе не были «чудовищами» и «уродами», как их изображали враждебные журналы и памфлеты. Напротив, Лакомб слыла красавицей, Полина Леон обладала миловидным лицом.

У Клары Лакомб было смуглое лицо уроженки юга. Черные волосы, такие же ресницы и глаза, смелый, хорошо очерченный нос, большой рот актрисы, добродушный мягкий подбородок, пропорциональная фигура, театральное изящество движений заставляли даже самых отъявленных врагов «гренадеров в засаленных юбках» признавать красоту лидера женского революционного клуба. Впервые Клару заметили в жаркий июльский день 1792 года у решетки Законодательного Собрания. Неизвестная петиционерка нарочито вибрирующим голосом, с подвываньем, выдающим профессиональную актрису, начала читать заготовленную речь после того, как президент Вьено де-Воблан дал ей слово. — Законодатели. — При этих словах оратора вскинула голову и решительно оглядела зал. Несмотря на то, что выступление женщин у исторической решетки не было новостью, молодая амазонка сумела заставить себя слушать. Особенно выделилось радикальное заключение ее речи. — Законодатели! Я французка, артистка и сейчас нахожусь без места; но то, что должно было бы повергать меня в отчаянье, наполняет мою душу чистой радостью. Так как я не могу притти на помощь своему отечеству, которое вы объявили в опасности, денежными пожертвованиями, то я хочу отдать ему свою личность. Родившись с мужеством римлянки и с ненавистью к тиранам, я буду счастлива способствовать их уничтожению... Пусть все деспоты погибнут до единого!.. Не упускайте никогда из виду, что без добродетелей Ветурии Рим не имел бы великого Кориолана. Законодатели! Вы объявили отечество в опасности, но этого недостаточно, отнимите власть у тех, кто один только виноват в возникновении этой опасности и кто поклялся погубить Францию... Назначьте вождей, к которым мы могли бы питать доверие; произнесите слово, и враги исчезнут.



Клара Лакомб родилась 4 августа 1765 года в небольшом провинциальном городе Памье. В ранней юности она стала трагической актрисой и незадолго до революции выступала в сравнительно больших провинциальных театрах Марселя и Лиона. Она играла там главные роли в трагедиях Расина и Корнеля, впрочем, без особого успеха. Жизнь актрисы не была ни счастливой, ни занимательной. Театр напоминал пестрый балаган, кочующий из города в город. Случалось, актеров приглашали в замки и поместья провинциальной аристократии. Соблазнительная Клара Лакомб обычно имела успех и подвергалась циничным, недвусмысленным преследованиям пресыщенных господ; однако, она умела давать отпор в таких случаях. Едва репертуар истощался, и интерес к театру пропал, заезжую труппу бесцеремонно выгоняли на дорогу — начинались странствия. В промышленных городах, подобных Лиону, театр посещали неотесанные самодовольные новые буржуа. Во время представлений горожане смачно отрывивали, громко жевали, похрапывали, поругивали актеров, оглушительно хлопали в ладоши.

Труппа, в которой служила Клара Лакомб, гастролируя по провинции, останавливалась в гостиницах, вернее трактирах. Неизменный покачивающийся фонарь освещал вылинявшую вывеску с каким-нибудь наивным средневековым названием в роде: «Друзья под золотым дубом», «Кабачок черной коровы» или «Сподвижники святой де-вы». В таких многолюдных трактирах, с огромной пастью каминов, с низкими сводчатыми потолками, с закопченными окнами, жила и Клара Лакомб. Без прикрас проходила там перед артисткой незавидная, голодная жизнь французского простолюдина, напоминавшая ей годы трудного детства.

В 80-х годах XVIII столетия авторитет Бурбонов и дворянства в народе был полностью подорван. В трактирных залах Клара Лакомб научилась вышучивать и презирать «подлую австриячку, дурня Луи и жуликов герцогов». Но недовольство, налоги, бедствия увеличивались, и шутки народа превращались в угрозы. 1789 год явился естест-

венной развязкой назревшей народной драмы. Клара воспринимала приход революции как начало небывалой трагедии, более героической и прекрасной, чем все, о чем можно было мечтать доныне. Франция представляла ее воображению как величественная сцена, где и она должна была выступить с бурной импровизацией. В 1792 году Лакомб оставила жалкий мишуриный балаган, чтоб взойти на исторические подмостки. Покинув полунищих товарищей по профессии, она спешит в Париж. Долгое пребывание в театре наложило на нее к этому времени неизгладимый отпечаток, но под заученным жестом и напыщенной фразой нельзя не разглядеть добродушия, дерзости и упрямства провинциальной мещанки.

В революционной столице у нее нет ни пристанища, ни знакомых. К тому же вышитый кошелечек, старательно запрятанный под лифчиком, не слишком туго набит луидорами. Но Клара Лакомб недаром слывет «бой-бабой»: скитальческая жизнь была ей хорошей школой. Несколько полуграмотных рекомендательных писем друзей привели Клару на парижские окраины. Она нанимает по указанному адресу в предместье каморку, бросает, не раскладывая, ручной багаж под кровать и бежит в город «подышать Свободой». На площадях плотники возводят трибуны, а девушки украшают их гириандами из дубовых листьев. Гипсовая статуя Свободы на площади Революции бела, как чешцы патриотов, город возбужден и весел: близится годовщина 14-го июля. В тот же вечер Клара успевает побывать в Конvente и в якобинском клубе, ночью из старой полосатой юбки она выкраивает трехцветную кокарду и переделывает тафтовое платье средневековой дамы из пьесы Лопе де-Вега на костюм амазонки.

14 июля вечером на декорированном пустыре, где тремя годами раньше торчало королевское пугало — Бастилия, — Клара отплясывает патриотические танцы. 10 августа становится днем ее революционного крещения. Пунцовый костюм гражданки Лакомб мелькает в самых опасных местах на Марсовом поле, возле дворца. При штурме Тюильри выстрел пробивает ей руку,

но Клара, не замечая раны, продолжает биться.

На следующий день в квартале, где живет «героиня 10 августа», только и разговору, что об ее мужестве. У Клары завязываются обширные знакомства, находятя друзья; грубоватая простота, живость и красноречье бывшей актрисы привлекают к ней сердца женщин, которые ищут у нее совета. Клара, как никто, умеет урезонить несдержанного мужа или отца какой-нибудь робкой домохозяйки, патриоты побаиваются ее колючего язычка, а женщины видят в ней защитницу. 25 августа гражданка Лакомб передает законодательному собранию гражданский венок, полученный ею за подвиги 10 августа, говоря:

— Господа! Федералисты 83 департаментов почтили меня сегодня утром поднесением гражданского венка, национального шарфа и свидетельства, удостоверяющего, что в день 10 августа я сделала все возможное для торжества Свободы и Равенства. Шарф и почетный отзыв я оставляю у себя; Национальному же Собранию я отдаю гражданский венок; который оно вполне заслужило мудростью и патриотизмом, выказанными им посреди этих великих опасностей. Я счастлива тем, что мне первой удалось выполнить по отношению к французским законодателям долг, который, в сущности, лежит на всяком добром французе, преданном своему отечеству.

Перебиваясь со дня на день, Клара продолжает жить на окраинах, ее все больше поглощает общественная работа, которая для женщины той эпохи возможна прежде всего среди женщин. В 1793 году Лакомб примыкает к «крайне-левым»; политические и социальные взгляды их особенно ей понятны.

Среди парижских «бешеных» были не только мелкие ремесленники, рабочий люд, интеллигенты, но и представители богемы: художники, недоедающие, но всегда вдохновенные поэты и патетические актеры. Вся эта голытьба влачит незавидное существование. Работа перепадает только в дни революционных торжеств, да и то плохо оплачиваемая. Парижанам не до муз и искусства. Изредка только уезжающий на фронт

волонтер закажет свой портрет, чтобы оставить жене или родителям, да рьяный патриот купит символическую картину, изображающую полногрудую Свободу, попирающую «гидру тирании». Поэты посвящают Революции жаркие, плохооплачиваемые рифмы, актеры большей частью принуждены подрабатывать, нанимаясь временно то в революционное учреждение, то к лавочникам. Летом в садах, на рынках, в переулках они устраивают патриотические представления. Большинство этих людей пылкие якобинцы, сочувствующие крайним левым.

В кружка «бешеных» Клара Лакомб встретила с двадцатидвухлетним Жаном-Теофилом Леклерком, молодым журналистом, депутатом Конвента от Лиона, фанатическим революционером. Несмотря на свою молодость, Леклерк многое пережил и перевидал; его умелые рассказы занимали и волновали Клару. Леклерк рассказывал ей о дикой тропической красоте островов Гваделупы и Мартиника, где он был после 1789 года. На Мартинике он участвует в восстании цветных рабов, руководит их раскрепощением. Часами Леклерк рисовал Кларе жизнь в колониях, мученическую судьбу рабов, обрабатывавших сахарные плантации французов, жестокость и несправедливость рабовладельцев. Новый друг гражданки Лакомб был также и в революционной Альпийской армии, расположенной в Лионе — городе тканей. Там Теофил провел некоторое время в госпитале, больной распространенной в те годы болезнью кожи — чесоткой. Живописный Лион был одним из крупнейших промышленных центров Франции, уютной столицей крупной буржуазии, жалким пристанищем наиболее эксплуатируемых рабочих. Этот промышленный город дал французской революции не только правых жирондистов, но и крайне левых «бешеных». Ролан, Бриссо были друзьями и верными слугами лионских буржуа, Леклерк хорошо знал фабричные закоулки, быт рабочих нор, лачуги мелких ремесленников, — они определили его политическое мировоззрение.

В 1793 году Клара встретила Леклерка политически зрелым. Дружба их

вскоре стала любовью, — весной 1793 г. они живут вместе.

Леклерк помогает Кларе в организации «Общества революционных гражданок», пишет сочувственно о женском движении в газетах, выступает с трибуны женского клуба. Варле, Жак Ру, Доливье и другие также относятся к Кларе Лакомб, Полине Леон и их клубу с интересом единомышленников.

На квартирке «Розы», лишенной всяких безделок и «женских» пустячков, в редкие часы, когда хозяйка дома, бывают, кроме Леклерка, пожилой расстрига-священник Жак Ру и подвижной говорливый юноша Жан Варле. Три друга Клары несхожи между собой. Самолюбивый Варле смежит Клару своей раздражительностью, Жак Ру внушает ей робость и почтение, он умеет долго молчать, исподлобья рассматривая собеседников, говорит кратко, жестко, — весь его облик напоминает пуританина, честолюбивого, фанатичного, упрямого, однако, без умственной ограниченности; стройный Леклерк приобрел в скитаниях нарочитую грубость, наблюдательность и самоуверенность. Однородность политических взглядов скрепляет дружбу Клары с этими людьми.

3 апреля 1793 г. на заседании якобинского клуба Лакомб в своей речи требует ареста аристократов и их семей. Женский клуб, которым она руководит, ведет яростную кампанию в массах против жирондистов.

Во время антижирондистского восстания «революционные гражданки» всю ночь проводят на лестницах Конвента. Они вооружены кинжалами и едва удерживаются, чтобы не избить ненавистных бриссотинцев — виновников их голода и поражений на фронтах. В зале заседаний Конвента гул и крики, к которым напряженно прислушиваются «гренадеры» Лакомб.

— Наконец-то, изменники ответят народу, гражданки, сегодня мы спасем Революцию, — говорят они друг другу.

— Смотрите, вот пустомеля Верньо...

— Пропустите его, еще не пришло время распороть это сытое брюхо.

Верньо поспешно мелкими шажками пробегает по лестнице. Женщины не стоят, обсыпая его ругательствами.

Помимо участия в «походах революции», в женском клубе устраиваются диспуты, обсуждаются все мероприятия Конвента. Как-то в повестке дня заседания значится вопрос: «О полезности и обязанностях женщины при республиканском строе». Председательствует «Роза». Докладчица-швея, горячась, доказывает, ссылаясь на исторические примеры, что «если женщины способны сражаться, то они не менее способны управлять государством». Но это были только словесные пожелания: все попытки Клары Лакомб добиться участия женщин в совещаниях революционного комитета встречаются со стороны мужчин самый бесцеремонный отпор. Никаких подлинных прав, кроме права собираться в клубе, посещать и иногда выступать с петициями или приветствиями в Конvente, кроме права сражаться на улицах и умирать за революцию, в это время у женщин нет. Естественно, что с трибуны женского клуба не раз раздавались чисто феминистические речи и обвинения мужчин. Женщины вспоминают отдаленные времена женского господства в семье, легенды о подвигах Жанны Д'Арк, Далилы, Юдифи.

Одновременно с обострением внутрипартийной борьбы ухудшаются и взаимоотношения между «революционными гражданками»: не все из них сочувствуют «бешеным», многие находятся под обаянием Робеспьера, слепо верят Марату, который незадолго до смерти в своей газете «Друг Народа» дает сигнал к нападению на «бешеных», недавних союзников против жирондистов. 4 июля утром Клара Лакомб, пагая из угла в угол своей комнаты и бормоча проклятья, перечитывает статью Марата, где он обзывает «бешеных» ложно экзальтированными патриотами, более опасными, чем контрреволюционеры. «Варле, — пишет Марат, — может быть, только безмозглый интриган, но маленький Леклерк, очевидно, очень ловкий плут. Жак Ру жадный честолюбец». В том же июле месяце одна из «революционных гражданок» выступила в клубе против друга Клары Жака Ру, ведшего отчаянную агитацию против спекулянтов, обвиняя его в карьеризме и лживости.

13 июля Шарлотта Кордэ убила Марата. Весть о смерти «Друга Народа» искренним отчаянием встретили окраины, и «бешеные» сочли правильным, несмотря на предсмертный маневр Марата против них, откликнуться на горе народа и оплакать великого трибуна, об'явив себя его преемниками,—разве не боролись они вместе с ним против попытки богачей создать новую аристократию богатства? «Революционные гражданки» первые постановили воздвигнуть обелиск погибшему народному вождю. Коммуна колебалась, и 30 июля в церкви св. Евстахия, занятой в то время женским клубом, произошло по этому поводу бурное заседание. Против входной двери в готическом сумрачном зале на возвышении стоял простой узкий стол, за которым сидели председательница Клара Лакомб и секретари. Зал был переполнен, за решеткой в полчеловеческого роста толпились «гости». Было шумно и жарко, в кладбищенских аллеях, примыкавших к церкви, ожесточенно споря, сморкаясь, жестикулируя, прогуливались санкюлотки. Клара Лакомб встала, жестом Феды поправила красный фригийский колпак и об'явила собрание открытым. Зал затих, опоздавшие клубистки, стараясь не шуметь, занимали места и готовились слушать, заранее, впрочем, взбудораженные. Секретарша огласила «протест» против действий «Коммуны, медлящей почтить память «Друга Народа». «Никто не может помешать нам поставить обелиск; мы не просим ничего содействия: Марат поддерживал, главным образом, санкюлотов; санкюлоты хотят увековечить его память». Одобрив обращение к Коммуне, «революционные гражданки» приняли тут же жертвовать на памятник те жалкие гроши, которые нашлись в обширных карманах их заносенных сборчатых юбок. В день освящения временного деревянного обелиска «революционные гражданки» внушительной процессией двинулись к кладбища св. Евстахия на площадь Карузель. Их обветренные лица отражали предельное удовлетворение,—гордо вытянутые руки поддерживали носилки, на которых находились стул, стол, перо, чернильница и бумага со следами крови Марата. Одна-

ко, положение клуба «революционных гражданок» было очень непрочным, «умеренные» не без причин считали «общество» Клары Лакомб одной из цитаделей «бешеных». Уже в августе 1793 года Максимилиан Робеспьер раздраженно заявил, что «этому обществу... пора прекратить свое существование... Оно начинает возбуждать смех, давать повод к злостным выходкам».

Зато Леклерк в газете, являвшейся продолжением «Друга Народа» Марата, старался воодушевить революционных гражданок: «Благородные женщины,— писал он,—ваше мужество и ваша энергия ставят вас превыше всякой похвалы. Так как низкие интересы не подавили в ваших сердцах естественных чувств, пробуждайте своими речами республиканскую энергию. Вам надлежит бить в набат свободы!».

Осенью 1793 года Теофил Леклерк оставил Клару и женился на Полине Леон. Клара Лакомб мужественно перенесла этот удар. Но разрыв с Леклерком, под влиянием которого она много читала, работала и умственно развивалась, не изменил направления ее деятельности. В эту пору Демулен травит «бешеных», хотя не называет еще имен; враждебность Робеспьера очевидна — он не раз резко критикует Ру с трибуны якобинского клуба. В Конвенте, когда к решетке пытается протиснуться «бешеная» Лакомб, Максимилиан нетерпеливым знаком предлагает председателю не давать ей слова. Он тщетно пытается скрыть свои опасения и недовольство клубом «революционных гражданок» под гримасой язвительной насмешки. Агитация «бешеных» за нормирование цен на необходимые беднякам продукты, за обложение налогами буржуазии и лавочников, предотвращающее накопление крупных капиталов и взвинчивание цен, встречает поддержку среди парижской бедноты. Но якобинцы считают «бешеных» опасными, а женский революционный клуб к тому же способным скомпрометировать Гору в массах, на которые она опирается.

Кларе Лакомб с трудом удается получить слово и зачитать петицию, обращенную к Конвенту с требованием осуществления конституции и приме-

нения террористических мер против аристократов.

«... Мы явились с тем, чтобы требовать исполнение конституционных законов, — читала Лакомб. — Докажите увольнением всех дворян, что среди вас нет их защитников. Делами докажите всей Франции, что не только для того с большими затратами со всех углов республики собрались сюда посланцы великого народа, чтобы просто разыграть патетическую сцену на Марсовом Поле... Недостаточно говорить народу, что счастье его скоро наступит, необходимо, чтобы он мог почувствовать его результаты... Он с недогованием взирает на то, что люди, купающиеся в его золоте и разжиревшие от чистойшей его крови, проповедают ему воздержание и терпение...

«... Мы уже не верим в добродетель этих людей, которым теперь приходится хвалить себя самих. Теперь нам мало одних слов... Не бойтесь дезорганизовать армию; чем способнее какой-нибудь злонамеренный генерал, тем настоятельнее его смещение... Вы декретировали заключение под стражу всех подозрительных, но разве этот закон не останется на бумаге, когда исполнение его поручается лицам, которые сами являются подозрительными?.. Вы должны учредить в достаточном числе чрезвычайные суды для того, чтобы патриоты, отправляющиеся на границу, могли сказать: «Мы спокойны за судьбу своих жен и детей; мы видели, как под мечом закона погибли все внутренние заговорщики».

Едва Лакомб дочитала последние строки петиции, в зале Конвента поднялся долго несмолкаемый сердитый гул. «Общество революционных гражданок», благодаря связи с «бешеными», было скомпрометировано в кругах «умеренных» якобинцев. Вскоре после этого инцидента был арестован Жак Ру. Секция Гравильеров поспешила опротестовать арест своего вожака, в то время как мелкие буржуа и сочувствующие «умеренным» спекулянты-богатеи, исподтишка оплакивающие жирондистов или короля, узнав, что «изверг» Ру в тюрьме, торжествовали и строчили доносы. Они приписывали своему беспощадному врагу разно-

образные пороки: воровство, развращенность, контрреволюционные замыслы, взяточничество, растрату, даже обжорство. Клуб якобинцев большинством голосов выразил Ру порицание, но арестованный за полным отсутствием улик, тем не менее, вскоре оказался на свободе. Желая помочь Ру, «Роза», в качестве председательницы клуба «революционных гражданок», предлагает Конвенту свои услуги для просмотра списков арестованных с тем, чтобы «освободить невинных и наказать виновных». Это требование, внушенное «бешеными», еще больше восстановило против нее Конвент.

В середине сентября Жак Ру был объявлен подозрительным, одновременно в «Обществе революционных гражданок» начался раскол. Клубистка Гобэн, жена умеренного якобинца, женщина сварливая, злоязычная и истеричная, попробовала выступить с злостной критикой Леклерка... В ответ ретивые приверженки «бешеных» исключили «предательницу» из членов «общества». Гражданка Гобэн надела пышную трехцветную кокарду и поспешила в клуб якобинцев с жалобой. Всякое обвинение «подозрительного» детища Клары Лакомб встречало у «умеренных» сочувствие, и 16 сентября один из секретарей клуба в монастыре св. Якова критиковал «Общество революционных гражданок», всгупившее на ложный путь. Ораторы точно условились в этот день доказать, как обширны возможности клеветы и оговоров. Толстый Шаво, бывший монах, гримасничая и хихикая, выступил первым.

— Давно пора, — вскричал он, — сказать всю правду об этих мнимо революционных женщинах. Я разоблачу их интриги и поражаю вас.

Он неопределенно обвинял Лакомб в ее пристрастии к мужчинам-аристократам. Циничные намеки Шаво, несмотря на махровую пошлость, принимались слушателями с явным удовольствием.

— Госпожа Лакомб, ибо ее нельзя признать гражданкой, — продолжал далее Шаво, — снова явилась ко мне и призналась, что ее трогает не судьба г. Рея, а участь его племянника. Меня обвиняют в том, что я поддаюсь жен-

скому влиянию, сказал я ей тогда, но я никогда не сделаю того, что делаете вы под влиянием мужчин, и все женщины мира никогда не заставят меня поступить иначе, чем я считаю необходимым поступить в общественных интересах. После этого госпожа Лакомб обрушилась на меня с чисто фельянтинскими выходками... Эти революционные женщины позволяли себе нападать на Робеспьера и называть его господином Робеспьером. Я требую, чтобы вы приняли против них решительные меры; я требую, чтобы мы письменно обратились к ним с предложением очистить свое общество от всех имеющихся в его среде интриганок.

Шаво покинул трибуну под звучные аплодисменты. После него заговорил щедедушный, желчный Базир, закончивший свою бесцветную речь следующим предложением, касавшимся, главным образом, Клары Лакомб, Полины Леон и других «бешеных».

— Я думаю, что «Общество революционных женщин» само по себе чисто, но руководится интриганками; я рекомендую обратиться к этим гражданкам с предложением произвести в своей среде основательную чистку и удалить всех тех женщин, которые оказали вредное влияние на деятельность Общества.

Следующие ораторы точно также главной мишенью своих несправедливых нападок избрали председательницу «Общества республиканских гражданок». Ее ругали за укрывательство преследуемого «мелкого ворихки» Леклерка. Последним взошел на трибуну Ташро, как раз в момент появления Розы.

— Лакомб суется повсюду: сначала она требовала конституции, всей конституции (обращаю кстаи ваше внимание на этот лицемерный и фельянтинский язык), затем она хотела подкапаться под конституцию народной воли, под революционные власти, — заявил он.

Выслушав Ташро, Клара потребовала себе слова. Зал ответил ей неопишваемым шумом. Тогда несколько подруг Клары, так называемые «драгуны Лакомб», прорвались в зал и двинулись,

потрясая кулаками, на растерявшихся якобинцев, встречавших их бессвязной бранью. С хоров и из-за решетки, отделявшей гостей, неслись крики женщин, враждебных «бешеным». «Долой новую Корда, долой интриганок!». Тщетно председатель собрания Бурдон призывал собравшихся к порядку: потеряв терпенье, он даже демонстративно надел шляпу, что значило «закрывать заседание». Нескоро водворилось спокойствие. Получив возможность говорить, Бурдон сурово обратился к Лакомб, указав ей, что беспорядок вслед за появлением «революционных гражданок» подтверждает правильность выдвинутых ранее обвинений, так как «нарушение порядка в собрании, которому нужно спокойствие для обсуждения вопросов, затрагивающих интересы народа, составляет настоящее преступление против патриотизма». Едва Клара покинула якобинский клуб, раздались требования ее ареста, но предложение это осталось непринятым. Собрание удовольствовалось следующей знаменательной для «бешеных» резолюцией:

«1) Обратиться к «революционным гражданкам» с письменным предложением очистить состав своего общества и удалить руководивших ими подозрительных женщин.

2) Обратиться к комитету общественной безопасности с просьбой арестовать Леклерка, подозрительных женщин и следить за Лакомб, интригующей в пользу аристократии».

На следующий день в квартире Лакомб произвели обыск, и по городу пошли пересуды и измышления об ее аресте. Падкая на сенсационные слухи «Французская Газета» и обрадованный «умеренный» листок «Общественного Спасенья» поспешили оповестить читателей, что «женщина или девица Лакомб, наконец, посажена в тюрьму и лишена возможности вредить. Теперь эта революционная вакханка пьет одну только воду. Известно, что она очень любила вино, и что она не менее любила хороший стол и мужчин, как об этом свидетельствует дружба между нею, Жаком Ру, Леклерком и К°».

Прочитав эту ловкую клевету, «Роза», вне себя от злости, написала следующую

щее опровержение: «Я докажу вам, что мои руки так же свободны, как и мое тело, так как они с удовольствием избьют вас палкой, если вы не возьмете обратно своей лжи».

Гнусные измышления о «революционных гражданках» — испытанное орудие политической борьбы — продолжали занимать Париж. Подобно тому, как некогда аристократы и жирондисты клеветали на женщин-революционерок, так теперь «умеренные» оговаривали и высмеивали «бешеных» и их клуб на кладбище св. Евстахия. По примеру прошлого, бралась под подозрение в первую очередь нравственность клубисток.

Ужасные самки,  
Неистощимые соски их,  
Как уличные краны,  
Доставляют питье всем прохожим

Желая обезвредить вонючую клевету, полившуюся со всех сторон, поредевшая армия «революционных гражданок» 18 сентября направила в Конвент требование ареста всех «распутных женщин, или аристократок, чтобы вернуть их к добронравию с помощью полезных принудительных работ (в домах заключения) и патриотического чтения».

Только Ру, естественно, остается неизменным другом своих единомышленниц. Из тюрьмы он пишет «революционным гражданкам», величая их Обществом «Оплотом Свободы, стражем Революции и страшилищем новоявленных тиранов». Жак Ру напоминает их неоценимые заслуги в дни похода на Версаль, когда «они повергли на земь приверженцев Калета и, презрев все опасности, сбросили его с престола». Но похвалы Ру, популярность «революционных гражданок» в недовольных секциях Коммуны и среди рабочего люда — им приговор. Не желая озлоблять предместья накануне процессов «бриссотинцев» и королевы, Робеспьер откладывает репрессии против клуба и оставшихся на свободе «бешеных». Но исподволь готовит их гибель. Это была гнетущая, тяжелая пора для Клары Ру, Леклерку, Варла грозил эшафот, отдельные члены «Общества революционных гражданок» изменяют, покидают клуб, распространяя всевозможные небылицы о происходящем в

церкви св. Евстахия. Несдержанная, вспылчивая «Роза» утешается нападками на Робеспьера, которого считает виновником полурасправы с Ру. — Не понимаю, — сердито говорила она, когда речь заходила о «неподкупном», — за что превозносите вы его, теряя рассудок от восхищения, право же он узурпаторская личность». Впоследствии это мнение о Максимилиане будет в числе обвинений против «бешеной» Лакомб.

В начале октября «Общество участников 10-го августа», щеголявшее своим антифеминизмом, выступило в Конвенте против «антигражданских стремлений якобы революционных женщин». Их обвинения опять-таки были направлены, главным образом, против гражданки Лакомб и заканчивались требованием роспуска клуба «революционных гражданок».

Доносчикам, по поручению клуба, отвечала председательница (Лакомб). — Вчера, — сказала фактическая обвиняемая, — была сделана попытка ввести вас в заблуждение... Нашлись интриганы, которые посмели уподобить нас разным Медичи, Антуанеттам и какой-нибудь Шарлотте Кордэ. Правда, природа произвела чудовище, отнявшее у нас Друга Народа, но разве Кордэ принадлежала к нашему обществу?.. Наш пол дал одно лишь чудовище, тогда как в течение последних четырех лет нас предают и убивают бесчисленные чудовища, порожденные мужским полом... Наши права — это права народа, и если нас станут угнетать, мы сумеем оказать сопротивление угнетению.

Спустя несколько дней, якобинцы аплодируют Кларе Лакомб, гордо отвечающей на выкрики, угрожавшие ей гильотиной: — Я всегда исповедывала принципы Марата. Если ты хочешь обессмертить меня, подобно ему, рази, тебе представляется прекрасный случай. Я предпочитаю погибнуть от руки патриота, чем входить в сделки с разбойниками и изменниками. — Но в самом конце октября враги женских революционных организаций приобретают значительное большинство не только в клубе якобинцев, Конвенте, но и в секциях Коммуны. «Общество революционных гражданок» агонизи-

рует. Незначительное происшествие дало возможность дантонисту Фабру д'Эглантину, политическому прохвосту, полужулику, полупоэту, добиться репрессий против клуба на кладбище св. Евстахия.

Торговки с рынка «Невинных Младенцев» не скрывали своего недовольства революцией, нанеся мелкой торговле значительный ущерб. Невежественные, часто пьяные пуассардки ненавидели «левых» и в особенности ретивых поборниц свободы «революционных гражданок».

Базарные торговки охотно, вздыхая, поплеывая, ища утешенья в брани, вспоминали о былых временах, когда слуги аристократов — утонченных гастрономов — увозили с рынка груды артишоков, упругих и матовых, как кактусы, холеной бледной спаржи, демократической моркови, гороха и картошки. В те времена вокруг торговки толпились покупатели, и фруктовщицы уносили пустыми корзины из-под разносортных яблок, жирных груш, колониальных бананов, ананасов и ларижского винограда.

— Если наши мужья учредили Республику, — угрожали расовирепевшие от горечи воспоминаний торговки, — то мы-то уж наверняка сумеем своротить голову этой Республике.

В дни казни короля и королевы рынок «Невинных Младенцев» рыдал — на лягушечьи трупики, зеленые, как салат, на черных умирающих мулей и крабов, разложенных на прилавках, в кувшины с молоком, разбавленным водою, капали мутные слезы.

Гражданки «Секции общественного договора», торгующие на рынке, были обязательными посетительницами отдаленной, пустынной площади Грэв и просторной, поросшей травой площади Революции в дни работ «революционной бритвы». Многопудовые, заплывшие жиром или жердеобразные, крюконосые, часто бородатые и выносливые, как змеи, шли они за повозкой Сансона, обмениваясь циничными замечаниями по адресу смертников, если это были ранее прославленные революционеры. «Пусть эти чортовы патриоты сожрут поскорее друг друга», —

хотели рыночные ведьмы. Эти фурии были в числе тех, кто плевал в лицо раненому Робеспьеру утром «10-го термидора».

Вражда «революционных гражданок» и торговки была застарелой. 28 октября наиболее неугомонные клубистки собрались в поход: вооружившись пистолетами для острастки, надев колоколообразные панталоны и красные фригийские колпаки, они отправились «осанкюлотить», т. е. прицепить традиционную кокарду гражданкам с рынка «Невинных Младенцев». Постановление о ношении кокарды, под страхом недельного тюремного заключения, было принято, по предложению революционерки, за месяц до того Конвентом.

О предполагаемом «наступлении санкюлоток» рынок знал заранее и с восхода солнца готовился достойно встретить давнишних врагов. Гнилая картошка, твердая, как булыжник, репа, тухлые яйца, червивые сливы и красные, как свекла, женские кулаки были наготове. «Пусть-ка покажутся эти вонючки, эти безмозглые обезьяны, бродячие сволочи, лустобрюхие суки» — раздавалось со всех сторон. Наконец, вдали показался долгожданный «отряд». Торговки сделали вылазку и ринулись в «атаку», помешав «революционным гражданкам» произнести хотя бы одно слово. В оторопелых «агитаторш» полетели пестрые «снаряды», а вслед за испорченными овощами пошли в ход камни, щепки и свирепые кулачищи. С тыла на пятившихся революционерки напала беспорядочная толпа лавочниц и усердной, восхищенной детворы, подражающей матерям... Отступление стало невозможным. На крики, ругань, женский вой из близлежащих переулков прибежали мужчины, давно поджидавшие случая рассчитаться с «революционными бабами». К несчастью, защитников клубисток оказалось немного. В одно мгновение все перемешалось на просторном рынке. Ослабевшие «революционерки», рьяно защищавшиеся, после минутного остолбенения потеряли не только свои кокарды и колпаки, но даже пышные, столь раздражавшие «умеренных»



панталоны. Полураздетых краснокопачниц безжалостно отстегали, а их предводительницу «высекли и вымазали грязью под бурное одобренье многолюдной толпы». Эта ощутительная неудача оказалась лишь звеном в длинной цепи последующих неприятностей. В полдень того же дня Клара Лакомб с бесполойством подмечала небывалый наплыв «посторонних» в церкви св. Евстахия, откуда клубистки собирались отправиться на открытие памятника Марату. Однако, ни Лакомб, ни ее разведка среди гуляющих в аллеях и сидящих на хорах женщин не обнаружили ничего подозрительного. Настроение казалось благодушным и спокойным, об утреннем происшествии помалкивали, и только исцарапанные физиономии и подвязанные руки отдельных гражданок свидетельствовали о драке. Внезапно кто-то пустил провокационный слухок о том, что в сточных канавах Монмартра нашли припрятанную там муку. «Все это проклятые скупщики, долго ли еще Конвент будет церемониться с изменниками!» — закричала одна из женщин, худая и изможденная. «Не задевай Конвент, дуреха», — шепнула ей соседка. Но истомленные недоеданьем, очередями, лишениями женщины взбудоражились. «Господин Робеспьер позволяет лавочникам пить нашу кровь», — визжал из угла чей-то слабый голос. «Долой якобинок». — «Бей краснокопачниц», — ответили с хоров. Скандал разразился. В зале началась жестокая драка. Дерущихся женщин бросились разнимать остальные, но передрались при этом сами. Брань перемежалась со стонами, заглушалась стуком падающих скамей, отчаянным визгом, звоном разбитого стекла.

— Да замолчите же, наконец, отпустите друг друга, гражданки, — прозвучал могучий бас. Странное обстоятельство, — мужской голос заставил очнуться сцепившихся женщин, усердно колотивших друг друга. Мировой судья Ленде и шесть подоспевших граждан внесли некоторое успокоенье. Поглядывая все еще со злобой, враги стали приводить в порядок распустившиеся волосы, порванные платья и

платки. Но перемирие было кратковременным. Специально прибывшие с рынка «Невинных Младенцев» и подосланные «умеренными» якобинскими секциями скандалистки, обнаружив в аллеях вокруг клуба значительное подкрепление, принялись снова дебоширить. «Долой красные колпаки!» — раздалось с разных сторон. Судья Ленде, враждебный революционным гражданам, потребовал, чтобы вице-председательница сняла колпак. Виктория Капитэн, надеясь умерить пыл вражды, сняла свой традиционный головной убор. Послышались истерические вопли, молебны не сдаваться и аплодисменты победителей. Но и этого оказалось мало. Потасовка возобновилась. Судья Ленде и шесть приведенных им граждан оказались на этот раз беспомощными зрителями. Видя себя окруженной со всех сторон, знаменосица клуба отдала охраняемое ею знамя одному из мужчин, отрывисто предупреждая: «Оберегай знамя... иначе поплатишься за него головой» — и бросилась в бой, вооружившись скамейкой. Только вызванные канониры секции с трудом розняли женщин и водворили порядок. В итоге на «поле битвы» осталось немало пораненных и избитых клубисток. Протокол, описывавший этот плачевный случай, подписанный близким другом Клары Лакомб Викторией Капитэн, одной из наиболее одаренных и красноречивых руководительниц Общества, сообщает между прочим: «Предпочитая пасть жертвою заблудшего народа, заботясь уже не о своей личности, а об охране изображенного на знамени образа Свободы, одна из гражданок, членов клуба, воскликнула: «Убейте нас, если хотите, но относитесь, по крайней мере, с уважением к эмблеме французского единства».

После подстроенного врагами скандала дни «Общества» были сочтены. Коммуна, вместо выговора властям за бездействие при нападении на клуб, выразила им благодарность за принятие мер к «недопущению собрания клуба». Недовольствуясь разгромом собрания клуба в церкви св. Евстахия, женщины — противницы «рево-

люционных гражданок» — понесли в Конвент жалобу. Фабр д'Эглантин и другие депутаты решили воспользоваться этим доносом, чтоб закрыть раздражавший их «вредный» клуб. Вертлявый дантонист обрушился на «крайне-левых» женщин со всем талантом инсинуатора и пройдохи: «Вскоре,—говорил он о «революционных гражданках», поглаживая при этом пудренный парик, — они начнут требовать пистолеты, и в недалеком будущем вы увидите вереницы женщин, идущих за хлебом, как на штурм траншей». Этот довод произвел убедительное действие на депутатов, боящихся всяких народных бунтов. «Я заметил, — продолжал Фабр д'Эглантин, — что эти общества состоят не из замужних женщин, девушек из порядочных семей... а из разных авантюристок, эмансипированных девиц, кавалеристов в юбках». Речь д'Эглантина прервали аплодисменты. Слово взяла одна из жалобщих: «Граждане, — кричала она, — мы требуем закрытия всех женских обществ, организованных в форме клубов, потому что именно женщина (Шарлотта Кордэ) принесла несчастье Франции». Конвент постановил передать вопрос об «Обществе революционных гражданок» в Комитет Общественной Безопасности, и 9 брюмера гражданин Амар в напыщенной реакционной речи докладывал результаты расследования. Он говорил, между прочим: «Дозволяет ли женщине скромности выступать публично и бороться с мужчинами?—По общему правилу женщины не способны к возвышенным взглядам и к серьезным размышлениям». «Итак, мы полагаем, что женщина не должна вмешиваться в государственные дела. Необходимо уничтожить эти мнимо-революционные народные женские общества». Амар кончил, его сменил Шарлье который, не взирая на ропот собрания, попытался защищать право женщин на клубы. «Если вы не оспариваете принадлежности женщин к человеческому роду,—сказал Шарлье,—то не можете отнять у них право, присущее всем мыслящим существам». Он предлагал очистить клубы от «подозрительных», но не закрывать их окончательно. Конвент, заслу-

шав доклад Комитета Общественного Спасенья, утвердил следующий исторический декрет: «Статья 1.—Женские клубы и Народные Общества, под какими бы наименованиями они ни существовали, запрещаются. Статья 5.—Все заседания Народных Обществ должны быть публичны».

Закрытие клуба «революционных гражданок» совпало с общими гонениями против всех «закрытых подозрительных сборищ». Конвент старался предотвратить любую попытку объединений недовольных, которыми кишел в эту осень Париж.

Клуб Лакомб решил отстаивать право женских объединений — одно из существеннейших завоеваний женщин после революции. 5 ноября 1793 года одна из «революционных гражданок» пробралась к решетке Конвента. Прерываемая гиканьем, улюлюканьем, свистками и хохотом, она успела выговорить лишь несколько слов в защиту своего клуба: «Общество революционных республиканок»... это общество, состоящее в большинстве из замужних женщин, более не существует. Закон, вырванный обманом, в результате живого доклада, запрещает нам называть себя рев...» Едва она начала последнюю фразу, большинство депутатов повскакало с мест, оглушительно крича на петиционерку. Председатель тотчас же приказал приставам вывести женскую депутацию. Неделю спустя, в конце брюмера, отвергнутые Конвентом «мнимые революционерки», во главе с Кларой, силой ворвались на заседание Парижской Коммуны, стремясь обжаловать декрет о закрытии клубов. Встреча, оказанная им, была не менее бурно-враждебной, нежели в Конвенте. Члены Коммуны, за малым исключением, вопили, заглушая сторонников женского движения:—Долой красноколлачниц! Влиятельный член Коммуны, прокурор Шометт, союзник Гебера, впоследствии продолжатель агитации «бешеных», был неприимным противником «легкости нравов», которую порождали, по его мнению, излишние женские права. Редактор язвительного и дерзкого «Отца Дюшена» Гебер — щеголь, тонкий гастроним и весельчак был почти равнодушен

к «женскому вопросу», в то время как низкорослый прокурор Коммуны, одевающийся кое-как, живущий впроголодь, проповедывавший строгость и воздержанность в быту, требовал от женщин только служенья семье и интересам домохозяйства. Шометт любил повторять патетически: «Природа сказала женщине: будь женщиной, нежный уход за детьми, хозяйственные мелочи, сладкие тревоги материнства—вот твои труды... в награду ты будешь божеством домашнего святилища». Он искренне возмущался «бесстыжкими бабами, напяливающими мужской плащ... меняющими данные природой прелести на пику и красный колпак». К тому же упорный атеист Шометт презирал женщин за их невежественную тягу к клерикализму.

В Парижской Коммуне Лакомб встретили грубыми насмешками и издевательствами. Якобинская партийная пресса точно также одобрила декрет Конвента. В «Монитере», в дни разгрома «левых» и женских клубов, печатались поучающие и вместе с тем угрожающие статьи.

«За короткое время революционный трибунал дал женщинам хороший пример, который несомненно не пройдет для них бесследно... Мария-Антуанетта... Олимпия де-Гуж, одаренная экзальтированным воображением, приняла свой бред за внушение природы и кончила тем, что усвоила планы изменников... Госпожа Ролан, богатый ум с большими планами, философ, разменивавшийся на мелочи... она была матерью, но она обрекла природу на заклание, пожелав возвыситься над нею: желание быть ученой женщиной довело ее до забвения своего пола, и это забвение, всегда чреватое опасностями, в конце концов, привело ее к смерти на эшафоте».

«Женщины! Вы желаете быть республиканками? — Любите, исполняйте и проповедуйте законы, которые призывают ваших мужей и ваших детей к пользованию своими правами... Не ходите никогда на народные собрания с желаньем говорить на них, но пусть иногда ваше присутствие придает духу вашим детям: тогда отечество вас

благословит за то, что вы действительно сделали для него все, чего оно вправе от вас ждать».

Смерть зарезавшего себя на суде в январе 1794 года Жака Ру, преследованье друзей, постоянная слежка окончательно оттолкнули Клару от революции. Она начинала верить в то, что подлинная революция уже погибла одновременно с «бешеными». Робеспьер, Кутон, Сен-Жюст после смерти Ру представлялись подруге Леклерка только тиранами, палачами «друзей народа». Разбушевавшийся террор ужасал Розу, но все же не трусость перед эшафотом заставила «революционную гражданку» отступить и покинуть навсегда свой революционный пост, а полное разочарование.

С начала 1794 года бывшая председательница клуба на кладбище св. Евстахия пытается возвратиться к давно покинутой профессии. Провинциальный театр, кочевая жизнь, карнавальная мишура сцены, блаженные перевоплощения в античных героинь вновь влекут к себе охладевшую революционерку. В марте 1794 года она получает ангажемент в отдаленный городок Дюнкирхен. Наконец-то, радуется Клара, жуткий Париж останется навсегда позади, два буйных прошедших года попадут в архив воспоминаний, а будущее, как знать, может быть, даст успех, славу, — таковы постоянные надежды даже самых обойденных дарованием детей театра. Виктория Калитэн, свидетельница триумфов Клары, спешит снарядить подругу в путь. В одной из комнат дряхлого дома на Пти-Шан-Нев обе женщины заняты укладкой скромных вещей «Красной Розы». Рваное кретоновое пестрое тряпье — костюм страстной легендарной Ифигении — Виктория укладывает на дно корзины, накрыв его трехцветным шарфом, поднесенным «героине 10 августа» французским народом. Реликвия эта возвращает мысли подруг к счастливым дням их жизни. Они плачут, вспоминая Ру и его предсказания. Укрепившиеся буржуа, сообразно укладу мещанской жизни, отводят женщине только место домашней хозяйки. Женщины вытесняются из политической жизни. Победа принципов

«бешеных» могла бы обеспечить женщине другие перспективы, но разбитая волна движения «бешеных» рассыпалась мелкой водяной пылью.

Неожиданный арест 2 апреля, накануне отъезда в Дюнкирхен, и долгое заточение расстроили планы Лакомб. Шестнадцать месяцев кочевала Клара из одной тюрьмы в другую. Напрасно Виктория Капитан хлопотала об освобождении подруги, не помогал даже отзыв «Секции Хлебного Рынка» (знавшей и некогда любивший Розу), в котором говорилось, «что гражданка Лакомб выказала много патриотизма... и не имела других доходов, кроме присвоенных по положению». В течение почти полутора лет Клара сидела в плохо оборудованном Порт-Либре, в Плесси, в Сен-Пелажи одновременно с «невестой» Робеспьера и женой Филиппа Леба, в Люксембурге, где находился также и Леклерк (арестованный одновременно с Леон). В тюрьме Клара Лакомб узнала о торжестве термидорианцев. Она видит, как выпускают из тюрем уцелевших аристократов, жирондистов, дантонистов, которые обнимаются друг с другом на радостях, что «тиран пал». Но на прошения Лакомб нет ответа. Директория помнит «Красную Розу» в дни ее политического цветенья и боится неустрашимости и влияния на массы «амазонки Конвента».

24 термидора Клара, подписываясь «Лакомб, свободная гражданка», опять обращается с ходатайством: «Я всегда

вела себя как безупречная женщина, достойная той свободы, которую я всегда защищала. Я отдала три года моей жизни своему отечеству, так как я не могу отдать ему ни мужа, ни ребенка, которых у меня нет, я почти за счастье служить отечеству лично».

После термидорианского переворота опустевшие тюрьмы продолжают спешно заполняться робеспьеристами, членами Парижской Коммуны, секционерами. Лакомб слышит громоханье повозки у ворот тюрьмы, ежедневно увозящей на казнь все новые и новые партии революционеров.

Время шло. Директория свирепствовала, плясала, буйствовала и вырождалась. Клара Лакомб находилась в тюрьме Люксембург, где у нее была относительная свобода. В четырех стенах тюрьмы Люксембург существовал свой мирок — арестованным разрешалось торговать и заниматься ремеслом. В качестве наиболее опытной «старшей» тюремной жительницы, имевшей необходимые связи с тюремным персоналом, Лакомб занялась обслуживанием менее приспособленных к тюремной жизни заключенных. Она поставляла им свечи, галантерею, письменные принадлежности. Сделалась ли она заправской лавочницей, выйдя из тюрьмы? Вернулась ли на сцену? Никаких сведений о ней с момента ее освобождения нет. Выйдя в последний раз — осенью 1795 года — за ворота тюрьмы, она смешалась с уличной толпой и канула в неизвестность.

# Дома и за границей

## ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, БЫТ, ПОЛИТИКА

1. А. ЛЕЖНЕВ. Критика «критиков». — 2. НИК. СМИРНОВ. Художественное творчество рабкоров. — 3. С. ПАКЕНТРЕЙГЕР. Записки недоуменные. — 4. С. ОБРУЧЕВ. Анатолий Франс в халате и без. — 5. БОР. КУШНЕР. Арзгир. — 6. АДАЛИС. По Туркмении. — 7. С. ГАЛЬПЕРИН. По всему свету.

### 1. КРИТИКА „КРИТИКОВ“

Статья первая

А. Лежнев

Критика наша с каждым днем начинает играть все большую роль. К голосу ее внимательно прислушивается читатель. Критика выступает как судья жестокий и нелюбезный. Это ставит в порядок дня вопрос об ее качестве. До последнего времени преимущественным объектом критики была беллетристика. Ныне пришла очередь самой критике подвергнуться критическому рассмотрению. Для начала мы останавливаем внимание около фигур, по нашему мнению, не лишённых занимательности.

#### О почти совершенном воплощении ермиловского идеала

1

Первым по порядку мы привлекаем М. Лузгина. Он несомненно пребывает в состоянии экстаза, ибо выражается он темно и невразумительно. Правила грамматики теряют над ним свою власть, он изобретает новые слова или придает старым неведомый доголе смысл. Он просит «подождать пару лет», он требует, чтоб «каждый искажал себя на свой куток», синтаксис

приобретает у него нечленораздельную грацию: «Напостовство, — пишет он, — как определенная система взглядов, хотело быть применением ленинизма в литературной области. Тем самым напостовство не могло не быть с самого начала идеологией формирующегося массового пролетарского движения»<sup>1</sup>). Мы видим, таким образом, что он сбрасывает с себя одновременно и стеснительное ярмо законов логики. «Система взглядов» для него равнозначна «применению». Это все равно, что сказать, что рычаг есть работа рычага, паровоз — движение поезда, ткацкий станок — куски сотканного полотна. Его выводы поражают своей железной непоследовательностью: так как напостовство «хотело быть применением ленинизма», то оно тем самым и стало идеологией массового пролетарского движения. Лузгин, очевидно, живет в мире сказки: стоит только про себя продумать какое-нибудь желание, как оно тотчас же исполняется. Это очень легко и удобно,

<sup>1</sup>) Мих. Лузгин. «По литературным вопросам», ГИЗ. 1928, стр. 8.

но это только в сказках, т. Лузгин! В нашем же мире трезвой необходимостью нужны еще и кое-какие объективные данные. Вот, например, Лузгин очень хочет стать теоретиком марксизма. Но, чтоб сделаться им, достаточно ли одного желания, даже подкрепленного усиленной порцией общезвестных и некстати приводимых цитат из Плеханова и Бухарина, если отсутствует главное условие: способность к логическому мышлению?

Впрочем, что касается самого Лузгина, то сомнения ему, очевидно, чужды. Если в его статьях и есть недостатки, то они «неизбежны в тех условиях, в которых они были написаны». Т. е. дело не в том, что у автора могло оказаться мало знаний или мало умения, что он не сумел разобраться в сложной литературной обстановке и выйти за пределы цитатного мышления. Все дело во внешних обстоятельствах, в обстановке. Поставьте Лузгина в благоприятные условия, остановите на 3 года движение литературы, чтоб ему было легче и не разбегались глаза, велите Энгельсам и Плехановым писать попроще, чтоб он не путался в цитатах, дайте ему время подумать и самому понять свои медленно и туго развертывающиеся мысли, — и он заговорит ясно и членораздельно.

Что ж, не будем спорить. На свете происходят удивительнейшие вещи, — и старая пословица гласит: «бывает, что и медведь летает». Пока же, в ожидании блестящего будущего, обратимся к тусклому настоящему.

## 2

У Лузгина есть несчастная для него склонность к основным, наиболее абстрактным и трудным вопросам искусства, решенным покамест лишь в самых общих чертах. Несчастная потому, что уточнение, конкретизация, а тем более пересмотр этих решений требует больших знаний, огромного опытного материала и способности к отвлеченному мышлению, т. е. тех данных, которых в высокой степени лишен наш автор. В результате получается в лучшем случае любительщина в худшем — какая-то каша, где доводы перепута-

ны между собой, где собственные фантастические домыслы смешаны с обрывками чужих мыслей, верность которых блекнет и кажется призрачной в этом мутном окружении.

Лузгин начинает с определения искусства. До сих пор в марксистской критике держался взгляд, согласно которому предмет науки и искусства — один, а разница в методе. Плеханов, вслед за Белинским и Чернышевским, повторял, что объект искусства — жизнь во всей ее полноте, действительность (как и объект науки). Но в то время как наука является мышлением посредством понятий, логическим, «абстрактным», искусство представляет собой мышление конкретное, посредством образов. Лузгина это определение не удовлетворяет. Он старается найти разницу в объекте. Из «предмета» искусства он выбрасывает.. природу:

«О различии предмета искусства и науки свидетельствует практика... Первое определение предмета искусства: он, этот предмет — не есть природа, не есть явления естественные» («По литерат. вопросам», стр. 72—73).

Как же доказывается это ответственное утверждение? Очень элементарно. Одним единственным нехитрым доводом:

«Стал ли бы кто-нибудь из товарищей, почивших на единстве (предмета науки и искусства), изучать, скажем, не романом Жюль Верна географию? Стал ли бы кто-нибудь из них по Арцыбашеву или Вербицкой изучать физиологию пола?»

Поистине убогий аргумент! То, что Арцыбашев и Вербицкая не годятся, как орудие познания, может происходить по двум причинам. Либо они не годятся потому, что не являются настоящими художниками и скатываются к порнографии, стремясь угодить вкусу определенного потребителя. Тогда Лузгину можно посоветовать заменить Арцыбашева и Вербицкую Толстым и Мопассаном. Либо познать нельзя потому, что методы искусства вообще недостаточно точны. Но это относится не только к «явлениям естественным». Сам Лузгин несколькими стро-

ками дальше заявляет, что по Арцыбашеву нельзя изучить и «сложность социальных причин и явлений». Если быть последовательным, то надо признать, что в таком случае и социальные явления не могут быть объектом искусства. Но если «снять» и природу и социальные явления, то что же остается искусству? Очевидно, ничего — в этом грешном реальном мире. Иначе говоря, искусство «вольно от жизни», оно не воспроизводит действительность, оно имеет свою собственную область, свой особый мир, отличный от действительности, который и служит его «предметом».

Тезис и аргументация Лузгина неизбежно должны привести к идеалистически-формалистской точке зрения — и если он этого не делает (т. е. не становится сознательно на эту точку зрения), то только потому, что сам не понимает своих положений, не умеет их продумать до конца.

Он ссылается на «практику». Но лучше бы он не ссылался. Практика явно говорит против него. Пейзаж, растительный и животный орнамент, изображение зверей и птиц — все эти старейшие виды искусства имеют своим «предметом» природу. От этого простого и решающего факта нельзя отделяться никакими оговорками и софизмами. А Лузгин заготовил их заранее, чтоб иметь возможность отступать, сохраняя при этом невинное выражение лица. «Явления естественные, — пишет он в примечании, — захватываются художественным произведением в той мере, в какой они вступают в то или иное отношение к людям, т. е. потому, что общественная жизнь протекает не вне времени и пространства, а не потому, что они сами по себе есть предмет искусства» (стр. 73). Здесь не совсем ясно, о каком рода «людях» идет речь: о персонажах художественного произведения или о реальных людях, об общественном человеке, о художнике. Примем первое толкование, как более вероятное и более выгодное для автора. Сразу же бросается в глаза, что формулировка Лузгина относится почти исключительно к литературе, притом преимущественно к беллетристике, не

захватывая остальных видов искусства. А как быть с пейзажем, в котором нет никаких действующих лиц; нет человека, а если он есть, то играет роль красочного пятна? Как быть с картинами анималистов? С растительным орнаментом? С «научной поэзией», например, со стихотворениями Зенкевича, «герои» которых — гигантские ископаемые махайродусы? Как быть, если художник захочет взять своим «предметом» жизнь муравьев или пчел, джунгли, жеребца, собаку? Тут нельзя оговариваться тем, что «анималистское» оформление является только аллегорией, иносказанием, за которым скрыты реальные человеческие отношения. Да, у Гете в «Рейнке-Фуксе» или у Франса в «Острове пингвинов» — «иносказание». Но Холстомер, Изумруд, Каштанка — вовсе не аллегория, а реальные образы, по крайней мере, по замыслу автора.

Уже эти немногие примеры показывают, что определение Лузгина неверно. Природа в художественном произведении выступает не только, как неизбежный аксессуар, как размалеванные кулисы, указывающие, где и когда происходит действие. Но если даже это определение было правильно, оно доказывало бы не то, что природа не может служить объектом искусства, а то, что она — объект второстепенный и подчиненный<sup>1)</sup>.

1) Как я уже говорил, можно положение Лузгина понять и в другом смысле, т. е. так, что «люди» — не герои художественного произведения, а реальные люди, реальный общественный человек. Это привело бы напостовского Гаузенштейна к еще худшим противоречиям. Да, «явления естественные» захватываются искусством потому, что человек живет не вне времени и пространства, потому, что он вступает в те или иные отношения с природой и даже в той мере, в какой он вступает. Следует ли, однако, отсюда, что природа не есть «предмет» искусства? Отрицает ли определение условий, при которых природа становится объектом искусства, тот факт, что она этим объектом является? Никак не следует, никак не отрицает. Иначе говоря, между посылкой и выводом здесь — полная независимость. Наука тоже развивается вследствие и по мере того, как человек вступает в определенные отношения с природой. Если б человек находился вне времени и пространства, если б он был независим от природы, не вел бы с ней борьбу, не ста-

Можно, конечно, не останавливаясь на прямом и непосредственном значении формул Лузгина, не понимая их буквально, постараться найти в их путанице какое-то рациональное зерно. Можно, например, допустить, что Лузгин хочет сказать, в сущности, следующее: да, природа является объектом искусства, но никогда не самоцельным. Это лишь видимость объекта. Пейзаж является лишь средством выражения эмоции автора, лишь материализацией его настроения. Важна здесь не объективная данность, а эмоция. Только она придает смысл объекту.

Это было бы уже значительно умнее. Но, во-первых, неясность и путанность формулировок все-таки говорит о неясности и путанности мысли. Во-вторых, даже новое наше допущение (довольно таки произвольное) ни в какой степени не спасает Лузгина. Хорошо. Через объективную данность природы выражается настроение, эмоция, мысль художника. Но ведь это можно сказать относительно всякой другой данности, например, относительно изображения общественной жизни. Всякая объективная данность в художественном произведении служит материалом, посредством которого воплощается чувство или идея автора. Однако, считает же возможным Лузгин утверждать, что искусство познает общественную жизнь. Простая логика требует, чтоб он распространил это положение и на природу. Либо искусство не включает в себе никаких элементов познания ми-

ра, либо оно так же познает природу, как и общество<sup>1)</sup>.

Словом, какие бы уступки ни делать Лузгину, как бы ни вытаскивать его из рытвин и ям, в которые он попадает по своей неуклюжести и слепоте, попытки его пересмотреть кардинальный вопрос об искусстве, руководствуясь только досужими домыслами и сомнительной логикой, кончатся фатальной неудачей. Карточные домики его теоретических конструкций разлетаются при первом прикосновении. Неудивительно. Игральные карты плохой строительный материал.

## 3

Но неудачи мало смущают Лузгина. Он так же непрерывно и самопроизвольно теоретизирует, как потеет человек, занятый усиленным физическим трудом, или туберкулезный больной. Теория выделяется всеми порами его тела. Но, в отличие от естественных автоматических процессов, это доставляет ему, видимо, ужасные страдания. Он морщится, хмурит лоб, шевелит губами, тяжело вздыхает, и когда, наконец, весь мокрый, вкалывает наверх последний камень своей аргументации, у него такой измученный и торжествующий вид, как-будто он действительно произвел переворот в науке.

«Искусство, — продолжает Лузгин, — в частности литература, не отвлекает общественного сознания и общественных отношений от их конкретных носителей, от живых людей, но берет вместе с людьми, как их чувственное переживание, берет как конкретную действительность, как конкретных людей, действующих в пределах определенного отрезка времени и пространства».

Смысл этой «закрученной» тирады (набранной для пушей важности в разрядку) сводится к старой, общеизвест-

рался ее покорить, не был бы в ней «заинтересован», то естественные явления не могли бы «захватываться» не только искусством, но и наукой (наука попросту не могла бы возникнуть, не было бы никаких импульсов для ее развития). Словом, соображения, приводимые нашим «теоретиком», могли бы быть одинаково отнесены как к искусству, так и к науке (и любой области человеческой практики)—и если на их основании Лузгин находит возможным считать, что природа не является «предметом» искусства, то он должен быть последовательным и признать, что природа не является и «предметом» естественных наук, т. е. притти к голому, неприкрытому абсурду. Мы видим, таким образом, что на этом втором, гипотетическом, пути ему суждены еще горшие испытания, чем на первом. И если там наш «медведь» не летал, а плавал, то здесь он садится в глубокую лужу.

<sup>1)</sup> В действительности, это противоречие между объективной данностью и субъективным замыслом находит выражение в том, что искусство обладает как бы двойственной (по существу единой, но двусторонней) функцией: познания мира и эмоционального «заражения». Наличие объективных элементов сообщает ему познавательную функцию. То обстоятельство, что эти элементы организованы и «деформированы» восприятием художника, его творческим отбором, его замыслом



ной формуле: искусство конкретно и мыслит образами. Это правильно, но для этого незачем было потеть на десяти страницах. Однако, интересен не самый вывод, а путь, которым теоретизирующий Лузгин пришел к нему.

Как мы уже видели, прежде всего он отверг природу как объект искусства. Искусство не познает природу. Затем той же участи, — т. е. изгнанию — подверглись и «закономерности общественного процесса, как таковые». При чем аргументация и здесь не отличается богатством и разнообразием: по линии лузгинского мышления курсирует все тот единственный и убогий довод, что человек, который бы пожелал изучить «общественные закономерности», не стал бы для этого обращаться к произведениям искусства.

Все относительно, дорогой Лузгин, все зависит от человека: Маркс умел находить материал для такого изучения у Шекспира и Бальзака, а иному нашему джорданоу теоретику ничего не скажет и научное исследование. Конечно, искусство гораздо менее точно в своих методах, чем наука, и как учебник политической экономии художественное произведение не годится. Святая истина. Но раз оно может служить материалом, которым порой пользуется и ученый, то значит общественные закономерности как-то в нем отражены, показаны, являются в какой-то степени его объектом. Приведу пример. Развивающийся капитализм приводит деревню к быстрому расслоению и массовой пролетаризации. Вот вам абстрактно сформулированная общественная закономерность. Эту закономерность с большой наглядностью и силой показал на конкретном «образном» материале Поленц в своем романе «Крестьянин». Процессы, происходившие в русской пореформенной деревне, с наименьшей убедительностью выявил Глеб Успенский. Маркс доказывает, что Шекспир один из первых правильно определил характер и

(общественно детерминированным) делает его могучим средством эмоционального воздействия. Свое разрешение (правда, неполное и не всегда) противоречие это находит в творчестве восходящего класса.

функцию денег<sup>1)</sup>. Количество этих примеров можно легко во много раз увеличить. Единственный смысл, который может иметь утверждение Лузгина — это тот, что искусство не формулирует «закономерностей» в их абстрактной общности, не оперирует логическими доводами, цифровым материалом и т. д. Но это опять-таки заранее дано определением искусства, как образного мышления. Очевидно, бессодержательная тавтология — основной метод Лузгина.

## 4

Сделав столь великое открытие, Лузгин останавливается, ошарашенный собственной смелостью, и спрашивает себя: «Что же, однако, отражает искусство, что оно познает? Если область естественных явлений в их закономерном движении<sup>1)</sup> не есть область искусства, если оно не познает закономерности общественного процесса, как таковые, то что же конкретно находит свое отражение в произведениях искусства?» (стр. 76). И правда, положение затруднительное. Отчаявшись найти из него выход собственными силами, Лузгин обращается к помощи людей, более его компетентных:

«Тов. Бухарин, как нам кажется, близко подошел к правильному ответу на этот вопрос: «Мы видим, что науки систематизируют мысли людей, — пишет он в своей «Теории Истмата». — Но общественный человек не только мыслит, но он также чувствует, страдает, наслаждается, желает, радуется, горюет, предается отчаянию. Искусство и систематизирует эти чувства,

<sup>1)</sup> «Уже Шекспир знал, — и гораздо лучше наших теоретизирующих мелких буржуа, — как мало общего имеют деньги, эта наиболее всеобщая форма собственности, с индивидуальными особенностями, и, как, напротив того, они им чужды». («Documente des Sozialismus», III).

<sup>1)</sup> Эта оговорка — «в закономерном движении» — которая дает повод думать, что Лузгин отрицает за искусством только функцию познания законов природы, появляется совершенно неожиданно и немотивированно. Лузгин все время говорит не об этом, т. е. не о том, что установление, скажем, физических или химических законов не есть задача искусства, что было бы совершенно верным, а о том, что природа вообще не является «предметом» искусства.

выражая их в художественных образах».

Вы естественно ожидаете, что Лузгин сочувственно цитирует Бухарина: оттого, что он с ним согласен, примыкает к нему, хочет подкрепить его словами свои собственные соображения. Но то, что он делает, заставляет вас широко раскрыть глаза.

«Эта формулировка, — говорит он, приведя слова Бухарина, — должна быть уточнена. Подходя к людям со стороны их чувств, искусство по самой природе людей охватывает их мысли».

Вот те и раз! Хорошее «уточнение», нечего сказать! Если искусство охватывает не только чувства, но и мысли людей, то зачем было приводить Бухарина, который говорит обратное, а именно, что особенность искусства, его отличие от науки, состоит в том, что оно систематизирует чувства, а не мысли? А если Бухарин неправ, почему он «близко подошел» к правильному решению вопроса? Распутать эту логическую путаницу не представляется возможным. Очевидно, теоретическая «близость» понимается Лузгиным очень примитивно. Скажем, вы утверждаете, что «спецификум» искусства заключается в том, что оно мыслит образами. Подходит к вам Лузгин и заявляет: да, вы «близко подошли» к правильному решению! Да, искусство конкретно и образно. Но, кроме того, оно абстрактно. — Конечно, в сумраке такой логики все кошки серы и все определения однозначны.

Но в «безумии» Лузгина есть своя система. Пусть у его логики перебит хребет. Он цитирует Бухарина недаром. У него есть «тонкий» расчет. Он хочет найти какой-то «выход», какую-то формулу, которая бы примирила непримиримое. «Между теми и другими (т. е. между чувствами и мыслями), — продолжает он, — не лежит никаких непроходимых границ. Напротив, чувства выражаются в мыслях, мысли вызывают чувства». Далее следует то набранное в разрядку определение искусства, которое я уже цитировал выше. Выход найден. Между чувством и мыслью нет непроходимых границ. Искусство выражает и мысль, но как «чувственное

переживание». Таким образом, и Плеханов сыт<sup>1)</sup> и Бухарин цел. Какой он хитрый, этот Лузгин!

Но что же все-таки значит: мысль, «как чувственное переживание»? Определение «чувственный» имеет два смысла. Один — бытовой и литературный — сексуально окрашенный. Другой — тот, в котором оно употребляется в философии, где термин «чувственный» означает то, что непосредственно дано органам чувств, т. е. непосредственное, конкретное восприятие в противоположность абстракции, понятию, мышлению. Это — тот самый смысл, который слышится в слове «сенсуализм», в его знаменитом тезисе: ничего нет в понятии, в разуме, чего бы прежде не было в ощущении, в «чувстве». Поэтому «чувственное переживание» вообще nonsens, бессмыслица. Лузгин производит определение «чувственный» по-бытоватски от «чувство» — эмоция, переживание. Но в таком случае, его определение бессодержательно: «эмоциональное переживание», «переживающее переживание». Переживание всегда эмоционально, т. е. получается милая сердцу Лузгина тавтология.

Но что дает эта пустая формула для понимания роли мысли в искусстве? Мысль, как «чувственное переживание», очевидно, может означать только то, что у человека мышление не протекает безразлично, а связано с определенными, иногда очень яркими, эмоциями, и что искусство имеет своим объектом именно эти, хотя и связанные с мышлением, эмоции, но не самые мысли. Иного разумного толкования тезис Лузгина не допускает. В таком случае Бухарин, разумеется, оказывается правым, но весь с таким трудом сооруженный Лузгиным синтез летит к черту. Указанием на относительность границ между мыслью и чувством вопрос не снимается. Абсолютных противоположностей вообще не существует, но это не дает еще права стирать всякие различия<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Плеханов, как известно, утверждал, что искусство выражает не только чувства, но и мысли.

<sup>2)</sup> В искусстве мысль связана с конкретными людьми, с их эмоциями — это определение кажется Лузгину чрезвычайно оригинальным.

Усевшись благополучно в калошу, Лузгин продолжает в ней свое опасное плавание по сердитому морю теорий. Попутный ветер прибывает его к неисследованным берегам. Перед ним мрачной загадкой встает вопрос о методе. Но он набирается духу и одним прыжком преодолевает препятствие. «Основной творческий метод художника, — важно басит наш исследователь, — основной его критерий, это — он сам, его чувственные переживания».

Трудно в целом трактате налутать больше, чем это сумел сделать в одной фразе Лузгин. Во-первых, смешаны, слиты в одно две разные вещи: метод (т. е. способ работы художника, организации материала) и критерий (мерило оценки). Во-вторых, для этих двух слитых в одно понятий даны, по существу, два разных определения: «сам художник» и «его чувственные переживания». Но художник не только «переживает», он и мыслит. Получается, таким образом, невообразимая мешанина из четырех противоречащих друг другу формулировок. Попробуем разобрать каждую из них в отдельности:

1. «Метод художника — он сам». Явный абсурд этого определения бросается в глаза (метод спутан с субъектом).

2. «Метод художника — его чувственные переживания». Но «переживания» художника могут быть только предметом искусства, а не его методом. Формула снова вплотную упирается в абсурд (метод спутан с объектом).

3. «Критерий художника — он сам». Это — провозглашение самого крайнего субъективизма: у художника нет никаких критериев, кроме его воли, его

нальным и специфическим. Но эмоциональная окраска мысли свойственна не только искусству, а и публицистике, ораторской речи, агитации, нередко научному изложению (пример «Капитал» — Маркса). Значит, этот признак не специфичен для искусства. Не многим более пригоден и другой: связь мысли с «конкретным носителем», с «живым человеком», создаваемым художником, т. е. с типом, с персонажем. Такая связь существует только в произведениях эпических (роман, повесть, рассказ) и отсутствует, например, в лирике, где «типов» нет. А между тем, мы знаем лирику мысли. Словом, Лузгин здесь снова, повторяя свою ошибку, заменяет понятие «искусство» понятием «беллетристика».

желания, его настроений (а почему бы и не его капризов?). Дальше в направлении художественного солипсизма идти уже некуда. Вы вспоминаете: «Ты царь. Живи один... Ты сам свой высший суд». Но, по сравнению с нашими напостовцами, Пушкин — ортодоксальнейший марксист. Суд всегда руководствуется какими-то нормами, какими-то законами. Поэт судит себя сам, но, в процессе этого внутреннего суда, он — сознательно или бессознательно — применяет какие-то критерии, которые ему кажутся правильными, т. е. объективно значимыми. Иначе говоря, Пушкин не отменяет критериев, но он требует, чтобы право окончательной проверки принадлежало художнику. Лузгин же отрицает самое существование критериев, сводя их к эмоции или капризу художника. Если в пушкинском понимании поэт — «просвещенный монарх», как его представляли себе философы XVIII века, — самодержец, но действующий на основании законов, то у Лузгина он — восточный деспот, признающий только свою волю. Этот безграничный субъективизм еще более подчеркивается последним вариантом формулы:

4. «Критерий художника — его чувственные переживания». Т. е., интеллект, разум, рассудок вовсе отбрасываются, — не только как участники в акте творчества, но и как участники в акте оценки. Старое содружество муз и разума, провозглашенное еще Пушкиным, здесь объявляется расторгнутым. До этого договаривались только мистики. «Да здравствуют музы! Да здравствует разум!» — восклицает Пушкин. «Да здравствуют музы! Но нельзя ли задернуть занавесочку? — вносит скромную поправку-предложение Лузгин, — ваше «бессмертное солнце ума» — слишком ярко, при его свете неудобно творить и рассматривать произведения искусства». Они требуют полумрака, в котором человек расплывается тенью, но зато и тень может сойти за человека, а Лузгин за теоретика. Они требуют полумрака, как малокровье — мышьяка, как близорукость — очков, как запор — клистира. Они требуют полумрака, а потому — «разрешите задернуть!».

И эти без пяти минут мистики, эти расслабленные субъективисты имеют еще смелость упрекать Воронского в преувеличении подсознательного момента, в недооценке роли рассудка, разума, ratio. Да, Воронский говорит, что художник должен стремиться к некоей первоначальной «чистоте», детскости, наивности видения. Но, говоря так, он имеет в виду первую фазу творчества, правда, наиболее существенную. В дальнейшем же, при обработке материала, при компановке вещи, а тем более, при самопроверке поэта, «разум» вступает в свои права, корректирует, дополняет, формирует материал первоначально данных впечатлений. С этим можно соглашаться или не соглашаться<sup>1)</sup>, но ясно, что роль ratio здесь вовсе не игнорируется, в то время, как в формулах Лузгина для него не осталось никакого места.

## 5

Но существует еще одно открытие, за которое Лузгин должен, по справедливости, получить Нобелевскую премию, так оно оригинально и многообещающе: «Отражаемые в каждом произведении отношения, чувства и мысли людей, — пишет он, — несравненно более изменчивы и преходящи, чем основные «общественные формы», в рамках которых они заключены».

Если сознание развивается быстрее, — и даже несравненно быстрее, — чем общественное бытие<sup>2)</sup>, то, очевидно, это последнее не может являться причиной развития сознания.

<sup>1)</sup> Я лично принимаю положения А. К. Воронского, как гипотезу, которую еще следует доказать на фактическом материале (причем, только проверка может установить границы ее правильности и применения); но уже сейчас видно, что крупное зерно истины в ней имеется.

<sup>2)</sup> Выражение «общественные формы», заключенное Лузгиным к ковычки, взято у Энгельса, где оно, как это видно из контекста, должно быть понято, как обозначение общественного бытия — совокупности условий общественной жизни. «Познание здесь (т. е. в общественных науках), — пишет Энгельс, — по своему существу... ограничивается выяснением связи и следствий известных... общественных и государственных форм».

Но чем же оно тогда вызывается? Очевидно, причина развития сознания лежит в самом сознании, «дух» развивается сам из себя. В таком случае надо либо, оставаясь последовательным монистом, предположить, что изменение бытия является следствием изменения сознания, либо считать, что мир расколот пополам: сознание движется по собственным законам, независимо от бытия, — а бытие по собственным, независимо от сознания. Иначе говоря, Лузгин должен или стать на дуалистическую точку зрения, или притти к законченному идеализму: «мнения правят миром», «история — самораскрытие духа».

Я постарался разобрать теории Лузгина по перышку: утверждение за утверждением. Я взялся за эту неблагодарную работу не потому, что меня интересует Лузгин (кого он может заинтересовать?), а потому, что он — типичен, потому, что он — почти символ. Вот он стоит перед нами в своей жалкой и непривлекательной нагоде, обдианный напостовский цыпленок. Он почти ничего не знает, он не умеет продумать простейшей мысли, он путается в элементарных понятиях, он не способен сформулировать самый несложный тезис, не впад в кричащее противоречие с самим собой. В нем отсутствует что-либо устойчивое, но про него нельзя даже сказать, что он мечется. Здесь не метанья беспокойной мысли, а неловкая походка человека, который в темноте спотыкается и попадает из ямы в яму. Я его назвал «без пяти минут мистиком». беру свои слова назад. Он не мистик. Мистик имеет какие-то определенные взгляды, какую-то, пусть ложную, пусть искривленную, систему мировоззрения. Это же — просто пошехонец, заблудившийся в трех соснах. Сегодня он — крайний субъективист, завтра он ругает Плосского за непоследовательность и Воронского за отступления от марксизма, послезавтра он вплотную подойдет к идеализму. Но он не мистик, не марксист, не сторонник идеализма. Он — человек, не понимающий смысла собственных утверждений. Он беспомощен в вопросах теории до того, что для него стирается самое понятие

ошибки. Он — доморощенный философ, старающийся при помощи двух цитат и собственных досужих домыслов разрешить сложнейшие вопросы, требующие конкретного изучения. Он похож на чеховского любомудра, который объяснял укорочение дня зимой тем, что день от холода сжимается.

И этот человек кого-то поучает, что-то редактирует, где-то распоряжается! Он дает молодым авторам указания как писать, он строго журит старших, он разрабатывает (да, да!) вопросы марксистского искусствоведения, он указывает пролетарской литературе пути ее развития. Это придает его писаниям вес, которого они сами по себе никак не могли бы иметь. Это заставляет останавливаться на них, разбирать их всерьез. Пригодные разве лишь как объект для юмористического фельетона, они приобретают некую общественную значимость. Комическое превращается в трагикомическое.

То, что у Лузгина — ералаш в голове, то, что он не умеет мыслить, — факт индивидуального порядка. Но то, что человек, не умеющий членораздельно мыслить, получает возможность выступать от имени большой литературной организации, — уж факт общественного значения. Пойдем дальше. Да, путанность Лузгина, — его личное свойство, факт его биографии. Но когда эклектическая путанность мысли соединена с революционностью фразы, когда она становится свойством не одного только Лузгина, а целого ряда «теоретиков», то не начинают ли просвечивать сквозь эти личные особенности признаки какой-то общественной, социальной категории? Оставим пока вопрос открытым. Мы еще к нему вернемся. А сейчас положим последние блики на портрет нашего героя.

## 6

Теория искусства — не единственное поприще, где находит себе применение его блистательный талант. Произведя свой пресловутый переворот в науке, Лузгин, отдуваясь, располагаясь на отдых и начинает благодушествовать. Он превращается в историю

графа, в этакое милого и болтливое старичка. Он рассказывает детям и внукам потрясающую историю возникновения и деятельности великого ордена «На посту». Он великодушен и беспристрастен. Он готов даже самого себя не щадить, буде он в чем-нибудь провинился. И свой рассказ он начинает с покаяния.

«Основная ошибка напостовства того периода (т. е. первых лет), — мужественно заявляет он, — это неверный подход к попутчикам».

И мы уже растроганно следим за его рукой, сжатой в кулачок и готовившейся произвести символический обряд бинения в грудь. Но внезапно рука останавливается на полдороге, щадя драгоценную грудную клетку Лузгина. Ошибка превращается в «односторонность», а о последней говорится так: «односторонность эта была естественна, жизненно-необходима молодому движению». «Жизненно-необходима», — это значит, более чем полезна. «Жизненно-необходима», — это значит, что если бы «односторонность» не имела места, пролетарское литературное движение должно было бы погибнуть. Какая же это ошибка? Наоборот, это лучшая заслуга напостовцев. Они вправе ею гордиться, а пролетписатели обязаны их за нее денно и ночью благодарить. И, очевидно, весь обряд покаянья был лишь стыдливой маскировкой, своеобразным способом произнести себе панегирик. Но в чем состоял «неверный подход к попутчикам»? В том, что они огульно объявлялись клеветниками, пакостниками, эстетствующими мещанами и т. д. (см. статьи Б. Волина, Родова и др. в первых №№ «На посту»). Но как же это неправильная ориентация, неправильный учет действительности могли оказаться полезными в пролетарской литературе? Случилось ли это, как исключение, — или, вообще, неправильный учет действительности полезнее правильного? И, может быть, тогда следует откинуть практику трезвого анализа действительности, которой до сих пор руководствовался пролетариат, и заменить ее субъективным методом — не только в литературе, но и в истории?

Лузгин пытается объяснить. Ошибка напостовцев оказалась «жизненно-необходимой», потому что «молодое движение и думать не могло о том, чтобы фактически повести за собой попутничество». Объяснение это совершенно изумительно по своей логике. Раз мы слишком слабы, чтобы повести за собой попутчиков, то мы должны, искажая действительность, объявить их контр-революционерами, забросать их грязью. Т. е. они контр-революционеры не потому, что на деле реакционны, а потому, что пролетписатели слабы. Иначе говоря, по Лузгину выходит, что ругать попутчиков надо было потому, что, кроме ругани, им нечего было противопоставить. Если это не называется клеветой на пролетписателей, то я уж не знаю, что назвать клеветой.

Итак, схема рассуждений Лузгина такова:

а. Мы ошибались.

б. Но наши ошибки были неизбежны.

с. И даже жизненно-необходимы.

Теперь к этой цепи прибавляется четвертое звено:

д. В ошибках наших виноваты не мы, а наши противники. Этот замечательный довод от изнасилованной невинности приводится Лузгиным в такой поистине классической формулировке:

«Ошибка в отношении к попутчикам была ошибкой, т. е. не вытекала из основной напостовской установки (??), а была доведена до уровня ошибки лишь как реакция на ошибки противников...».

Здесь несомненно — венец и вершина диалектических способностей Лузгина. Во-первых, ошибкой оказывается лишь то, что не вытекает из основной установки. Ну, а как быть, если основная установка неверна? Будут ли следствия из нее ошибочными или верными? Вот неразрешимый вопрос! Во-вторых, Лузгин хочет нас уверить, что ошибка напостовцев стала таковой только вследствие нападок противников. Но, прежде всего, нельзя изображать напостовцев бедными овечками, на которых напали волки из «Красной Нови», как это делает Лузгин. Все это происходило слишком недавно и еще

не успело изгладиться из памяти. А если Лузгин забыл, я ему напомню. Я ему напомню первые номера «На посту», в которых оплевывалась вся литература вплоть до «Кузнецов», вся литература, за исключением небольшого кружка писателей, близких к «Октябрю». Я ему напомню, как Вардин и другие требовали от партии, чтоб она им «передоверила» художественную политику, сделала бы ВАПП орудием ее диктатуры в литературной области, официально признала основные положения вапповской программы, как они добивались «процентной нормы» для попутчиков и т. д. — и ни один Авербах их тогда не дезавуировал. Я бы ему напомнил — но достаточно и этих фактов. Не на «На посту» нападали, а «На посту» был нападающей стороной. Но еслиб даже и нападали, то хороша литературная группа, «политика» которой определяется тем, что о ней скажут ее противники!

Так, признавая свои ошибки на словах, Лузгин и его единомышленники отрицают их на деле. Они не могут иначе поступать, потому что они попали в двусмысленное положение. С одной стороны, они действительно сменили вехи и в ряде важнейших вопросов стали на сторону своих противников, у которых, мягко выражаясь, «заимствовали» лозунги. С другой стороны, они существуют в значительной мере за счет той репутации, которая создана старым «На посту» и потому должны поддерживать видимость непрерывности традиций и общей линии. Двусмысленность положения не может не вызывать противоречивости в высказываниях. Напостовцы путают потому, что вынуждены лутать.

Но мы можем утешить Лузгина. Пусть они и покаяться и сменили вехи. Они все равно пока ничему не научились. В этом смысле они вполне правы, утверждая, что остались на старых позициях. По крайней мере, на Лузгине это видно с поразительной отчетливостью. Но Лузгин — только протестейший напостовский организм, напостовская манера, выявляющая видовые особенности в наиболее элементарной и наглядной форме. Это и заставило меня так долго задержаться на нем.

Пусть у него нет тактического искусства Авербаха, во все стороны брызжащей учености Гроссмана-Рощина, гениальных догадок Ермилова. Из них всех он наиболее закончен, а, значит, и наиболее совершенен.

Есть глубокое соответствие между его художественным творчеством и его теоретической работой. Убогость беллетриста в нем сочетается с убогостью критика. Его таланты равны его учености. Все в нем находится в равновесии, все подчинено одному основному принципу. Он гармоничен, как

мажорное трезвучие. Вряд ли когда-нибудь ермиловский идеал был так близок к осуществлению. Бедный романтик из «На Литпосту» и не заметил, что предмет его бесконечных исканий находится так близко от него, в той же редакции. Примите же его, Ермилов, — хотя бы из моих рук! Недаром вы терпели недоуменные взгляды друзей и издевательства врагов. Недаром вы боролись, недаром шли и падали. Ваши страдания были не напрасны. Голубой цветок сорван. Найден гармонический человек.

## 2. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО РАБКОРОВ

(По поводу одного альманаха<sup>1)</sup>)

Ник. Смирнов

Армия рабочих и крестьянских корреспондентов неуклонно растет и расширяется: она насчитывает в настоящее время около пятисот тысяч человек. Их неутомимая деятельность приобретает все большую общественную значимость. Советская, в особенности массовая, газета немислима без участия рабкоров и селькоров: в их статьях и заметках отражается, как в зеркале, живая и подлинная жизнь деревни и завода. Разумеется, «отражение» не является конечной задачей рабселькоров, — они не только наблюдатели, но, в первую очередь, активные участники социалистической стройки, мужественные и твердые борцы на фронте труда. Будучи тесно связаны с производством и землей, они в своей работе выполняют роль критиков, сигнализаторов, организаторов и инициаторов.

Рабочие и крестьянские корреспонденты — один из показателей огромной стихийной тяги к культуре, наблюдающейся в трудящихся классах, политически, экономически и морально раскрепощенных революцией.

Массы имеют не только своих журналистов, но и художников, писателей и поэтов, вызревающих, опять-таки, в среде рабселькоров. В несметных стенных газетах, рассеянных по избам-чи-

тальям, народным домам и фабрично-заводским клубам, весьма часто встречаются стихи и рассказы — тот первоисточник новой, в широком смысле народной и революционной литературы, которой принадлежит будущее. Никем не изучаемая и не исследуемая, эта литература, несмотря на свою неопытность, глубоко самобытна. Она заслуживает вдумчивой и всесторонней оценки. Альманах «Правдист» не должен остаться незамеченным. Он имеет все права на внимание общественности.

Основная характерная особенность этого альманаха — свежесть и широкое разнообразие тематики. В альманахе, за немногими исключениями, нет ни штампа, ни трафарета, ни намеренного «сведения концов с концами», — качеств, превращающих художественное произведение в говорящую картонную куклу, в деревянный, расписной манекен. В этом альманахе бьется струя подлинного живого слова, разбивающего барьеры схематизма, глубоко убеждающего естественной простотой. Авторы альманаха не ограничивают творчество только сегодняшним днем и, неизменно оставаясь «созвучными» эпохе, умеют находить это «созвучие» в каждом жизненном явлении. Они берут жизнь во всей ее полноте, эпоху —

<sup>1)</sup> «Правдист», альманах литературной группы рабкоров ЛАПП, «Прибой», 1929 год., стр. 135.

во всей разветвленности и многосложности. Для них не существует «нормированных» тем: революция, неизменно оставаясь единственной основой художественного рабкорского творчества, увлекает их, прежде всего, своей целостной огромностью. Их привлекает не только великий строительный размах, но и то, благодаря чему стала возможна современная социалистическая стройка — победоносная гражданская война. Они, наряду с изображением коллектива, вернее, в гармонии с ним, останавливаются и на творческом воспроизведении отдельной личности. Мужество и сила революционных масс сочетается в произведении рабкоров с судьбой и участью отъединенной человеческой жизни. Трагическое в революции и в одиночной человеческой судьбе — одно из наиболее заметных отличий рабкорских рассказов, составляющих настоящий сборник.

В сборнике ясно звучат траурные мотивы: большинство рассказов заканчивается смертью. Эти рассказы посвящены, по преимуществу, гражданской войне. Стремление рабкоров-художников по своему подойти к событиям и людям сказывается и в их обрисовке жестоких классовых битв. Непосредственность восприятия, бестеденциозность, непреднамеренная логичность выводов влекут за собой искренность и впечатляющую убедительность рабкорских рассказов.

Гражданская война — колоссальнейшее событие в истории российского (и международного) революционного движения — долго будет служить объектом художественного произведения. Тема гражданской войны уже довольно подробно разработана в советской литературе, но многое в ней еще ждет своего писателя. В частности наименее ярко освещена та первенствующая роль, какую играл в гражданской войне знаменосец мировой революции — пролетариат. Здесь — огромный материал для молодого революционного художника.

Рассказ Ив. Укусова «Седьмое отступление», открывающий данный альманах, частично касается этой неотъемлемой темы. Рассказ наглядно показывает, как в минуту опасности, — налет

белых на рудники, — раздробленная рабочая масса мгновенно самоорганизуется, противопоставляя вражескому террору крепчайшую мощь сознательно-обдуманной сплоченности и неразрывного единства. Один из главных героев рассказа, Максим, гибнет в вооруженном столкновении с белыми, но его гибель, траурно окрашивая рассказ, не сдвигает творческой перспективы: рассказ остается обещающим и бодрым, — в нем, в конце концов, торжествует жизнь. Он заканчивается теплым и мягким рисунком: ребенок, сын погибшего Максима, играет около глыбы, на которой высечены лица шахтеров, расстрелянных белыми (в том числе и его отца).

Отход от плакатности, безусловно чувствуемый в рассказах, — принадлежит к числу несомненных достижений рабкорского творчества. В этом — доказательство воли рабкоров к настоящему искусству. Инстинктивно ощущаемое в рабкорских произведениях стремление преодолеть натурализм и бытовизм, настойчивые, хотя часто и ученически-безуспешные попытки показа людей и событий изнутри, — свидетельство неуспокоенного творческого горения. Отрицая «стабилизированную» тематику, рабкоровы, в то же время не связывают свое творчество и канонизированными формами. Если в «Седьмом отступлении» Ив. Укусова утверждается принцип включенческого, экспрессивно-кинематографического рассказа, то в «Сороке» Е. Донцовой и в «Человеке без головы» П. Калинина интуитивно дается острый, напряженный гротеск. Довольно хорошо используется, в отдельных случаях, и прием сказа. За образец можно взять рассказ В. Соколова «Граница», в котором с веселой живостью передано повествование мужика, долго странствовавшего, якобы, по наркоматам — в поисках за «справедливостью» (дело происходит во время гражданской войны). Любопытно мужицкое представление о Ленине как, действительно, о своем, близком человеке:

«Отдал я пропуск часовым и пошел в 18 комнату. Прихожу туда, вышли из комнаты все, которые по другим де-



лам были, вошел и я туда. Гляжу, ходит по комнате человек приземистый, сутулый, а лицо такое простое, приветливое. Увидел меня, улынулся: — Входи, входи, товарищ Клубникин, садись...» и т. д.

Во всех этих рассказах неизменно проступает творческая индивидуальность писателя. У каждого писателя — свой, особый подход к материалу, свое, обычно, бережное тщательное и любовное обращение со словом.

Гражданская война — одна из главных тем альманаха — освещена с самых разнообразных сторон. Два открыто противостоящие друг другу мира (официерство и рабочие) в «Седьмом отступлении» сменяются у Е. Донцовой двумя смертельно враждебными прослойками в недрах одного класса — крестьянства. Убийство передового крестьянина — бедняка кулаком — рассказано автором со всей потрясающей отчетливостью. Лаконическая, краткая, но зловеще-углубленная и точная обрисовка кулака раскрывает в авторе способность художественного взгляда на мир.

То же можно отнести и к автору «Медного леса», В. Пеккерту, — в его рассказе, взявшем опять-таки гражданскую войну в деревне, проведено столкновение двух начал в этой войне: анархически-партизанского, разински-картинного и — пролетарского, организующего, в известных случаях, под давлением обстоятельств, железно-беспощадного.

Анархическое начало в крестьянской революции, его политическая неустойчивость, приводящая в особенно трудные и резкие моменты к махновщине или даже к Кронштадту, составляет основу и другого рассказа В. Пеккерта — «Лесная неходь». Герой рассказа — мастер-кустарь Гробина, который «воевал 11 месяцев... потом ему надоело все, спуталось как-то, и он с тремя знакомыми по боям людьми пришел в тайгу на отдых». Вместе с ними ушла девушка, — отсюда звериная телесность рассказа, его древне-лесное начало, со всей первобытной страстью звучащее в осеннем реве оленей или в самозабвенном весеннем токовании косачей.

Этот рассказ интересен не только со стороны своей темы, — она довольно традиционна, — но и как пример отношения пролетарского писателя к природе, к дикому миру глухих, звериных лесов. Природа, пейзаж никогда не выпадет из творческого сознания художника, в том числе и пролетарского, однако, ее «освещение» и воспроизведение носит на себе неизгладимую печать социальной сущности художника. Молитвословная созерцательность, преклонение, или, даже, «ужас», а равно и нежнейшая слиянность — все эти чувства человека к природе чужды пролетарскому миросозерцанию. Пролетарское миросозерцание характеризуется, прежде всего, активностью, воленапряженностью — чувством силы и мощи человека — покорителя. Природа для пролетарского художника — не стихийно-вековая данность, но в значительной мере неисчерпаемый строительный материал, что, разумеется, несколько не отрицает за ней значения источника радости, бодрости и здоровья.

В рассказе В. Пеккерта, на ряду с довольно четко проведенной линией человечески-городской власти над природой, проходит другая, параллельная, лирическая линия, напоминающая о Гамсуне, о созерцательном любовании, об одинокой сердечной примиренности.

— Я люблю землю, славлю солнце и пою песни травам. Весной ухажу будить их. Я иду по тайге, разговариваю с ней и слушаю ее. Мы понимаем друг друга, и ночами тайга ласкает меня и поет душистыми росами...

Рассказ лишен законченной четкости: он смутен. В нем есть несомненная крестьянская подоснова. Если бы мы занимались раздачей жетонов и патентов, то автор его получил бы патент кустика или рабочего, только что пришедшего из деревни, а потому... и т. д., и т. п.

Деревня, вообще, всячески привлекает внимание авторов альманаха. Они берут ее и в обстановке гражданской войны, особенно обостряющей социальные особенности и противоречия, и в обстановке повседневного бытового затишья. В сборнике, в качестве исключения, встречаются и чисто крестьян-

ские рассказы, как, например, рассказ Е. Люфанова «Пустырем». Тематически рассказ крайне несложен и прост: изображается одинокая — пустырем — жизнь человека, потерявшего жену, сына, а затем и приемыша. Нельзя, конечно, возражать против этой темы, — она, как и всякая человечески-глубокая тема, имеет все литературные права, — однако, трактовка ее вызывает решительный протест. Смерть сына и приемыша героя — оба тонут в реке — придает рассказу ясно-выраженный фаталистический характер. Закон «предопределения», судьбы («ее же не прейдеши») — необходимая принадлежность верований прошлого, «ничего духом» человека. Этот человек, этот «ветхий Адам» еще жив в среде современного крестьянства. Иван Семенович — центральное лицо рассказа «Пустырем» — довольно отчетливый его слепок. В полном соответствии с идеологической установкой рассказа находится и его «стиль», в частности его сравнения, носящие явные следы антропоморфизма: «прошла сердитая ночь, похлопала дверкой на чердаке, прогремела на крыше ржавым отставшим железом, к утру неслышно ушла в валенках чешанках»...

Свойства, отличающие ветхого деревенского «Адама», — потерянности, обреченности, душевная нищета, — имеют и обратную сторону, воплощенную в чувстве собственности и, отсюда, в рабском подчинении природе и вещам. Оно в корне враждебно пролетариату, объявляющему беспощадную борьбу всяческому, материальному и моральному, рабству. Пролетарский писатель, изображающий деревню, упирается, прежде всего, в человека, олицетворяющего в силу собственнических «правил» окружающих — в том числе и родственных ему — людей. Собственность, довлеющая над человечностью, служит фоном рассказа А. Бессонова «Тяжелый человек».

Автор, взяв отдельный, полуанекдотический «бытовой» случай, уверенно нарисовал обобщенно-показательный образ человека, находящегося в жесточайшем плену земли, — образ жадного «хозяина», который, в погоне за лишней

«полудесятиной», всячески мучит свою беременную жену. «Тяжелый человек» — мрачный и грустный рассказ. Однако, «мрачность» его не беспросветна: он, будучи до конца правдивым, оставляет, в результате, положительное, а не отрицательное впечатление. Внимательный читатель сделает единственный вывод из этого рассказа — он (читатель) на живом примере почувствует весь поистине свинцовый гнет того «земледельческого быта», материальные корни которого лежат в единолично-собственническом хозяйстве.

Художественная правда убедительна. Литература о современной деревне, переживающей целый ряд острых социальных процессов (дифференциация крестьянства, напор кулацкой стихии, колхозное строительство и т. д.), только в том случае выполнит свою революционную роль, если сумеет увидеть деревню во всей ее правдивой широте. Это «междустрочное» примечание по поводу «беллетристики», культивируемой в некоторых изданиях и журналах, именующих себя крестьянскими, — беллетристики, занимающейся соответственной перелицовкой старинных «деревенских» пасторалей. На этих пасторалях изображались, как известно, «аркадские» пастушки с берестяными жалеячками, кружевные овечки и козочки в шелковых багниках, жеманные крестьяночки, непонимающие институток, и кудрявые паренки, целыми днями оттопывающие «русскую»... На языке дворянской поэзии начала прошлого века это звучало, примерно, так:

В различных купах под кустами  
Со светлыми, как день, очами,  
Сидят беспечно пастушки.  
Их снесь: млеко с суровым хлебом;  
Но кто счастливей их под небом!  
Забота их: свирель — рожки.

.....  
Стеклись под сень с работой жены;  
Работа их — веселый пир.  
Млеко все чащи наполнены,  
В сосудах не вместился сыр <sup>1)</sup>...

В современных, поэтических и прозаических, пасторалях «жены» непременно являются делегатками женотде-

<sup>1)</sup> Из поэмы Анны Буниной «Весна» («Стихотворения А. Буниной», СПб, 1819 г.).

ла, а «пастушки» носят костюмы юнгов-штурма и непрерывно читают доклады о коллективизации и тракторизации. Социальное значение такой литературы всегда обратно пропорционально ее замыслу. С этой стороны маленький рассказ рабкора Бессонова имеет несравненно более прогрессивное значение, чем, например, огромный (и тенденциознейший) роман, где умирающий герой обращается к читателю с таким потрясающим «заветом»:

— Следите за развитием животноводства! Развивайте площадь посева! Сейте чистосортные культуры!..<sup>1)</sup>

Рассказ А. Бессонова, как и другие рабкоровские рассказы,—призыв к работе, к действительности.

Действенность, целеустремленность рабкоровского творчества входит необходимым слагаемым в сумму его особенностей. Наиболее ярко проявляется это в рассказах П. Калинина «Человек без головы» и Ив. Уксусова «Затопленная шахта».

В «Затопленной шахте» с неослабной силой проведено жуткое единоборство рабочих со стихией, а в «Человеке без головы», написанном, как уже отмечалось, резкими фантастическими красками, отражена борьба с мелкобуржуазными влияниями в комсомоле.

Комсомольская масса не раз приковывала к себе внимание современной литературы. В частности, тип комсомолки, встречающийся в литературе, уже получил свой — двойственный — штамп: или «жрица свободной любви», или, наоборот, «глубокая натура», синий чулок.

Правдивость, в той или иной мере присущая рабкоровскому творчеству, помогла автору «Человека без головы» наметить живую фигуру девушки и набросать простые «житейские» картины интимного комсомольского быта.

Вот, в частности, подробность, целиком характеризующая героя рассказа — чиновника и карьериста.

«Бывало, записок целый стол и карманы заполнены, а отвечать не на что. Хорошо, что Душка (фамилия героя) всегда умел выход найти. На запис-

ку — «кого вы любите, блондинок или брюнеток?» — он отвечал: «Да, товарищи, война будет бесспорно, но срок ей мы никогда не назначали и не назначим. Одно ясно — война неизбежна, призываю вас быть готовым к ней. Организуйте военные кружки, идите все в ряды Осоавиахима, крепите Красную армию. Будущая война — это схватка двух гигантских сил труда и капитала».

Следует, впрочем, оговориться: «Человек без головы» — рассказ, более, чем все другие отягченный преднамеренностью. П. Калинин, имеющий в своем распоряжении только две краски, — черную и белую, — пишет по транспаранту. Однако, многое говорит за то, что он неуклонно (и с успехом) стремится вырваться из рамок условностей и трафарета.

Быстрейшее изживание трафарета, способность видеть мир без «подзорной» трубы и бинокля, глубокое творческое самосознание — вот необходимый залог будущего развития рабкоровской — пролетарской — литературы.

Сборник позволяет думать, что дальнейшее ее развитие пойдет именно по этому углубленному пути. Для такого пути у рабкоров есть все творческие данные и, как их основа основ, любовь к человеку, — разумеется не отвлеченному, а к человеку своего класса, к товарищу по работе и соратнику по борьбе.

Максим из «Седьмого отступления», Игнат из «Затопленного рудника», бедняк Николай («Сорока») и др. — все они выписаны с большой, подлинной человечностью, все овеяны дыханием глубокого и мягкого, истинно-родственного человеческого тепла. Поиски живого человека нашей эпохи, — одна из главнейших задач художественной литературы, — проникают каждый рассказ, каждую строку рабкоровского альманаха. В этом хороший и достойный ответ низовой пролетарской литературы тем «классическим парикам» (или лысинам), которые зовут литературную молодежь к штампу, к схеме, к изображению «рационализированного» человека с автоматическим сердцем и тяжелой медной головой.

<sup>1)</sup> Из романа Кибальчича «Поросль», выпущенного ГИЗ'ом.

\* \* \*

Альманах, несмотря на искристые блестящие таланты, следует все же рассматривать в плане творческого ученичества. Он свидетельствует лишь о первичном приобщении литературной молодежи к настоящему искусству. В нем много незрелого, наивного, иногда беспомощного и ребяческого, но, вместе с тем, радостного, обещающего, пахнущего «клевыми ли-

сточками» юности. Он полон взволнованным чувством жизни. В нем есть свежесть и несомненная общественно-социальная острота. Его место в литературной современности весьма скромно, но не незаметно: альманах с наглядностью показывает, что культурно-бытовая революция, охватывающая широчайшие трудовые массы, рождает и нового человека, и нового — будущего — мастера художественного слова...

### 3. ЗАМЕТКИ НЕДОУМЕННЫЕ

#### С. Пакентрейгер

##### „Фрагментарные отрывки“

«Отрывки из романа Ф. Гладкова «Энергия» очень фрагментарны» — пишет обозреватель «На Литературном Посту». По-русски эту фразу надо понимать так: «Отрывки из романа Ф. Гладкова «Энергия» очень отрывочны». Больше ничего по существу не сказано. Очевидно, обозреватель хотел развлечь читателя своей загадочной оценкой, потому что, по его мнению: «при всем желании трудно останавливаться сколько-нибудь подробно на беллетристике № 1 «Красной Нови». Основное впечатление, которое остается после чтения номера, сводится к скуке». Оспаривать основное впечатление не приходится да и не следует.

Очень похвально желание обозревателя развлечь читателя, но справедливость требует, чтобы всякую журнальную скуку анализировать «не взирая на лица»: не обходить одного автора краткими и веселыми фразами, а против другого направлять уничтожающий артиллерийский огонь.

##### А скука—это реакция?

Но в том то и дело, что у обозревателя есть своя особая классификация не то скуки, не то беллетристики. Он пишет: «Если беллетристика № 1 «Красной Нови» просто скучна, то беллетристика № 2 этого журнала в преобладающей своей части отражает явно реакционные настро-

ения». Вот и разберись в юморе обозревателя. Как же это понять? «Просто скучное» несовместимо с реакционным или «просто скучное» может быть родным, дорогим, близким? Мы сделали, очевидно, неверное предположение, будто обозреватель-юморист хотел развлечь изнемогавшего от тоски читателя. Может быть, чувство родства и привязанности продиктовали ему вместо беспристрастной откровенной фразы фразу загадочную: «отрывки очень фрагментарны». Может, критик считает, что родных пороков бичевать нельзя.

Дорогие, милые пороки, неужели вы заслуживаете снисхождения, если принадлежите автору, находящемуся в расцвете славы, неужели вы заслуживаете снисхождения, если вы преподнесены фрагментарно? Возможно. Очень возможно, в конце концов, что скука в искусстве вовсе и не порок, особенно, если автором руководит чрезвычайная идея. А Гладковым действительно руководила чрезвычайная идея обличительного характера, раскрытая в отрывке «В тот вечер».

Но Гладков задушил ее собственными руками. Рабочий Гордеев бросает классу своему обвинение в том, что он не сохранил жизни Ильича и преждевременно свел его в могилу: — Мы, мы,—говорит он,—эх, шапки-деревяшки. Вот и Ильича растоптали, как топчем всякую вещь, живописец. Мызгунь, наплеваки... наймиты, матери вашей чорт—мы, мы...

Идея чрезвычайная, обличение рисованное. Чтобы взять на себя дерзость такого обличения, надо, очевидно, говорить предельно просто, найти изобразительные средства подавляющей силы, на смерть разящие несогласных. Гладков дает монументальные диалоги, напыщенные эмоциональные изыскания, и за этим глухим царством скуки исчезает идея, подкошенная самим автором.

Скука тянется по всему отрывку как войлок, варьируется на разные лады и оснащается примерно такими путеводительскими рассуждениями, очевидно, очень типичными для траурной демонстрации в дни похорон Ленина:

«— Здесь каждый дом—целая эпоха. Это памятники, по которым можно читать, как по книге, пережитую трагедию наших отцов и кровавое торжество господствующих классов. Вот, например, университет. Это здание строили лучшие художники, и в нем могли учиться только дети дворян. Наши отцы и деды должны были только знать ярмо и кнут и рабским трудом своим обеспечить блестящего шелопаю в этом храме науки. Другой пример—стены и башни Кремля. Эти башни—суровой, сказочной красоты: их воздвигли итальянские и английские мастера. Эти башни служили не только для защиты от врагов, но и для варварской, кошмарной расправы со своими классовыми врагами. Их погибли сотни и тысячи в невероятных пытках. Эти башни, стены, земля, на которую они опираются, Красная площадь залиты кровью, пропитаны ею на большую глубину. Так диктатура класса утверждала свою мощь. Это надо знать, Лиза, чтобы понять закономерность нашей диктатуры. И работа нашей Чека, как ни ужасаются наши классовые враги, вчерашние свирепые господа и деспоты, работа нашей Чека в сравнении с сыскным приказом и жандармскими застенками, кажется шаловливой игрой грудного ребенка. Но теперь все эти башни—только музейная редкость, а стены университета—для нашей рабочей и крестьянской молодежи, для потомков замученных, затерзанных рабов, которые могли только плакать и петь песни, похожие на стон».

Ну, что в самом деле скажешь по поводу этого «фрагментарного отрывка»? Пожалуй, сам заплачешь кровавыми слезами: нельзя же на с'едение скуки отдавать чрезвычайные идеи. Нельзя же монологи превращать в путеводители по Москве и доказывать, что «они (господа и деспоты) строили на века», а мы и вещи и людей толчем. Не превращается ли тогда «простая скука» в злое орудие, не начинает ли она мстить не только искусству, но и чрезвычайным идеям и авторам, завоевавшим славу, и редакторам, и даже и в чем неповинным читателям?

В одной современной повести растерянная героиня спрашивает: «А примус—это мешанство?». Позвольте спросить вас, читатель: «А скука—это реакция?»

#### Сатирические туманности

Не знаем, что скажет читатель, но мы считаем, что туман в искусстве—это реакция, даже если он дан как сатирический опыт. Второй номер журнала «Красной Нови» уделил очень много места такому опыту молодого автора Андрея Новикова. Название ему: «Причина происхождения туманностей». Читатель должен запастись тем терпением, каким запасаются, стоя в очереди. Ждешь не дожدهшься остроумного слова или остроумного положения. Повесть медлительна, тяжела, ползет как старинный рыдван, в который автор и хотел усадить современных советских бюрократов. Но по сути дела повесть не дает бюрократических атмосфер, высоким давлением которых многие люди и идеи превращаются в непреодолимые туманности; она дает советскую канцелярщину.

Новиков делает большой разгон в начале повести, уводит читателя вглубь веков, как бы ищет там социальные истоки исконного русского бюрократизма и томит, томит читателя злословием без злости, сатирой без яда, гримасами, не вызывающими ни смеха, ни ужаса. Сатирику, даже молодому, не грех знать закон элементарных контрастов: белое не выделяется на белом фоне, черное—на черном. Вместо того, чтобы показать контраст между делом, в

котором на-смерть заинтересовано государство, и человекообразными, имеваемыми в просторечии бюрократами—чем прекраснее дело, тем смешнее человекообразные, — Новиков убийственно медлительно расписывает явно идиотское учреждение и таким образом сам себе закрывает путь, чтобы обличить сознательно и бессознательно впадающих в восторженный идиотизм людей. Нет подстановки живого под мертвое, ума под глупость, движения под косность, нет игры, притворства, язвительности. Все неповоротливо и туманно, как писания приказного дьяка, стиль которого местами хочет воспроизвести Новиков. В этих упреждениях молодого автора иные уже нащупывают зловредные уклоны, но самый зловредный из них заключается в том, что почти вся повесть представляет собой сплошной уклон от искусства сатиры в область туманностей. Или, может быть, вся суть сатиры в тумане?

### Кто-то спит

«Те, кто делают советскую литературу, давно уже спят». Тут сатира дана без всякого тумана. И ей можно поверить, потому что она напечатана в журнале «Октябрь», в который ни туман, ни реакция проникнуть не могут. Сказано это Михаилом Светловым. Никаких оговорок со стороны редакции нет, да и какие же могут быть оговорки, если поэт делает прозаически-серьезный вид, будто все это происходит только глубокой ночью, когда действительно все спят. Прочтите, однако, все его записки от начала до конца и, если у вас еще не атрофировано чувство юмора, вы поймете, что Светлов применяет в прозе излюбленный им в поэзии прием конспирации, что он действительно поддается покровом ночи, глубоким сном товарищей по редакции и говорит ужасно еретические вещи. Он утверждает, например, что «кризис в литературе огромен». Тут уже ирония дана без всякой конспирации, в самом голом виде. Люди заснули. Почему же не воспользоваться этим?

Кто-то спит и этим сном многие пользуются, чтобы доказать мысль Светлова: подсовывают журналам не только

скуку, патетическую, не только скуку сатирическую, но и скуку трагическую.

### Состав человеческой крови

Трагическая скука представлена в «Звезде» пьесой Лавренева «Враги». Она подана мажорно, бодро, браво, величаво. Лавренев делает переоценку ценностей, экзаменует перед лицом истории дворянскую кровь, влившуюся в партию, и доказывает, что кровь эта предательская.

Пьеса захватывает наши дни и дни грядущей войны. Главную роль играют два брата — летчики, бывшие князья, ныне члены партии. Один из них, Федор Шаховский, «изменил состав» своей крови, сделал все возможное, чтобы изменить «дико-бунтующую кровь деспотов и самодуров», текущую в жилах брата его Андрея.

Федор довел состав своей дворянской крови до стопроцентной партийной чистоты. Он прекрасен, стоек, мужествен, бескорыстен, инициативен. Читатель, если у тебя есть большой запас благородных прилагательных, то все они вместе взятые не передадут доблестей партийца из дворян Федора Шаховского. И вот все усилия этого необыкновенного человека, направленные на перевоспитание брата Андрея, оказываются тщетными. Состав дворянской крови зовет Андрея к долларам, шпионажу, ко всем черным порокам. Но вот что особенно драматично. Когда Федор на войне совершает подвиг, которым должна гордиться республика, он сталкивается в воздухе с братом-изменником, и та же кровь опрокидывает партийного и военного Ахиллеса — Федора. Он шадит предателя-брата, уничтожая плоды своего подвига, совершая преступление перед партией и республикой. Этой «кровавой теорией», от которой разит отрывкой теорий кастовых, оснащена вся пьеса Лавренева. Что это? Пересмотр наследства? Рецидив? Или просто писатель оступился?

### Состав преступления

Почему-то новая теория Лавренева о составе человеческой крови никем не была замечена. Никто не выразил ни

ужаса, ни тревоги по поводу того, что она напечатана в «Звезде». Но почему тогда на все дады заговорили о том, что в той же «Звезде» появилась апология кулацкого рыла в повести Шишкова «Диколече».

Если критика должна разоблачать, то пусть разоблачает всех. А может, лучше все-таки не делать страшилища из сказочки Шишкова и из фальшивой драмы Лавренева? Может, лучше не искать состава преступления в работах писателей, а только обнажать «огромный кризис» идейный или художественный? А то ведь странно очень получается. Работает советский писатель без всяческих грехопадений и вдруг за одно только произведение возводится в сан кулака, государственного преступника, оголтелого врага пролетариата, очумелого ненавистника бедного крестьянства.

Или в отыскании состава преступления и заключается одна из сторон «огромного кризиса»? Ведь вот же Костров даже от Малашкина попытался отвести обвинения в мещанстве. Он заподозрил себя и читателя в отсутствии чувства юмора и высказал предположение, что Малашкин великий, но непонятый сатирик.

Может, состав преступления Лавренева и Шишкова в том, что они не могут подняться на высоту малашкинской сатиры?

### Последнее недоумение

В журнале «Октябрь» Михаил Светлов в «Записках писателя», которые мы уже упоминали, делится с читателем такими ироническими замечаниями: «Когда кто-нибудь выступает с речью, в которой имена Безыменского и Жарова переспываются именами Теофиля Готье и Поля Верлена, — нам кажется,

что человек этот здорово образован. Теофиль Готье. Это звучит эрудицией. На самом деле, эта эрудиция — миф. Человек только «образованность пушцает». А многие верят. Верят потому, что им хочется, чтобы кто-нибудь да знал. Нельзя, чтобы все ни черта не знали. Так создается литературный фасон, очень часто меняющийся, ибо невежда обнаруживает себя. Каждый старается найти какого-нибудь забытого средневекового поэта и блеснуть им на ближайшем собрании. Это своего рода «поиски нового человека».

Светлов не совсем прав. «Пушцают образованность» любят и сами поэты. В том же журнале почти рядом с заметками Светлова напечатана поэма Алтаузена «Безусый энтузиаст». Вокруг поэмы бушует уже пламя полемики. Рабочий класс со всех концов СССР отозвался на эту поэму. Об этом, по крайней мере, свидетельствуют письма, появившиеся в «Комсомольской Правде». Очевидно, поэма заслуживает этого. И вот как раз эта заслуженная поэма поражена той болезнью, о какой говорит Светлов. Целый ряд больших имен произносится всеу, произносится так, что они решительно ничего не говорят читателю. Кого и чего только не упоминает Алтаузен: Эдгара По, Пушкина, Тютчева, Блока, Декамерон. Гейне, Бориса Годунова, Фауста, Шекспира, Лермонтова, Гомера, Овидия Назона, Илиаду, Дульцинею, Рыльева, Полежаева. Целая литературная энциклопедия. Мы не дали перечня политических, астрономических и всяких иных «звучащих эрудицией» имен, которыми насыщена поэма. Зачем сей непомерный каталог имен принесен на «страшный суд» республики над безусым парнем, который за молодостью лет не мог отдать революции своего героизма?

## 4. АНАТОЛЬ ФРАНС В ХАЛАТЕ И БЕЗ...

Сергей Обручев

Уважение нужно только живым, мертвым  
нужна только истина.

Вольтер (эпиграф Бруссона  
на книге о Франсе)

Франс прожил такую долгую жизнь — и литературную и человеческую, — что уже при жизни сделался объектом обширных исследований, критических опытов, мемуаров, и отчасти в этом отношении приближается к Толстому. Но в то время, как толстоисты, в общем, сходятся в характеристике Толстого для каждого периода его жизни, — изображение Франса совершенно иное у каждого автора. В этом отношении чрезвычайно примечательны три недавно появившиеся книги, — в них Франс настолько несхож, что это скорее портрет трех различных людей.

## I

Первая из этих книг — второй том мемуаров Бруссона. Едва появившись на французском языке, этот том, также как и первый, был переведен на русский <sup>1)</sup>.

Из всех книг о Франсе это самая ходкая. Первый том — «Anatole France en pantoufles» — с 1925 г. разошелся на французском языке в 102 тысячах экземпляров. На русском языке вышли два издания его. Второй том во Франции издан уже в 49 тысячах экземпляров. Далеко не все художественные произведения Анатоля Франса имели тираж в сто тысяч, а критические его этюды и по давню.

В чем же причина успеха Бруссона? Тайственного в этом успехе нет ничего — это успех скандала. Если первый том его мемуаров с полной справедливостью может быть назван «Анатоль Франс в халате» (название русского перевода, в котором издательство весьма остроумно подобрало замену французскому «в туфлях»), то для второго тома самый лучший заголовок был бы «Анатоль Франс без халата».

Бруссон был секретарем Франса с 1902 по 1909 г. Во время поездки в Южную Америку что-то произошло между ними, и они вернулись отдельно. В литературных кругах ходили слухи, весьма неблагоприятные для Бруссона. И вот его мемуары — это искусная попытка реабилитации. Первый том — пробный шар: под личиной сочувствия сообщается мимоходом ряд сплетен и анекдотов. Бруссон имел возможность наблюдать жизнь Франса изо дня в день и воспользовался этой близостью для того, чтобы открыть всему миру не только секреты литературной кухни Франса, но и секреты его настоящей кухни, спальни, передней, все слабости великого человека и тайны шестидесятилетнего старика.

Первый опыт был удачен, — и через три года выпускается второй том, в котором грязная сплетня уже составляет половину книги, а другая посвящена реабилитации Бруссона и его возвеличению. Если первый том представлял интерес не только как легкий биографический роман, но и давал материал для суждения о методах литературной работы Франса, о его литературных и общественных взглядах, то второй том, — в сущности только скандальный роман, предназначенный для любителей сплетен и анекдотов из жизни великих людей, — анекдотов, низводящих гениев до уровня потребителя.

Попробуем суммировать сведения, которые дает Бруссон. Вот в подлинных, высоко-патетических выражениях последнего, характеристика Франса: «За семь лет, проведенных с ним, разве не рассмотрел я до дна душу прославленного насмешника? Был ли он когда-нибудь хорошим сыном? нежным отцом? кротким супругом? скромным любовником? добрым хозяином? великодушным гражданином?»

Это — характеристика в плане утилитарно-гражданственном. Но и с то-

<sup>1)</sup> Jean-Jacques Brousson. Itinéraire de Paris à Buenos-Ayres. Paris, Crès et C<sup>ie</sup>. 1928; 336 pp. 12 fr.

Жан-Жак Бруссон. Из Парижа в Буенос-Айрес. Время. 1928. 255 стр., тир. 5 150. Ц. 1 р. 75 к.



чки зрения более терпимой, Франс не удовлетворяет самым минимальным требованиям, предъявляемым к человеку и писателю, даже если он велик.

Прежде всего — эротизм мысли и поступков. Как известно (азбучная истина, не правда ли?), — всякий художник в основе своего творчества эротичен. По Франсу, Роден, например, на 75 проц. Но Франс по Бруссону — вероятно, больше чем на 100 проц. Вся книга переполнена примерами его эротических мыслей, разговоров, поступков. Русский перевод стыдливо опустил несколько наиболее крепких анекдотов, — например, о Библии Мирабо о маленькой англичанке на качелях, — но и оставшегося достаточно, чтобы окрасить всю книгу. Как вам понравятся, например, страницы, посвященные доказательству того, что три книги, выставленные в лавке древностей у ног Мадонны, могут заменить Библию, даже целую Национальную Библиотеку и составить счастье каждого человека, удовлетворяя страсти и желудок? Три книги эти: «Буржуазная кухарка», «Сто способов готовить рыбу» и «Онализм в одиночку и вдвоем». Остальные примеры в том же роде.

Не лучше и поступки: Франс всюду рисуется, как сластолюбивый старикашка, неспособный к сильному чувству, развратный старчески и потому омерзительно. И при этом — подлый и лицемерный. Он покупает стереоскоп и серию непристойных фотографий, но объясняет торговке: «Это не для меня, мадам, это для молодого человека. Он большой до этого охотник: ведь он в возрасте иллюзий. Нам-то, милая моя, нужны не картинки, а совсем другое». Вся эта сцена смакуется долго. Как же реагирует Бруссон? «Я чувствую, что краска стыда выступает на моих щеках» — а потом ему же приходится нести покупку, что же делать, нанялся — продаться!

Франс не только сейчас таков, — он и раньше был эротичен. Ведь первый приступ вождения («укол сладострастия») он почувствовал в восемь-девять лет. И ведь к чему — к дереву! Неудивительно, что подобный человек не мог сделаться ни «кротким супругом», ни «скромным любовником». Его

семейная жизнь — сплошная свара, сцены ревности, ругань, обманы. Франс пользуется всяким случаем, чтобы сбежать к «девчонкам», к «девам, но не орлеанским», поискать «божьи создания», которые «счастливы были бы провести с нами бессонную ночь», или найти «книгу, которую можно перелистать всю с начала до конца», и т. п. А мадам — мадам Арман де Кайаве, чья тридцатилетняя дружба с Франсом вошла в историю литературы, — она стара, «жалкий антик», «сварлива, своенравна, надоедлива, мелочна, ревнива». Правда, двадцать лет назад «она была аппетитна. Пухлая, томная, белокурая, немного в стиле мадам де Севинье... И отличная партнерша... Она приходила в виллу Саид каждое утро, какая бы ни была погода, и...» (здесь даже у Бруссона не хватило духа продолжать!).

С особенным наслаждением описывает Бруссон сцены ревности, где Франс и его подруга являются в самом неприглядном виде. Одна из этих сцен (по поводу отъезда Франса в Америку) — на шести страницах и кончается тем, что Франса называют низким лавочником, сыном букиниста, сутенером.

Во всех этих сценах Франс неизменно лицемерен. Он лицемерен всегда, — целую посетителя со слезами искренней радости, он за его спиной честит его идолом и жуликом. Везде и всегда он готов пролить слезу умиления, каждому сказать «дорогой друг, с вами мне особенно больно расставаться. Вы для меня воплощение родины». Он готов кривить душой как угодно. «Он готов возглавлять что угодно и где угодно. Свещание церковных старост в соборе с архиепископом; военный суд с генералом; митинг анархистов». Он рад, даже потрясен, когда его приветствует военный караул. Его символ веры — это изречение Рабле: «всегда говорить только хорошее о настоятеле, за столом садиться с ним рядом, и пусть все остальное идет своим чередом». «Когда я путешествую, я на стороне начальника станции и жандармов».

Таков, оказывается, на самом деле великий скептик, смелый защитник Дрейфуса, друг социалистов и всех

протестующих, всех творцов новой жизни. Да друг ли он им еще? Бруссон отнимает от нас и эту иллюзию. Русское издание стыдливо выбросило несколько глав — о выступлениях на социалистических собраниях, об анти-милитаризме, о евреях, — и, по моему, напрасно. Уж если давать Бруссона, то во всем его бесстыдстве. Франс — социалист? Какие пустяки: и тут только цинизм и скепсис. «Первая из свобод — это свобода брюха», «нет большой разницы между праздником тела господня и современными пропессиями первого мая». И в ответ на приглашение выступить на рабочем собрании, пишется лицемерное письмо о болезни Франса, сопровождаемое насмешками над некультурностью рабочих; в ответ на приглашение присоединиться к выступлению антимилитаристов, — холодная сентенция: «их преследуют — тем лучше. Это их научит скромности». Франс — дрейфуссар? А как вам понравится такая характеристика птиц, летающих у корабля: «те, кто работает, это — христианки; остальные, наверно, евреи».

Но все же, пробуете вы возразить, остается Франс — изумительный писатель, стилист, знаток латинского мира, неподражаемый аналитик, скептический пророк? Как вы наивны, — разве вы не знаете, что одну половину всех произведений Франса написал Бруссон, а треть — мадам Кайаве? (классическое: «Юрий Милославский» — это тоже я написал). Роль мадам Кайаве, как вдохновительницы Франса, заставлявшей этого скептика, равнодушного к славе и к успехам, писать большие романы, давно известна, но никто до Бруссона не поведал миру ее признаний: «немало я написала страниц Анатоля Франса и, клянусь вам, я сейчас вовсе не горжусь этим! Добрая треть его произведений написана мною». Сам Бруссон «вполне овладел манерой и приемами риторики Франса». Он написал часть «Пингвинов», «Белого камня», «Жанны д'Арк» (кажется большую), некоторые новеллы. И как будто, в отличие от мадам, как человек, делающий литературную карьеру, гордится этим (даже иногда в фразах его книги можно заметить заимствования из Франса).

Да и способен ли Франс писать что-либо? Кроме своей изумительной лени, беспечности, — он к тому же, «человек, совершенно лишенный воображения» и совершенно нечувствительный к природе.

Остается еще одна возможность для Франса. Когда-то он писал недурные критические этюды, полные тонкого понимания авторов, изящные и легкие. Но вряд ли теперь он сумеет написать что-либо подобное. Все его литературные отзывы, собранные Бруссоном, — старческое злобное брожжанье. Пруст — «что за дребедень! Нескончаемые фразы, способные вогнать в чахотку», Руссо — «слюнять». Мюссе — «всегда приступал к делу, но никогда не доводил до конца», Эредиа — «этот кропотливый чеканщик сонетов жил только грабежом. Это настоящий тряпичник. Вкус у него был вполне негритянский», Ренан (когда-то любимый Франсом) — «флюгарка», «затейливые вымыслы».

Как странно, что Франсу после разрыва с Бруссоном удалось выпустить ряд книг! А некоторые из них вышли даже после смерти мадам (впрочем, как узнаем ниже, для них явилась новая вдохновительница, пока еще не претендовавшая на половинное участие в творчестве).

И вот, в ряду с этим гнусным, ничтожным стариком, — молодой Бруссон, колосс добродетели, гигант таланта, защитник справедливости. Все время его службы у Франса было временем послушания; это — история Золушки, вернее даже, житие святого. Когда Франс приглашал Бруссона в секретари для сбора материалов по Жанне д'Арк, он обещал ему 100 франков в месяц. Но платил редко, — когда вспомнит, раз в шесть месяцев. Когда Франс бывал доволен работой, — побарски дарил «какую-нибудь археологическую мелочь, осколок амфоры, статуэтку». Но обычно это подделка, которую мэтр хотел сбыть с рук. На какие же средства жил Бруссон? Очень трогательно, в стиле французской мелодрамы: покойная мать завещала ему 12.500 франков, и «эти материнские деньги и послужили субсидией для Жанны д'Арк». Кроме того, Бруссон занимался всем, — писал статьи для

энциклопедии, давал уроки детям богатых аргентинцев, писал дипломные работы для студентов, передовые статьи для антиклерикальной газеты и эротические рассказы для издателя, — любителя садизма.

Но это не помешало Бруссону сохранить в нетленности свою добродетель, вывезенную из Сомьера. Неиспорченным осталось его «бедное сердце», он попрежнему чувствительно любил «мою кормилицу, мою мать, ту, которая приручила маленького сиротку, выпавшего из гнезда». Когда Франс бросал его на бульваре «в два часа пополудни, раздавленного цитатами, зная, что я с восьмью часов ничего не ел», — бедный ребенок засыпал на скамейке «от усталости или от жары с бриошью в руках». На службе у развратного скептика он «портил свое зрение», «потратил семь лет на риторику и зубоскальство», и в то время, как «люди моего поколения пристроились, я все еще занимал фантастические должности — секретарство у великого человека и воспитание мартышек». И вы ужаснетесь, когда узнаете, что Бруссон все эти семь лет не только не думал о хлебе насущном, но «почти забыл даже о любви». Какая потеря для человечества! И он, наверно, не смог сделаться ни «нежным отцом», ни «кротким супругом», и редко, редко удавалось ему быть «скромным любовником».

Франс помешал и блестящей литературной карьере Бруссона, — его замечательный роман «*Bête à bon Dieu*» (по-русски трудно и перевести, — не то «сютинка господа бога», не то «зверь из бездны»), за семь лет так и не увидел конца. С сожалением я должен констатировать, что и по сей час, двадцать лет спустя после разрыва с Франсом, этот роман вместе с другими значится в числе имеющих появиться произведений Бруссона, а в его активе, кроме скандальных книг о Франсе, — только один перевод на провансальский язык.

И после этих долгих лет бескорыстного (если не считать кое-каких работ, службы на 166 фр. в месяц, лекций в 12.000 фр. в Америке и пр., устроенных Бруссону Франсом) тяжкого служения — «неслыханная жестокость и неблагодарность», «жалкого великого чело-

века», — Бруссона выгоняют вон, оставляют без копейки денег на американском берегу, и он добирается домой, побираясь христовым, — виноват, франсовым — именем. История эта очень подробно, интересно и живо изложена Бруссоном, — все дело, видите ли, в том, что Фране увлекся одной престарелой актрисой (перевалившей за 50 лет), смахивающей «на кассиршу из бродячего цирка», «покладистую женщину» с потрепанным лицом, «но все остальное такой свежести». И Бруссон и мадам Кайаве оказались досадной помехой.

Но старичка в конце мемуаров опять приводят к покорности, и снова в обществе мадам он говорит, заикается, хрипит, хнычет, но уже никто его не слушает, — не больше, чем журчанье незапертого крана.

Допустим, что все это верно, что Франс гнусен, а Бруссон добродетелен, честен, велик. Но почему добродетель так охотно смакует эту грязь, зачем издает ее в 50 тысячах экземпляров, из которых нумерованных: 30 — на японской бумаге imperial, 40 — на голландской Van Gelder Zonen, 130 — на веленовой de Rives, 1.000 — на веленовой цветной du Marais и 130 — специально нумерованных римскими цифрами для Автора, его Друзей и Прессы (все с большой буквы)?

## II

Большинство мемуаров, посвященных Франсу, старается восстановить стиль и содержание его бесед. Франс был исключительным собеседником, изысканным представителем искусства, культивированного французами, — серьезного разговора (conversation) и салонной болтовни (causerie).

В кабинете Франса и в салоне мадам Кайаве всегда собиралось многочисленное литературное общество, привлеченное очарованием его беседы. Конечно, передать в книгах всю живую прелесть слова невозможно, но многие (и в том числе даже и Бруссон) пытаются это сделать. Несколько подобных книг было переведено и на русский язык, это — «Беседы Анатоля Франса, собранные

Подем Гзеллем» (Гиз, 1923), «Анатоль Франс в годы 1914—1924», Марсель ле Гоффа (Время, 1925) и «Беседы с Анатолем Франсом» Н. Сегюра (Жизнь Искусства, 1925). Не имея причин сводить личные счеты с Франсом и не гоняясь за скандалом, эти авторы старались запечатлеть все наиболее важное. Как пишет Ле Гофф: «Может быть, у Франса были свои слабости: было бы грустно настаивать на них, обнаруживать их и останавливаться на их описании».

Все эти книги, как появившиеся уже давно, лежат вне пределов нашего очерка. Но в 1927 г. появилась еще одна книга Сегюра: «Последние разговоры с А. Франсом», на русский язык еще, кажется, не переведенная<sup>1)</sup>. Сегюр, пожалуй, из всех франсистов наиболее приятный, — не прикрашивая Франса, изображая его насмешливым эпикурейцем, с сильно эротическим уклоном мысли, в первой своей книге он дает возможность понять все разнообразие настроений Франса, оценить блеск его ума, выяснить приемы творчества.

Второй том — совершенно другой. Перед нами Франс — пессимист и скептик, для которого весь мир окрашен в мрачные краски. Франс никогда не скупился на суровые отзывы о современной цивилизации, о природе человека, о будущем, — и Сегюр в этой книге собрал наиболее горькие его размышления.

Первая глава посвящена войне. Война отошла уже в прошлое, — и можно опубликовать то, что говорил Франс во время военных действий своим близким друзьям: на более открытые выступления против всеобщего милитаризма Франс не ропсал. Хотя в своих произведениях, особенно в «Аббате Куаньяре», он жестоко высмеял войну и военщину, теперь у него нехватило мужества продолжать откровенную критику: «во время всеобщего безумия надо безумствовать со всеми, чтобы вас оставили спокойным».

Это не говорит в пользу Франса, но ведь он по природе своей истинный эпикуреец, — и стоит ли, в самом деле,

жертвовать своим спокойствием для критики, из которой все равно ничего не получится? В Франсе очень много обломовщины, — ведь бездеятельность — естественный вывод из скептической концепции мира; и неудивительно, что только энергия мадам де Кайаве вызвала к жизни многие произведения Франса.

Во время войны в своих интервью и разговорах Франс придерживался бесцветного официального патриотизма, — и только иногда позволял себе смеяться над войной. У Сегюра мы находим ряд острых сентенций, достойных прежнего Франса.

Другая глава посвящена социализму. Франс давно открыто стал на сторону социалистов, выступал на различных собраниях, но ни для кого не секрет, что его социализм — особого рода. Это даже не социализм — это скорее сочувствие всякому бунтарству, широкое сострадание к угнетенным, желание коренного изменения существующего строя. «Крепкебилль» — яркое воплощение этих идей, и Франс ценен для социализма именно как резкий и глубокий критик современной цивилизации. Но в области положительных идеалов, конечно, последовательный скептицизм не может дать ничего, — и не надо искать у Франса проектов будущего устройства общества.

Франс обладает острым аналитическим умом, — и естественно, что от него не укрылось двоеличие и нерешительность западных социалистов. Яркие характеристики их приведены в мемуарах Ле-Гоффа: им могут позавидовать наши газеты. Франс упрекает Ренделя и Тома в том, что у них нет ни идей, ни доктрин, ни смелости; они продажны, они обдeldывают свои делишки, а все остальное для них безразлично. Но не буду выписывать характеристики из Ле-Гоффа, это опять выходит из задач моего очерка.

Сегюр дает ряд новых фактов для выяснения отношения Франса к революции и социализму. Ясно, что он приветствовал неспровержение современной гнили и социальную революцию. Он ненавидел современный строй, «это царство денег, это царство посредственности». Он ожидал, что новый мир

<sup>1)</sup> Nicolas Ségur. „Dernières conversations avec Anatole France“. Paris. E. Fasquelle. 1927 222 pp. 12 fr.

должен возникнуть на развалинах старого, что жестокость будет уничтожена жестокостью же; он потому приветствовал русскую революцию, что она так решительно покончила со старым миром. Франс признавал за славянским умом строгую логику, которой недостает латинскому обществу.

Третья глава, — почти половина книги, — посвящена «химерам и миражам». Это наиболее интересная часть, наиболее типичная для Франса, — парадоксы и остроумные замечания о различных метафизических вопросах, о вреде познания, которое лишает человека возможности любить, смеяться и мечтать. Особенно любопытна статья о кино — враге искусства — и породивших его американцах, лишенных прошлого, призванных поглотить Европу и создать новую цивилизацию.

Последняя глава посвящена творческим проектам Франса и литературной критике.

### III

Среди новых книг о Франсе обращают внимание еще воспоминания Сандор Кéмери «Прогулки Анатоля Франса»<sup>1)</sup>. Автор — венгерская писательница Бёлони, пишущая под указанным псевдонимом. Как в предисловии сообщает врач Франса, Поль Луи Кушу (Couchoud), после смерти мадам Кайаве, Франс был в глубоком отчаянии, «не касался пищи, целыми днями не подымался с кровати, отдавшись горю, упрекая себя, чувствуя мрачное желание смерти. Его занимало философское обоснование самоубийства». Надо было найти сестру милосердия для его скорбного духа — и вот явилась мадам Бёлони, сама простота, сама чистота, сама свежесть. Она уже раньше бывала у Франса, но теперь бросила все свои дела — ибо «сердце чуткой женщины» подсказало ей, что перед ней человек, находящийся в опасности. Мадам Бёлони (нежная мадам Бёлони — *douce*) ухаживала за Франсом, разбирала письма мадам Кайаве, сопровождала писателя в Италию, вдо-

хновляла его к новым произведениям. Под ее освежающим влиянием Франс извлек заброшенные проекты и написал одно из лучших своих произведений — «Боги жаждут» и «Восстание ангелов» (и представьте, — без участия Бруссона: мадам Бёлони скромнее предыдущих спутников жизни Франса и претендует только на кроткое вдохновляющее влияние).

В результате поездки появилась книга Кéмери, сюжет которой «выздоровление великого духа, в котором госпожа Бёлони играла такую выдающуюся роль, книга ее — это «кедровый ларец», в котором она удержала несколько страничек устных произведений Франса.

Читатели должны быть глубоко признательны мадам Бёлони за содействие выздоровлению великого духа, но вряд ли можно благодарить Сандор Кéмери за кедровый ларец. Книга эта написана в удручающе слезливо-сентиментальном духе, обнаруживающем в авторе богомольную старушку, хотя Кушу и рекомендует ее рассказ как «бесхитротный и тонкий, кроткий и спокойный», подобный ей самой.

Вот посвящение книги в целом: «Мадам Алине Менар-Дориан, той, чья душа и дух идут всегда к самому прекрасному, к самому истинному, к самому высокому, — я посвящаю мои скромные и благочестивые мысли о том, кто был и остается самым прекрасным, самым истинным и самым высоким». А каждая глава отдельно также посвящена — «Вилле Саид», «Моим дорогим детям Ольге и Корнелю», «Прогулке по Парижу», «моему мужу», дальнейшие — разным покойным и здравствующим господам и господам, например, жене доктора Кушу; так как глав нехватало, некоторые пришлось посвятить сразу двум супругам.

Текст вполне конгенитален этому обрамлению. Русское издание не решилось полностью воспроизвести маниловщину Кéмери и выбросило чуть не четверть текста — это можно только приветствовать, так как книга сделалась почти удобочитаемой. Для примера приведу только несколько фраз, выброшенных в русском переводе, из прощания Франса с умирающим

<sup>1)</sup> Sandor Kémeri. «Promenades d'Anatole France». Paris. Calmann-Lévy. 1927. 236 pp. 9 fr.

Сандор Кéмери. Мои прогулки с Анатолем Франсом. ГИЗ, 1928, 205 стр. Тир. 5000. 1 р. 50 к.

Бьернсоном. Вот где витает душа умирающего: «Может быть, она купается в глубинах фьордов, может быть, слушает она рычанье жизни и улыбается открываемым ей секретам». А вот последнее прощание (подчеркнутое оставлено в русском тексте): «Повидимому захваченный властью странного и прекрасного волнения, как при гармонии отдаленной воображаемой музыки, как под дождем весенних цветов с чудесным запахом, он смотрит на него долго и нежно. Его взгляд подобен факелу, освещающему потемки, он прижимает слабую руку умирающего к своему сердцу. Мы, мы вздрагиваем, задыхаясь в слезах, которые наполняют нашу грудь: это Поцелуй Жизни и Смерти».

Чтобы покончить с русским переводом, отметим некоторые его странности. Говоря все время об искусстве, переводчик, повидимому, не знаком с русской его терминологией. Он говорит, например, о «великолепных актах» Микель Анджело, о «копнях резцом» (применительно к гравюре), о «деревянной гравюре», о «муляже рельефа», о «большом ковре XVII века» (вместо «гобелен») и т. п. Недурно бы, если бы переводчик и редактор ознакомились также и с произведениями Франса, а то ангела Аркадия (из «Восстания ангелов») они превращают в «Аркаду» и пишут о том, как «первую ночь по своему воплощению Аркада провела у ангела Истар», что придает этому событию довольно двусмысленный оттенок. Как известно, пол Аркадия был довольно определенный, так что ему удалось соблазнить любовницу Мориса (не могу вспомнить ее имени — я пишу эту статью в Иркутске, в ожидании отлета самолета в Якутск, и у меня нет под рукой текста).

В мемуарах Кемери Франс является необыкновенно чувствительным, идеальным, добродетельным старцем, который может соперничать с самим Брунсоном. У него уже не «бестыдная серебряная борода», как сообщал последний, а настоящие почтенные седины. Он никого не оскорбляет, не смеется ни над литературными произведениями, ни над людьми, читает

книги, присылаемые ему (вместо того, чтобы пудами сбрасывать их в ванну, как в брунсоновские времена). Он уже не скептик, не циник: «Я отношусь к числу тех скептиков, которые верят». Наверное, если бы он побыл подольше с мадам Бёлони, он стал бы ходить к обедне, — недаром последней своей подруге, m-elle Лапrevet, он на склоне лет читал бульварные романы.

Как полагается истому французу, Франс «растроган, как всегда, когда заговаривает о своих родителях, бабушке, о своем детстве»; ему дороже всего на свете его покойная мать, и даже «во всех женщинах, к которым я питал какое-либо чувство, я искал свою мать». «Из признательности к матери я уважал всех женщин». (Вот, г-н Брунсон «хороший сын» и «скромный любовник», которых вы проглядели! Даже какая-то чудовищная гипертрофия сыновнего чувства. А вы все пишете о «божьих коровках», «штучках», «дурочках», «божьих созданиях» и проч.).

Когда Франс бывает лукав, насмешлив — это «будто не он». Истинное его состояние — это трогательное сочувствие или гнев против несправедливости. «Это дикая жестокость природы! — воскликнул Франс, дрожа от негодования» (49). Вы думаете, что случилось что-то ужасное? Нет, просто у чужого, постороннего ребенка режутся зубы. Но Франс тяжело переживает это происшествие: «Его прекрасная, седая голова склоняется на грудь; его бледная узкая рука не закрывает высокого лба, и, кажется, видишь, как бурные мысли вздувают его жилы до самых корней волос». Нет события, которое не возбудило бы возмущения Франса, — рыночная торговка тузит сапожного подмастерья: «Какая жестокость! Какая свирепость! — и лоб Франса покрывается морщинами» (56). «Его лицо бледнеет от мучительной мысли о борьбе и страданиях бедняков» (123). «На его черты ложится скорбная тень» (126). Он сочувствует даже зарезанному к пасхе ягнятям.

И как все это благородно, достойно, красиво. Голос его — с «благородным тембром звучания бронзы», глаза его напоминают, «свежие, блестящие каштаны», а на детских портретах его

глаза «вопрошающие и застенчивые» несравнимы ни с какими другими детскими глазами. Он все время говорит, говорит без устали — и если «за супом не было сказано ни одного слова», то уж наверно за цыпленком будет лекция об Адриане, за салатом о Рабле, за грушами еще о чем-нибудь (69—70). И все время он открывает слушателям глаза «на бессмертные красоты», вещает о «красоте и правде»; «мудрые слова падают мерно и звучно, как жемчужины».

Но как скучны все эти лекции, как явно отдают они учебником истории или искусствоведения. Вся книга—это просто плохой и неинтересный путеводитель по городам Италии, а Франс — насильно приглашенный чичероне, который должен привлечь своим именем посетителя.

Какой же Франс истинный? Тот ли мышинный жеребчик, пустой и жадный,

которого изобразил Бруссон, тот Франс, у которого на столе, мне кажется, должен стоять череп, а в черепе — пудра для многочисленных «штучек», ежедневно его посещающих. Или умеренный и воспитанный, европейски сдержанный великий писатель Сегюра? Или ходячая добродетель, маргаритовый Франс мадам Бёलोंи? Не слишком ли много в каждом из этих портретов от самих авторов — и не лучше ли, если нам предоставят возможность создать себе своего Франса по его произведениям, — того Франса, который живет на всем земном шаре, а не в вилле Саид, и которого нельзя похоронить под барабанный бой солдат торжествующей Третьей республики. Для нас, право, неважно — был ли Пушкин в любви вульгарным мещанином и сколько платил Блок проституткам, а единственно существенно то, что они написали, и какую реакцию их произведения вызывают в нас и наших современниках.

## 5. А Р З Г И Р

### Борис Кушнер

Станция Карамык лежит в степной полосе Терского округа на речке Карамык, впадающей в Куму, и на железнодорожной ветке, идущей от Георгиевска до Прикумска.

Километра в полтора от Карамыка расположено большое село Воронцово-Александровское — центр района того же имени. На станцию мы приехали поздно ночью и на линейке отправились в село искать гостиницу. В глубоком сельском степном покое и мраке не так-то легко найти нужный дом, даже руководствуясь точным описанием. Нам же никто никаких указаний не мог дать. Извозчик наш был из другого села и проявил полнейшую неосведомленность. Мы искали наощупь и, к собственному удивлению, сразу нашли, что надо; остановились у первого на селе каменного дома, — он и оказался гостиницей. Проникнуть в коридор гостиницы не составляло труда,

зато обнаружить местопребывание гостиничной администрации оказалось совершенно невозможным — очень уж искусно было оно замаскировано. Только поднятым шумом, грозившим перейти в буйство, удалось выманить администрацию из засады. Администрация оказалась толстой бабой, совершенно сонной и невыразимо растрепанной. Оглядела нас подозрительно, отобрала документы, взяла плату за ночь вперед и лишь после этого впустила в комнату.

Комната степной гостиницы всем была хороша и отличалась лишь двумя особенностями: отсутствием какого бы то ни было источника света и тем, что жесткие тюфяки, населенные клопами, были прикрыты бельем, не снимавшимся в течение многих недель. Спать на простыне, на которой до тебя спало неизвестное количество лиц, — дело, требующее специальной сноровки. Спят в

таких случаях не раздеваясь. Лучше всего в пальто, завернувши голову бапшыком.

Спозаранку направились в рик. Предрика и член президиума, ведающий райземотделом, весьма заинтересовались целью нашей поездки. Предрика был местный житель, по-степному спокойный и уравновешенный. Он искренне хотел помочь нам в нашем предприятии, но был не в силах сделать это. Нам нужен был автомобиль для поездки в степь. Форд на Кубани и старая разбитая машина у Крупна дали нам возможность многое увидеть в течение двух дней. Без помощи механического транспорта для такого обзора потребовалось бы, наверно, не менее недели времени. В пределах Воронцово-Александровского района нам предстояло осмотреть площадь много большую, чем территория обеих концессий. А времени было мало. Автомобиль был нам необходим.

Но Автодор в то время еще не был изобретен. По всей территории страны к автомобилю отношение было несколько недоверчивое. Сомневались—не есть ли он предмет роскоши и буржуазная затея. И на весь большой степной район, со всеми его хуторами, станциями, селами, колхозами, риком и сельсоветами была заведена всего лишь одна машина. Древняя и ветхая прабабушка механических экипажей. Но и этот автоковчег накануне был отправлен в местные мастерские для замены рессор. Ремонт, по степным понятиям, капитальный и длительный.

Предрика мог помочь нашей нужде только добрым советом. Посоветовал нам идти на площадь к артезианскому колодцу, где собираются передохнуть и напоить лошадей извозчики, едущие на станцию. Там-де можно нарядить линейку или иной степной экипаж.

Село Воронцово-Александровское по величине значительно превосходит все села, виденные нами до сих пор. В нем насчитывается тысяч 15 жителей. Размерами своими оно далеко превосходит средний уровень наших уездных городов и принадлежит к числу самых крупных поселений сельского типа на Северном Кавказе.

Когда-то в селе жили крупные хлебные купцы. Во времена торгового расцвета главная улица села, та, что выходит на дорогу к станции, была вымощена булыжником. В настоящее время все камни бывшей мостовой вывернуты, выбиты, сворочены на сторону. Они потеряли всякую связь между собой, перестали быть мостовой, превратились в груды, беспорядочно валяющиеся в сыпучей дорожной пыли и местами сильно затрудняющие проезд по улице. В самом центре села главная улица представляет из себя глубокую котловину, до краев наполненную тонким зыбучим песком и тончайшей песчаной пылью. Это нечто в роде песчаного озера. Была ли поверхность его когда-либо мощеной,—определить нельзя. Если здесь прежде и были камни, то они давно уже затонули и лежат глубоко на дне омыта из песка и пыли. Колеса возов, попавших на это злополучное место, мгновенно вязнут по ступицу. Никакая лошадь не может вытянуть увязшую телегу. Село содержит специальных пристяжных лошадей, которые припрягаются к телегам, чтобы протаскивать их через песчаную топь. Говорят, бывают случаи, когда лошади падают и здесь же издыхают от надрыва, вытаскивая особенно неудачно погрязший в песке возок.

На ликвидацию воронцовской песчаной топи и на замощивание главных улиц села отпущено по бюджету сто тысяч рублей. Работы уже начались. Не торопясь, вылавливают утопшие в песке камни и выкладывают их неаккуратными кучами с края.

Перейдя через площадь, переплыв через песок, добрались мы до артезианского колодца, где, действительно, нашли несколько извозчиков с линейками, тачанками и фэтонами. Были тут и одноконные и пароконные. Лошади у иных лоснились хорошо откормленными широкими задами. Но возницы оказались ленивыми и непредприимчивыми. Узнав, что нужно ехать далеко в степь, они чесали затылки и отказывались, либо заламывали несуразные, заведомо неприемлемые цены.

Потеряв час времени на бесплодные уговоры, пришлось отказаться от мысли найти туземца, достаточно пред-



примчивого для того, чтобы совершить с нами об'езд всего района. Стали искать возницу, который довез бы нас хотя бы до следующего крупного села, расположенного в 20 километрах. Но и на это расстояние никто не хотел ехать. Несмотря на то, что странно-ленивые люди эти определенно нуждались в заработке. Из-за двух-трех рублей они ежедневно ездят к вокзалу. Из дому выезжают заблаговременно и подолгу стоят у артезианского колодца, позевывая, почесываясь и беседуя. Поездка на вокзал отнимает у них не менее половины рабочего дня. За поездку в Отказное за 20 километров и потерю всего одного лишь дня мы предлагали им 15—20 рублей, и никто не соглашался.

Время шло. По плану нам надлежало выехать в степь из Воронцово-Александровского в семь часов утра. Ишел уже одиннадцатый час, а все наши попытки найти извоз оставались тщетными. Село оказалось ловушкой.

Часам к двадцати, когда мы потеряли уже надежду выбраться и почти примирились с мыслью навсегда остаться сидеть с мужиками у артезианского колодца, нашелся вдруг на селе отчаянный человек. У него была пара лошадей, и он согласен был везти нас в Отказное. К сожалению, у него не было во что своих лошадей впрячь—ни линейки, ни тачанки, ничего. Он знал, однако, на селе безлошадного крестьянина, обладателя великолепной тачанки, и предложил нам арендовать этот экипаж под его лошадей. Так при помощи двух бедняков—одного безлошадного и одного безэкипажного, способом сложным и трудным стали мы создавать для себя возможность дальнейшего продвижения в степь.

В селе Воронцово-Александровском процветают кустарные промыслы, в особенности пошивка сапог и иной кожаной обуви. Кустари селятся здесь по профессиям. Совершенно как в Лондоне, целые улицы посвящены тут определенным промыслам и занятиям. Улица сапожников широка и длинна. Она размером не меньше большой деревни наших центральных районов. Лежит

она неподвижно и жарко и дышит под солнцем, как большой крокодил, вылезший из реки на горячий речной берег. На этой улице разыскали мы владельца тачанки. Хозяина дома не было. Хозяйка согласилась дать нам свой экипаж напрокат лишь после того, как подвергла нас долгим расспросам и убедилась из наших ответов, что люди мы, в общем, подходящие.

Закончив торг о тачанке, предприимчивый мужичок пошел к себе за лошадьми, пообещав вернуться «в момент». В моменте оказалось ровно два часа и сорок минут времени. Часть его мы томились на скамеечке перед домом владельца тачанки в нудном, тягучем и бесполовом разговоре с хозяйкой, другую часть изнывали в тени двора у большого глиняного кувшина с водой, который заменял нам степной колодезь.

Крестьянский дом и двор и стена во круг двора—здесь все глиномазное, каменное, черепичное. Деревя совсем мало, только ворота, весьма своеобразной конструкции и стили, тачанка, да жерди навеса. Жерди навеса и рама ворот кривы, сучковаты и плохи. У нас и в мысль никому не пришло бы употреблять в дело для строительной надобности столь жалкие сучки и палки. Здесь же они были пригнаны и прилажены с терпеливой заботливостью. Убогий вид кривых жердей на фоне глинообмазанных стен делает степной крестьянский двор несколько похожим на постройку африканских дикарей.

Добрые люди уже отобедали, когда лошади предприимчивого безэкипажного мужичка оказались, наконец, впряженными в тачанку, и мы уехали и уехали в степь. Тачанка была большая, тяжелая, кованная железом. Лошаденки были хилы и слабосильны. Правая лошадь хромала на правую ногу, левая—на левую. Но мы не сделали нашему вознице никаких упреков по этому поводу. Мы были довольны. В тачанке вообще ехать неудобно, так как приходится либо поджимать ноги под себя, либо держать колени высоко приподнятыми.

Злаковая степь Терского округа лежит частью в засушливой зоне, ча-

стью в зоне неустойчивого увлажнения. Воронцово-Александровский район расположен на границе обеих зон. Темно-каштановая почва этих степей отличается относительно высоким плодородием. Крестьянские хозяйства многоземельны и многопосевны. Сеют почти исключительно пшеницу, просо и ячмень. На долю этих трех культур приходится свыше 85 процентов посевов. Абсолютное количество выпадающей за год влаги довольно велико. Засушливость происходит от того, что дожди идут не тогда, когда это нужно для созревания растений, проходят ливнями и не удерживаются почвой. Урожай неустойчив. По словам Н. Н. Раждаева, «район подвержен «суховеям» и страдает от «мглы».

Обычная засуха протекает длительно. Она носит затяжной характер, и действие ее заключается в высушивании почвы. Суховой—это засуха атмосферная, и действует он молниеносно. Иногда в один день убивает посевы и уничтожает урожай на большом протяжении.

Мгла—сухой и пыльный туман. Бывает, что она совпадает с суховеем и порождает знойный сильный пыльный ветер. Крестьяне называют его мрачным именем черной бури. В области черноземных и каштановых почв пыль всегда черна. Черные бури северо-кавказских степей—близкие родственницы страшных самумов Сахары. Только дуют они не в пустыне, а в населенной земледельческой местности. Тем губительнее их действие и тяжелей наносимый ими ущерб.

Суховой и мгла вызывают увядание растений, либо лишают их способности наливать зерно, либо останавливают дальнейшее развитие зерна, если оно уже образовалось. Это называется захватом, запалом. Растение как бы обожжено. Оно или сразу умирает или начинает хиреть. На стебле, на листьях появляются ржавчина и другие грибковые болезни.

Бывают жаркие ветры и сухие туманы такой силы, что от них страдают и животные. Есть свидетельства о том, что горячий пыльный ветер бывал причиной мора овец.

Общий пейзаж Терской степи представляет из себя нечто среднее между степями Сальской и Кубанской. Поверхность земли волниста. Огромные бугры горбятся отлогими кручами по всем направлениям. Над долиной реки Кумы возвышаются крутые обрывы и склоны. Чувствуется близость кавказских предгорий.

Девственных целинных участков первобытной степи осталось немного. Значительная часть земли распахана. Состояние полей ни в какой мере не может сравниться с состоянием степных обработанных участков на территории концессий. Крестьянская Терская степь примитивна и бедна.

Как здесь убирают урожай!

Правда, его не косят косой и не жнут серпом, как у нас. Такие способы уборки для степных масштабов технически невозможны. Здесь применяются уборочные машины—тот специальный вид жатвенных машин, которые иностранные заводы делают только для России и которые носят грустное название: «лобогрейки». Эта машина не имеет сбрасывающего приспособления и во время работы нужно идти за ней сзади и вручную сбрасывать сжатый хлеб. Работа трудная, тяжелая, не успеешь пот со лба стирать.

Лобогрейка идет по полю, как большая, припадающая к земле птица, распластавшая вширь правое крыло и поджавшая левое. Она прижимается к желтой стене созревшей пшеницы, быстрым невидимым движением скусывает колосья и выбрасывает их на распластанное крыло. Рядом мужичок широкими шагами поспевает за неутомимой птицей. Поспеть за ней нелегко.

Лобогрейка—изумительное приспособление, единственная в своем роде машина, которая не облегчает тяжелый труд земледельца, а делает его еще более изнурительным.

Совсем иначе, не так, как у Крупна и Друзага, происходит здесь и обмолот урожая. В крестьянской степи не пыхтит черная тонкая труба локомотива. Тут не качают, не трясут кузовами огромные ланцевские и вольфовские трясогузки-молотилки.

Обмолот в степи происходит так.

Выезжают в степь со всей семьей и у телег устанавливают палатки. В них семья поселяется на все время уборки. Вокруг палаток ползают грудные дети, бегают подростки ребятишки, задумчиво бродят кошки и рыскают алчно голодные мужицкие собаки.

Рядом с палатками утаптывается на жнивье большой круг, в роде цирковой арены. По кругу в одном направлении ходит лошадь и волочит за собою тяжелый каменный каток. В катке вытесаны продольные глубокие борозды, и они напоминают собою грубую модель металлического рифленного вала. Под ноги лошади, под лопасти каменного катка бросают снопы. Лошадиные копыта и тяжесть вала выжимают из колосев зерно. Сколько зерна при этом портится и разбивается, еще никогда никем подсчитано не было. В степи нет статистики.

Слегка в стороне от палаток и от круга, на котором производится обмолот, растет навеваемая соломенная скирда. Ростом она пониже и телом помягше тех скирд, которые стоят в немецких концессиях на Кубани и на Мангыче.

В Терских степях, как и в иных степях Предкавказья, солома—единственное топливо. Но и здесь в очагах страх за весь год сожгут лишь малую часть соломенного урожая. Большая часть остается стоять в степи в скирдах до новой уборки хлеба.

И здесь, между Терекон и Кумой, едва июльская ночь наступит на степь, встают на горизонте розовые столбы и жемчужные отсветы южного сияния.

Замечательный фейерверк горит иногда сразу с нескольких сторон. Крестьянские скирды пылают не хуже концессионных.

Та часть Терской степи, которую мы проехали на крестьянской тачанке, зажата между Ставропольским округом и Ачикулакской степью кочующих туркмен, отошедшей к Дагестанской автономной республике. На севере Калмыцкая автономия узким длинным участком вклинилась в степную полосу Северо-Кавказского края. Вдоль границы Калмыцкой области залегла мало-

ступная, малоизвестная, таинственная страна Арзгир.

Арзгир лежит в крайне засушливой зоне, и климатические условия не обещивают здесь даже минимальных успехов сельского хозяйства. Вероятно, правильнее всего было бы в этом районе совсем не заниматься полеводством. Крестьяне, однако, сеют здесь пшеницу и ячмень. Методы их хозяйствования исключительно некультурны и примитивны. Обсеменяют почти не вспаханную, почти необработанную землю. Урожаи хлебов здесь низки и чрезвычайно непостоянны.

Суховой в Арзгирском районе не стихийное бедствие, а постоянное, нормальное, неизбежное явление. Зарожда-ясь высоко в мертвой атмосфере над Арало-Каспийской соленой пустыней, он все лето веет, ниспадая на Арзгирскую степь. Сильней и настойчивей всего дует он в ранние весенние месяцы и убивает молодую, неокрепшую растительность. Благодаря своему нисходящему движению в атмосфере, ветер сухой быстро повышает температуру. Весной в Арзгире температура идет вверх по десяти градусам в месяц. Сухие восточные ветры дуют здесь более четырехсот раз в году, а благодатные юго-восточные не более ста.

Иногда восточные ветры бушуют здесь с большою силой. И тогда они приносят вред не только зноем и сухостью, но и механическим действием. Они сдувают с поверхности степи значительный слой почвы и развевают его буквально по ветру вместе с семенами и всходами.

Мучает Арзгирскую степь суховой. Но она привыкла к этому мучительству. К одному лишь привыкнуть никак не может: к одновременному действию дождя и суховой. От суховой урожай не всегда пропадает. Бывает, что и выстаивает. Но если жаркий сухой подует во время дождя или тотчас же после него, то все пропадет до тла. Степь как-будто кипятком обварили. Вся она отмирает, коробится. На обваренных полях не вырастет ни колоса. А где колосок случайно и вытянется, то будет он качаться под ветром пустой, без единого зернышка.

В этом году одновременность дождя и засухи погубила урожай. Ничего с полей не снял крестьянин. Оценка урожая—ноль пудов.

Таинственна страна Арзгир, где в сухой степи благодатный дождь становится величайшим бедствием.

Справедливость требует отметить, что засухой не является чем-то нераздельно принадлежащим одним лишь северо-кавказским степям. Губительное дыхание этих нисходящих ветров известно в юго-восточных сельскохозяйственных районах Австралии и еще больше в Соединенных Штатах Северной Америки. Здесь во всей области Великих Равнин—в Колорадо и в Техасе, и в Небраске, вплоть до Иллинойса и Уисконсина, случается, дуют летом засухи, достигающие иногда силы урагана. Как и в степях Северного Кавказа, они поднимают температуру выше 40° в тени и выдувают всю влажность из воздуха, вызывая атмосферную засуху.

Американцы считают засуху «настоящим бичом сельского хозяйства» и борются с ними приемами «сухого земледелия» и введением в севооборот засухоустойчивых растений.

Бывают, однако, в Арзгире удивительные случаи. Засухой дует не слишком жарко и яростно. Юго-западный благодатный ветер во время приносит дождь и проливает его на степь аккуратно в промежутках между засухами. Тогда каштановая арзгирская почва принимается наверстывать упущенное. Родит неудержимо. Говорят, прошлый год такой случай был: льняного семени арзгирцы сняли по сто двадцать пудов с десятины, вместо наших урожаев в двадцать пудов и самых больших северо-кавказских пудов на пятьдесят. Но такие удачи редки. Легче с арзгирской земли не снять ничего, чем получить такую премию.

Нельзя не обратить внимания на редкие названия некоторых здешних сел—Дивное, Урожайное. Почему эти скудные жестокие места отмечены такими названиями? По той же причине, по которой самый грозный в мире океан назван именем Тихого. Первые поселенцы случайно осели здесь в благоприятный год и сняли с девственной почвы первобытной степи неслыханные урожаи.

Крестьянское полеводство в Арзгире—это очень азартная игра.

## 6. ПО ТУРКМЕНИИ

### А д а л и с

Когда в еженедельных журналах появляется под рубрикой «Туркменистан» фотография, изображающая женщину под чадрой или мечеть Биби-Ханым, — это клюква. В одном из номеров «Проектора» мне довелось видеть кадр из фильма «Под властью адата», демонстрирующий красавицу в муслиновом покрывале — кавказскую тюрчанку — и подписанный: «закрепощенная туркменская женщина».

Туркменистан лежит между Каспийским морем на западе и садами Узбекистана на востоке; между дремучим лесом на севере, Афганистаном и Персией — на юге. Женщины в Туркмении ходили открытыми еще до раскрепощения; на головах они носят высоченные вишневыя клобуки.

Туркмения, главным образом, пустыня — бывшее морское дно. Бока песчаных волн покрыты продольными бороздами, как бока тощей клячи: человек привык видеть эти борозды на склонах морских волн; грудные клетки высохших морей валяются в песках со скелетами павших верблюдов.... Песок горяч, и на нем не растет ничего годного в пищу.

В Туркмении есть горы — на самой персидской границе хребет Копет-Даг — темно-синие и ненастные горы. На далеком фоне их, как в грозовую ночь, кажутся белокурыми ветви ашхабадских деревьев.

В Туркмении есть земля — во-первых, береговая полоса между океаном

песка и горами, во-вторых, острова в океане песка, по краям рек.

В Туркмении есть вода — кольчатый хвост ускользящей Аму-Дарья, Атрек, Теджен и ленивая мурá — Мургаб; эта теплая вода, как известно, — жизнь туркменской земли, полузапекшаяся кровь ее; колоссальными усилиями люди отводят воду на свои поля, на хлопок, на дыни, на джугару, на плодовые деревья.

Туркмению населяют тюркские племена: текины, номуды, киргизы, берберы, белуджи и очень много других. Иногда племенем называется просто большой род, который когда-то насолил другим родам, и стал, в обиде, кочевать обособленно; такой род носит имя, уходящее в самую глубь варварства; есть племя «собакоголовых»...

Быт полукочевой, скотоводческий; оседают там, где можно сеять, — на узких зеленых полосках у гор и рек; оседлые туркмены напоминают рыбаков на берегу океана: их связь с пустыней нерушима; в пустыне мотается их родня, пустыня заносит их посевы...

Одежда туркмена — темный халат, туго подпоясанный в талии, баранья палаха, выворотные сапоги или разрисованные туфли с сильно загнутыми крючковатыми носками и кожаной бахромой. У женщин один рукав халата заброшен на голову, на высокий, всегда горячий от солнца кlobук, расшитый монистами; кlobук — только основа: он обмотан шальями из местного шелка, как котелок, в котором хотят сохранить варено теплым и пряным...

В Туркмении есть дети; революция в Туркмении — борьба детей с отцами за внуков. «Богатые старики хотят, чтобы все дети достались им и пустыне, бедные старики хотят спокойно умереть; но взрослые дети борются за маленьких детей!» — так сказал мне погонщик верблюдов.

Революция в Туркмении — прежде всего, революция в семье. Сплошь да рядом пастух — двоюродный брат хозяина, батрак — племянник, сын бедного брата: библейская ситуация.

По Туркменистану прошел «чернолик» земельно-водной реформы; моральное значение его огромно; но

еще много раз придется не на бумаге, а на земле и воде менять реальные границы, ремонтировать участки, делать новые, красные отметки на глинистых полях.

### Аул у предгорий

Аулы бывают оседлые и кочевые. Оседлый аул — глиняная туркменская деревня; кочевой аул — становище цвета пустыни, сизое сборище кизячного дыма и полукруглых кибиток.

Вот аул, где живут и в кибитках и в домах. Здесь кибитка часто бывает поставлена рядом с глиняным строением: она играет роль морального фактора или дачи. Такая «показательная» кибитка очень чиста, уютна, устлана и увешана внутри текинскими коврами, а снаружи отликает золотом, потому что кошмы снимаются с летней кибитки и обнажается ее каркас.

Настоящие, серьезные кибитки стали бурными от копоти и грязи; они расстрепаны, поломаны, в них живут семьи в три-четыре поколения, с ягнятами и с'estными припасами; копоть десятиков пылающих и едва тлеющих человеческих жизней, угар степного гостеприимства осели на круглых стенах. Из этих кибиток к нам навстречу высыпают толпы детей; от толп отделяются пяти-шестилетние мальчики, деликатно берут нас за рукава и приглашают, от имени родителей, каждый в свою кибитку. Но в городе нам было предписано — у аульных работников не угощаться, в кибитки не заходить: у всякого работника есть враг, и враг подаст заявление, что работник дал взятку.

Есть тут и просто дома, без кибиток: длинные глинобитные стены, длинная легкая перистая зелень садов, свирепые псы в узких тупиках, переулки без светотени, ярко-белое солнце, яркосиняя темнота... За домами, в предгорьях, мирные развалины древнейшей крепости; это халдейская крепость, ей около четырех тысяч лет. Огромная стена, скорей волнистая, чем зубчатая, сделана из слабого камня, давно разложившегося на глину и ласточек...

Аул лежит у предгорий Копет-Дага; тут полно воды, целая живая река. Поля джугары обнесены заборами, как

огороды. Поле джугары похоже на лес огородных пугал — огромные кривящиеся стебли, угловатые листья. Джугару свозят с полей сытые верблюды с мещански взбитыми на висках кудерьями.

Хлопковые поля — глаз не охватит; коробочки уже лопнули, из них прут белые облачка ваты — ни одного участка, пораженного чором или какой другой болезнью. За хлопком — виноград; яркие листья сияют, точно освещенные изнутри.

На одном из этих виноградников недавно убили предсельсовета.

Убийца, местный кулак, уже арестован, а брат убийцы, тоже находящийся под следствием, сидит на земляном порожек своей лавочки. Это лавочка европейского типа, с полками, с кухонными керосиновыми лампами; называется она «Красный текинский кооператив Махтума Палванова» и является собой предприятие товарищества кулаков. Здешние баи дошли своим умом до некоей степени американизма: «жалованье», которое они платят своим батракам и пастухам, «займы», которые они оказывают бедным дехканам, батраки и дехкане обязаны оставлять в «красном кооперативе Махтума Палванова».

— Э-э-э, товарищ! — приветствует меня с порога «старейший кооператор», — э-э, будь здоров! Приехал гости? Старый Махтум резит баран. Ты видишь пред себя жертва гражданской войны!

Он, действительно, жертва гражданской войны (!) и получает пособие по инвалидности. Интересно посмотреть, как он живет, но заходить к нему опять-таки нельзя, чтобы не поднять этим визитом махтумпалвановского престижа в глазах дехкан...

Нас водит по аулу кочевой фининспектор Халиль. Для него тоже зарезали нескольких баранов — кто из уважения, кто из корысти. Но ему-то уж наверняка есть дехканскую баранину зазорно, и он печалуетя сквозь зубы на свою сиротскую участь. У Халиля ни кибитки, ни жены, а братья в Афганистане; он бывший красноармеец, живет в городе и ест в харчевнях. Инспекторские экспедиции он проводит с черст-

выми лепешками и «дорожным» сыром. Дорожный сыр — белые, соленые камешки, похожие на школьный мел, скатанные из овечьего молока, кукурузной муки и человеческого пота; их сосали столетия тому назад полчища Чингисхана, сосут сейчас нищие пастухи и будут сосать, я надеюсь, Махтумы Палвановы... Дорожная сумка фининспектора Халиля набита белыми камешками.

Вечером; — ах, какие вечера в предгорьях Копет-Дага, какие черные вечера с винно-красными звездами и долгим теплым ветром! — к реке приходят певцы. Они приходят для фининспектора Халиля и для нас, но, чтобы никто не сказал, что аул дает взятку музыкой, делают вид — гуляли, мол, пришли поседеть... Их двое, два сухих, негнущихся старика в бурачных халатах из сухого, негнущегося шелка. Они играют на бесконечно длинных дудках, сидя на черном коврике друг против друга, — то музыкой в музыку, дыханием в дыханье, то властно закинув узкие головы, то прянув друг к другу и скрестив дудки, как мечи. Оглушительный звук дуды жесток и великолепен, ее слова — война, победа, ночь... нет музыки диче и грознее текинской! Вокруг музыки толпа дехкан — батраков и хозяев; вдалеке ржут кони, среди них кони певцов, и певцы скоро уходят, даже не поглядев на нас, отряхивая на ходу пыль с халатов... Это певец Акмурад и певец Овез; у первого зарезали сыновей басмачи, второй никому неизвестен...

Для ночлега случайный дехканин выносит нам к реке кошму; спать нельзя — сыплются звезды и раскаленные блохи, и, тыкаясь, как щенок, холодным носом, шляется по кошме от одного к другому наш единственный браунинг, завязанный в носовой платок фининспектора Халиля...

#### Аул, где живет Мустафа

Литература канонизировала некую форму миража в пустыне. Он стал штампом на горизонте, этот традиционный мираж — «made in Сахара»: вода, и над водой пальма, и под пальмой газель.

В расплавленных и прозрачных пустынях Туркмении существует оздоровленный, советизированный мираж: вода и над водой электростанция.

Но мираж — не призрак, а приближение реально существующей природы. Караван, если не «сбоит», дойдет до воды.

Вот особый вид аула, то, что в западной России называется «местечком».

В глинистом овраге завалилась топкая желтая речушка в метр шириной. Над речушкой — «машина», великое изобретение доисторического человека, одна из его первых побед: огромное колесо, окаймленное глиняными кувшинами; часть кувшинов разбита. С усталым, извечным скрипом колесо добывает для полей воду из речушки. Больше трети воды проливается из разбитых кувшинов (древний прашур был бесхозьяственником). Колесо вертит костлявая, выжившая из ума лошадь; глаза у нее завязаны мокрой тряпкой, чтобы не кружилась голова и чтобы лошадь не увидела своего позора: пусть думает, что идет вперед!.. «Машина» скрипит ритмично, страшно, непрерывно, а рядом — школа, врач, агрономический пункт, детский дом, клуб, кооперативы... винные лавки. Женский кооператив, приютившийся в переулке, поближе к исполкому, забит истерзанными песчаной бурей потребительницами из далеких станoviщ: душистого мыла, одеколону, цветного ситца, суровых ниток, игл! В двух шагах от кооператива — детская консультация, в четырех — врачебный пункт, в десяти — школа ликбеза. Период строительства длится тут около двух лет; до этого шла истошающая борьба с басмачами. До революции аул входил в зону владений бухарского ханства, захватывавшего часть Туркмении; аулом и округом правил наместник. Развалины дворца — к югу от аула — окружены рассыпавшейся от дряхлости крепостной стеной; глинобитные зубцы выветрились, ворота выбиты, глубокие рвы завалены осыпью, и на дне их чернеет сырой лес — память весенних ливней и феодальных времен...

Между аулом и крепостью — переулки большого базара. Базар торгует два-

жды в неделю; в остальные дни он необычайно чист и пустынен под своей плетеной кровлей, и на земле зыблются сетки солнечных лучей. Как раз напротив главной улицы аула, на холме — базарная арка, и, когда завидишь издали под этой аркой всадника, театрально приподнятого на фоне мрака бледной землей, он и его лошадь выглядят, как историческая личность...

Ночью над аулом виснет замечательная темнота, к которой никогда не привыкнет глаз; она душит, она сваливает в кучу вещи и понятия: глиняные строения, закон шариата, пыль, тоску, маленькие злые лавчонки местных баев, раскрепощение женщины, всадников с фонарями и свирепых пастушеских собак. Эта тьма кажется безысходной; ее не могут пробить два керосиновых огонька — один у женского кооператива (первое реальное дело раскрепощения), другой — у красной чайханы. Это черное безветрие, этот недвижный, густой воздух не входят в легкие; человек задыхается, он ищет заветной щели, калитки в мир, где есть еще кислород, где дыханье — не каторжный труд, а профессиональный навык организма.

Под керосиновым огоньком, на помосте, крытом драной овечьей шкурой, сидит учитель Мустафа. Рядом с ним лежит Сулиман, секретарь исполкома, страдающий бессонницей. Они молчат и громко, серьезно дышат. Сегодня слишком душно даже для жителей пустыни.

— Очень, очень тяжелый воздух! — грустно говорит Сулиман.

— Ничего, друг, — отвечает Мустафа. — Ничего, ханум! — обращается он ко мне. — Скоро здесь будет электростанция.

— Ты знаешь нашу кассу, — испуганно обрывает секретарь исполкома, — зачем обманываешь? Нам нельзя еще об этом думать.

— А я уже хочу начать думать! — Голос Мустафы дрожит от гнева. — Здесь будет электростанция.

— Эй, друг, брось, друг!.. Зачем я здесь — спросит электростанция: что мне освещать? Овечий помет или собачью случку? Или, может быть, сморть, как бай Берды бьет камчой же-

ну? Я хочу знать, зачем меня выстроили!

— Мы откроем детский дом! — кричит Мустафа. — Мы откроем больницу, кино, показательные поля, библиотеку, радио! Мы сделаем коллективные хозяйства, мы поставим ясли!

— Эй, друг, для электростанции что нужно? — вода нужна. А для полей что нужно? Чем освежаются, когда в кино сидят? Чем охлаждаются, когда книги читают? С чем лекарство пьют? В чем детское белье моют?

Мустафа ударяет по помосту папашой.

— Вода? Здесь будет вода! — и круто замолкает.

Сулиман уже лежит на животе, подперев щеки кулаками; где-то сбоку, в пустыне, проплывает нежный звон верблюжьих колоколов... пролетает, почти касаясь виска, мягкий конский топот. Наконец, секретарь исполкома резко обращается ко мне:

— Давай карандаш.

— Темно.

— А я вижу.

Он долго рисует на клочке оберточной бумаги, потом говорит:

— Мустафа, ты прав. Здесь будет вода, потому что я нарисовал ее. Аму-Дарья даст.

Но Мустафа заснул, развалившись на помосте. Он не мог уйти домой: по всей улице, по всей стране расставлены капканы для степных лисиц. Это большие семейные капканы, на целый выводок, и в них иногда попадают люди.

Дважды в неделю празднуется аульный базар, знаменитый на всю округу. Он промышленяет предметами пустынного обихода, но гвоздь этих праздников — аму-дарьинский сом. Рыба разрезана на узкие мягкие полосы и жарится, плюясь в глаза, на бараньем сале, на огромном, немислимо чадном огне. Тут есть целые труппы жареного сома — открытые кухни, под кровлей из саксаула, похожей на взбесившуюся папаху. Дикая дым ест глаза, на грязных кошмакх и цыновках валяются подгорелые лепешки, течет по пальцам помидор, хохочут старые туркмены, идет в

круговую чугунная чаша с водой, и сом чудовищно вкусен.

Дважды в неделю Мустафа и Сулиман бессонный бродят, обнявшись, от лавки до лавки. Домотканная мата и конская упряжь, темный шелк, грубый, как древесная кора, и ковровые хурджумы, ножицы и шила, ножи и верблюды, глиняные амфоры и кооперативная парфюмерия «Новой Зари», корм для скота и московские ситцы...

За бурей пыли Мустафе брезжат ровные ряды товарных складов, широкая вода с электростанцией, парки машин и леса строительства — нагромождение технического счастья. Сулиман сегодня — противник земледелия. Он злобно глядит себе под ноги на рассыпавшийся горячий прах:

— Туркменской земле еще только учиться рожать, а туркменский ковер уже стал взрослый. Сам цветет. Знаешь наше будущее? — ковер и фабрика!

— А овцы? — с деланным смиренным спрашивает Мустафа. — А овцы, друг?

Сулиман устало опускает тяжелые веки: «ах, да, овцы. Валла! миллионы овец... Страшно подумать, как богата Туркмения! И что ему с ними делать? как остричь их всех?!».

Когда мы сидим в гнезде из глины и саксаула, где мятутся смерчи бледного пламени, и пожираем жареного сома, Сулиман мрачно молчит. Его опущенные веки обведены киноварью бессонницы, худое лицо сурово.

— Ну, так как же овцы? — бестактно спрашиваю я.

Сулиман усмехается и говорит, не отвечая на вопрос:

— Наш народ не привык пить вино. Отец не пил, дед не пил, прадед не пил. Когда молодой туркмен пьет, — сразу падает пьяный, потому что кровь его не знает вина.

Он продолжает тише:

— Кочевой народ не привык думать о будущем. Если молодой туркмен думает, он больше не спит, его голова мучается. Я не сплю три месяца — ездил к доктору в Чарджуй, доктор не помогает. А я думаю днем и ночью и буду думать всю жизнь. Чем не думать — лучше умереть... Знаешь?



### На большой воде

По берегу Аму-Дарьи раскинуты шатры. Пахнет смолой, дальним плаванием и дымом. С беспредельной сиреневой лужи тинет морским холодком. В шатрах таятся земляные очаги для варки пищи. У очагов постланы серые кошмы с узором свекловичного цвета и запахом дождливых картофельных полей (этот сырой кошменный запах — единственное, что напоминает землю в стране, где вместо земли раскаленный песок). На кошмах спят люди в позах героических мертвецов с батальных олеографий. В некоторых шатрах люди не спят; они сидят в кругу за обедом или беседой. На них огромные бараньи папахи — черные и рыжие, похожие на гнезда аистов, — словно мрачные легенды здешних мест свили себе приют на буйных головах. Это туркмены и каракалпаки из таинственной и автономной Кара-Калпакской области — хозяева кайков дальнего плавания.

Кайк — черное утреждение, грузоподъемностью в тридцать-сорок тонн, огромное, лоснящееся и сальное, как бегемот. Кайк — допотопный ковчег: мачты кривы, оснастку заменяют отрешья канатов, а к внутренней стороне «носа» прибито маленькое зеркальце, косо отражающее грозовую папаху и бронзовое лицо капитана. Кайки перевозят не только хлопок и дыни, — они перевозят в болота и пустыни бывшего хивинского ханства советскую власть: машины и работников. В этих допотопных пирогах едут электростанции, трактора, автомобили!

На берегу великой дужи, именуемой Аму-Дарьей, грузно осели в ил сотни кайков. Тут и кайки-грузовики и кайки легковые. Грузовики большей частью ходят под командой каракалпаков и туркмен; легковые — под волей уральских казаков, мужиков крутых и хитрых, чьи предки были сосланы «за веру» в туркменское пекло кулачить как сумеют в поистине мутной воде.

Вся часть чарджуйского берега — пристань уральских казаков, если не считать двух утлых калов госпароходства, знаменитых тем, что ходят впятеро дольше кайков, во-первых, по при-

чине пьянства команды, во-вторых, по объективным условиям, в третьих, по отсутствию фарватера.

Уральские казаки не разбивают лагеря — они здешние. Им принадлежат эти короткие, чудесные улицы деревеньки, выводящей к реке, кукурузные частокотлы, розовые мальвы, изумрудные и волючие укусные деревья, рассада светлякового цвета, косматые доисторические сорта проса и кукурузы, уходящие корнями куда-то к чорту, в песчаную лошадь Пржевальского...

В чистых сектантских садочках молча пьют чай дебелие бабы, белоглазые девушки-тихони лузгают у калиток подсолнухи. Все это принадлежит уральским казакам, а сами они сидят на бережку на пеньках-колодках, курят, изменяя «каторжной» вере, долгие самокрутки и тупо, без вкуса, отмеривают друг другу скучные, степенные сплетни про «убил, ограбил, поджег, изнасиловал»; сплетни эти исключительно об истлевших покойниках — отцах и дедах односельчан.

Седой, краснолицый уралец, завидев нас, трех пыльных человек с походными мешками, присоанивается и повышает голос:

— Да!.. Что и говорить — времена!

Мы усаживаемся поблизости, на перевернутой лодке.

Оба казака начинают разговаривать нарочито членораздельно и громко, как на открытой сцене; изредка старший скашивает, не утерпев, в нашу сторону красновато-коричневый птичий глаз. Держатся они на сцене хорошо, привычно, эти «благородные отцы», — а наивная пьеса разучена на ять.

— Жалко мне, Семен Тимофеевич, за проезд в Ургенч драть с людей тридцать рублей! Уж не дорого ли?

— Ясно, что дорого. Тридцать с божьей души — виданное ли дело? Разбой! Нам бы и красненькой за глаза хватило, да воля-то не наша!

Седой эффектно разводит руками:

— Уж это да! Против союза не пойдешь. А велит союз драть, чем больше. Главное велит, — кто попроще, с того и дери. С чего ж иначе налоги-т получать? Комиссарам-т нашим тоже есть-

пить нужно! Тоже люди, небось, дети у них.

Врет по-сектантски, елейно, истово...

— И выходит, мы, стало быть, живоде-ры, — вздыхает седой, — жили по че-сти, наживаться не умели, а стали на старости союз каичников.

— Каичников, — печально и просвет-ленно повторяет партнер. — Каичники мы. Плаваем, а рыбки-т и не ловим. За каждую рыбку ведь налог плати — сначала заявлениице подай, что за ры-ба, где словлена, а потом и денежки выйми, сто рублей. Божью тварь и то обложили — ай, яй, яй! Вот и ушла рыбка-т в сине море...

Он, я знаю, бывший рыбопромышлен-ник, другой, помоложе, бывший арбуз-ник. Они хозяева каиков. У первого по аму-дарьинским рукавам до разбойного острова Муйнака сновали за рыбой в старые времена нищие полудикие ры-баки, у второго на бахчах и сейчас батрачат за харчи и туркмены, и персы, и кара-калпаки...

Рыбопромышленник неожиданно по-ворачивается к нам лицом; оно выра-жает страстную симпатию:

— Агитировать приехали? — спраши-вает старик хриплым, заговорщицким шопотом. — Дальние?

Арбузник испуганно хватается за колено:

— Что ты, Потап Павлыч, что ты! Разве нам, старикам, скажутся? Им мла-дежь нужна... Вы, товарищи, не сте-сняйтесь!

— Уж, пожалуйста! — подхватывает рыбопромышленник. — Будьте как дома. Мladeжь — это мы мигом устроим. У меня только, простите старика, сынов нету и у него нет. А про чужих сынов сейчас разведаем...

И, не дав нам опомниться, орет в де-ревеньку:

— Ка-ть-ка!

Катька, белоглазая, с черной косой, с темными ресницами на линии нижних век, прямой и влажной, как черта гори-зонта, подходит, подпирая скрещен-ными руками пышную грудь.

— Катюшка! — лениво приказывает отец, — вот товарищи интересуются за молодых мужчин. Покажи, дочка!

Девушка поджимает губы и краснеет платнами гнева:

— У нас, товарищи, славь-те боже, молодых мужчин нету, не держим!

И уходит, возмущенно подрагивая бедрами.

Старик снова разводит руками — этим эффектным и выразительно-про-стым жестом ветеранов Малого театра.

— Вот. Вот какая младежь пошла: нету ее вовсе! Не родятся сыны у му-жиков! Семя не то. Уж боялся, не пове-рите мне, — дочку позвал. А где еще были сыны, тех в Красную армию угна-ли. И будьте как дома.

А казачские парни в семейной ссылке. Они спрятаны от переписи и от Крас-ной армии. Они ползают и путаются в глинистых рукавах Аму-Дарьи, опу-щенных в Аральское море, — там, где рыбные промысла, дичь и живность. Молодые уральцы редко приезжают на побывку в Чарджуй: их зона между Туркулем и Ходжейли. Молодых ураль-цев... сослали отцы, дяди и деды по-дальше от активной советской власти. Старики боятся комсомола, а еще пуце газет. В низовьях Аму можно воспиты-ваться по-старому, по-уральски: там со-ветская власть уже вышла из боевого периода, но еще не вошла в трудовой; там суматоха, пьянство, малярия и охвостья басмачьих банд. В рыбных по-селках низовий живут матерые ураль-ские казаки старинных фамилий; они принимают на полный пансион «под-порченную» младежь, берутся «выпра-вить» и «выправляют».

Как пишется в стенгазетах: «Куда смотрел чарджуйский комсомол?» — он не знал об этом. Узнал случайно, вчера, от нас, приезжих с другого конца СССР, и сказал:

— Товарищи! Да что же это?!

### Главный базар

Как с балконов и плоских кровель тысяча и одной ночи, он виден во все концы с утлой терраски мервского гор-исполкома... По понедельникам и чет-вергам в тумане золотой пыли, в песке жестоких ветров торгует главный ба-зар Туркмении.

Непокрытым табором он раскинулся на краю пустыни — вот бесплодная пло-

шадь для продажного скота, косматые кони, угрюмое, синее солнце в желтых небесах; вот вокруг бродячих музыкантов густая темно-пестрая толпа, и пара медных труб, поднятых над этой толпой, похожа на рога улитки...

Это не бухарский базар. Здесь нет в помине прогнивших навесов над головой, лиловой сырости под ногами, потной и горящей тесноты. Там, в Старой Бухаре, люди занимаются торговлей, как развратом, — они кипят в коридорах переулков, в тупиках, стиснутых зловоньем, на мусорных свалках и на задворках кладбищ... **Текинский базар** весь на ладони пустыни, — с трех сторон желтый простор, с четвертой — сизый город; люди движутся на полном своту, и вещи смело открывают свои изъяны: шелковая ткань — грубые узелки и трещины, домотканый шелк — ошибки станка, скот — раны и ссадины, хлеб — запеченных в песке жуков. На текинском базаре товар продают изнанкой.

— Мой кувшин — простой земля, мой сосед кувшин — хороший кувшин!

— Эта сыр — старое молоко от старого бара. Хочешь — бери...

Продавец спокоен, — все будет продано в свое время: и шелк с узелками, и домотканый холст, и хлеб, и кувшины; Туркменистан велик и голоден: у кого есть мука, тот ходит необутым, у кого есть пояс, тот обязан купить к поясу халат.

По понедельникам и четвергам, на рассвете, в город вступают призрачные караваны верблюдов; у дверей чай-чи старого афганца Дада Мамедова спешиваются путники из Кушки и Тахта-базара; туркмены в огромных, как грозовая туча, папахах, истощенные опиум берберы в шароварах из белого нансука и маркизетовых чалмах; широкие скрытые киргизы втаскивают на душные нары тугие туки хурджумов, кошем и бараньего сыря — весь свернутый текинский базар. Ведь базар этот — ярмарка в пустыне; большинство продавцов и покупателей — приезжие дехкане; только в мануфактурном, обувном и посудном рядах торгуют несколько оседлых лавок, принадлежащих настоящим

купцам: узбекам, персам и бухарским евреям...

По понедельникам и четвергам в полдень наступает величайшая радость здешних мест: шляться по базару. По обеим сторонам пути тянутся оглушительные, как джазбанд, харчевни и лавки, похожие на земляные очаги. Это не почтенные лавки Узбекистана с голубыми ставнями и прохладцей — это дикарские гнезда первобытной торговли, крытые хворостом, — Абиссиния, Тимбукту, Мозамбик...

Дальше, перед площадью домашнего скота — площадь домашнего европейского скарба: дряхлые кресла с выпотрошенными брюхами, хромые столы, зачумленные кровати. И рядом с этим барахлом красуется работа молодых туркменских кустарей, — новая, без истории и традиций отрасль кочевого производства: это мелкая цветная мебель — столик, ларь, табуретка, разделанные безродным орнаментом, не имеющим корней ни в старинном узоре ковра, ни в рисунке шелка...

Центр базара занят развлечениями; сюда тянутся огромные толпы молодых туркмен, здесь задерживаются наезжие афганцы, киргизские мальчики несут сюда гроши, вырученные за камешки консервированного сыра, более необходимого кочевнику, чем хлеб. Здесь останавливаются в обалдении текинские певцы и рассказчики анекдотов. Посреди тесного круга помещается магнит базарного дня: три вида переносной рулетки и у каждой рулетки по одному крупье в голубой ситцевой блузе. Эти крупье с актерскими складками у губ, с припадочными руками, с циничными прибаутками — русские инвалиды, либо не попавшие в артель, либо нашкодившие в артели; этим инвалидам рулетка сдана в аренду местной деткомиссией. Деткомиссия же поистине не унывает — она блестяще применяется к стилям националов: в тщилой Бухаре — картонные дворцы, в иссушенном Мерве — детская цыганская кочевая вертушка. На рулеточных столиках горками и столбиками возвышаются дехканские медяки, а промеж подмаргивающих крупье курсируют юркие черноватые

субъекты с массивными кольцами на волосатых пальцах.

Да, у старого певца Юсупа, Юсупа, знаменитого по всей пустыне, от колодца Девы до колодца Козы, есть резон завидовать деткомиссии! Может позавидовать ей и старый пройдоха дервиш Абубекир; но всего завистней взирать на ее успехи здешней кооперации. Кооперация на текинском базаре живет плохо, много хуже, чем могла бы; и не приходится даже долго рассуждать о причине ее плохого житя: ни на объективные условия, ни на трудности работы в национальных республиках эту причину не свалишь: она наглядно бросается в глаза при первом посещении текинского базара.

Во-первых, кооперативы вынесены за пределы рынка, на отлет, куда-то «налево, прямо, направо и опять налево», подальше от козлиц частной торговли. Приезжий из безлюдья дехжанин хочет потолкаться в самой гуще базара; он поест в харчевне, выпьет чаю в чай-чи, послушает рассказчика в башмачном вертепе, и глядишь, уже незаметно для себя обзавелся всем необходимым — от нового халата до куска мыла. Много после, идучи в развалку мимо кооператива, он почешет папаху, подсчитает по пальцам, сколько переплатил частнику и, покорно вздохнув, вручит свои дела Магомету...

Во-вторых, кооператив на восточном базаре — абстрактный и пышный универмаг. Он потрясает изобилием жестяной утвари и половых щеток. Он богат полуботинками на один номер, манной крупой и одеколоном «Четырех тузов». Нельзя сказать, чтобы там совсем не было предметов реального текинского обихода. Они есть — даже бязь и глиняные кувшины; но в нацменском конфекте они прячутся по темным и пыльным углам.

Кооперация на базарах Туркменистана загордилась. Что, если бы ей разделиться на мелкие отрасли, бить частника прямым ударом, протискиваться в базарную чащу, прочно и весело сидеть между лавченками, похожими на земляные очаги, завоевывать отдельные площадки, конкурировать с древней историей, вытеснять частника из африкан-

ских хворостяных гнезд? Побеждать конкурента на Востоке можно только тесным соседством. Делается же так (и не только здесь, а почти всюду на восточных окраинах): на отлете возводится храм с видом на базар, в храме протягиваются полки, к полкам приставляется постный и кислый человек. Человеку скучно. И если, тем не менее, местная кооперация крепнет и живет, это лишь доказательство того, что умеи она приняться за дело, крепла бы в десятки раз быстрее. Текинский базар — просторное и светлое поле битвы.

С заходом солнца ярмарка кончается. Турист в колониальном шлеме бубнит и сетует, что на знаменитом текинском базаре не видать знаменитых текинских ковров: «Где, я спрашиваю вас, красота жизни? Где перекупщики? Где старики с четками? Ни одного ковра на руках!».

Очень хорошо, что турист сетует. Ковровщицы объединяются в артели. Ковры покупает из собственных рук кустарницы Кустпромсоюз. Его магазин — склад, чистый, темноватый, прохладный — не на базаре, а в самом городе. Стены и пол увешаны огромными строгими коврами. Женщины сидят на полу и судачат о «методах производства», сложив на коленях эти узловатые собственные, «первые» руки, из которых покупает советская власть. Рассказать — выйдет пресно, надо видеть: приходит древняя стена старуха; из бородавки на ее подбородке торчит пук седины. Она кладет на прилавок тючок и разворачивает, как ребенка, схематический рисунок — темный пурпур, сажу, слоновую кость...

## М е р в

Иногда мы любим читать об этих маленьких городках Прованса или Лангедока, залитых солнцем, пропахших красным перцем, чесноком и корицей, полных парикмахеров и часовщиков, — этих южных городках на берегу Средиземного моря, Тарасконах из «Тартарена».

Здесь море заменяет пустыня. Зеленоватоголубая ранней весной, свинцовая осенью, бурная и бурая ветренным летом, она с рокотом, слышимым только вожакам караванов, катит свои

пески между Гератом и Хивой. На дне ее покоятся сокровища погибших царств, кости павших верблюдов качаются на ее волнах, и на гребнях ее волн растет редкая горько-соленая трава...

Когда флот верблюдов выходит в открытую пустыню, дети погонщиков глядят ему вслед, и базарные кони ржут разлуку. В полдень над пустыней дрожит розоватое марево, струи песка тихо звенят и мурлычат, мертвый зной пахнет солью и прахом доисторических рыб.

Утром и вечером, стоя на пригорке, можно видеть как пустыня лижет синие берега, можно услышать прилив и отлив пустыни...

На берегу стихии стоит маленький соляной порт; в нем есть много темных таверн, которые называются здесь чай-чи и в которых старые моряки пустыни рассказывают небылицы о бурях и дальних берегах; главная улица занята часовщиками, парикмахерами и аптекой; над железной дорогой, пересекающей город, стоят бани «Фантазия», а на краю города, на зеленой косе, вдавшейся в песчаный океан, есть кафе с видом на бесконечность. В кафе висит грязная люлька с младенцем; на примусе в ведре кипятится молоко, и за ситцевой занавеской почесывается хозяин...

Город называется Новый Мерв. Он — торговый центр Туркмении. Его население — армяне, украинцы, евреи, грузины, афганцы и персы — часовщики, ювелиры, портные, виноторговцы, москательщики, парикмахеры и аптекаря. Туркмены здесь гости; они приезжают из аулов и живут на уличных помостах перед чай-чи.

Мерв — городок лавочников и кустарей. Целые улицы заняты огромными полукруглыми дверями торговых складов; золотым вечером половина складов глухо заколочена, на деревьях перед ними растут медовые стручки и рожки, и смуглые ребятишки лазают на деревья под присмотром черноволосых матерей, одетых в розовое и голубое.

Мерв — исторический городок. У него есть поразительная достопримечательность — маленький мост через запекшийся и пересохший Мургаб с четырьмя большими молочными фонарями

и кладбищенской железной оградкой — знаменитый мостик, чья постройка обошлась местному бюджету в стоимость небольшой электростанции! Это — лирический памятник нашей бесхозяйственности. За мостиком — городской сад, весь сухой от пыльного зноя, но тенистый и душистый. По всему городу глухо и нежно звенят колокола верблюжьих караванов, и все улицы носят имена писателей XIX века: Пушкинская, Гоголевская, Достоевская, Тургеневская, даже Аксаковская...

Мерв — экзотический городок. Уже вечереет. Клубится туман золотой пыли, в чай-чи варится плов, из раскрытых окон несутся южные баритоны граммофонов и баклажанный запах Прованса или Лангедока...

### Инскенджьябин

Ашхабад — столица Туркменской республики, ее административный центр. Об Ашхабаде можно почитать в словарях (см. Полторацк или Асхабад), в учебниках (пустыня) и в газетах («Листок РКИ»). Симметрично распланированный город — большой, тихий и простой — на белой от солнца мягкой земле; местами он вымощен, но под густым слоем горячей пыли этого не видно и не слышно. В Ашхабаде обычно товарищи, посланные писать о советской Туркмении, берут, чтобы не ехать самим в чортово пекло, статистические, географические, этнографические и поэтические сведения, где и как обстроит туркменская экзотика. Случилось так, что для нас, наоборот, экзотика — Ашхабад. Здесь только отдых, потому что через неделю снова в дорогу.

В Ашхабаде, на перекрестках, пьют искенджьябин. В Коране об искенджьябине говорится так:

«И они будут пить влагу сладкую, но чистую, из источника, имя которому Искенджьябин...»

Прилагаю рецепт искенджьябина:  
на три ведра воды  
ведро уксусу и ведро сахару.

Вскипятить. Очистить крутым яичным белком.

Разлить по кувшинам средней величины.

На каждый кувшин средней величины:

три капли розового масла,  
одно яблоко,  
один лимон,  
один красный перец,  
один пучок мяты,  
одно гранатовое зерно.

Разлить по графинам средней величины.

На графин средней величины:  
одну каплю розового масла,  
два яблока,  
два лимона

и  
один полный гранат, очищенный  
от скорлупы.

Привезти лед с вершин Копет-Дага  
или

достать на фабрике;  
продавать по пяти копеек за стакан  
с пожеланием счастья.

Выпив стакан иксенджьябина, можно  
ехать обратно «вглубь страны», в районы  
Кушки, Тахта-базара, Теджена, в  
пески и оазисы, занесенные солнцем...

## 7. ПО ВСЕМУ СВЕТУ

(Очерки международной политики)

### С. Гальперин

Новый хозяин в Белом Доме. — Америка и Гаагский Трибунал. — Сверхбанк и сверхчеловек с Уолл-стрит. — Угробленные меньшинства. — Неотпразднованный юбилей. — Снова Китай

#### Новый хозяин в Белом Доме

В один и тот же день — 4 марта — в Женеве открылась сессия Совета Лиги Наций, а в Вашингтоне официально вступил в отправление своих обязанностей новый президент Северо-Американских Соединенных Штатов Герберт Гувер. И хотя последнее событие формально не имело международного характера, но почти вся европейская печать уделила ему, пожалуй, больше внимания, чем сессии Лиги Наций, несмотря на то, что последняя является официальным вершителем международной политики. Ибо ходом событий Америка становится узловым пунктом мировой политики. В Женеве заняты вопросом о привлечении САСШ к участию в Гаагском Международном Трибунале, в комиссии экспертов выдвигают проект мирового сверхбанка, преобладающая роль в котором должна принадлежать американскому финансовому капиталу, и даже в предвыборной борьбе в Англии перед избирателями стоит неотвратимый вопрос о будущих англо-американских отношениях.

Немудрено при таких условиях, что президентское послание нового хозяина Белого Дома в Вашингтоне стало предметом исключительного внима-

ния европейской прессы. Послание это, однако, давало мало пищи для газетных комментариев. Как удачно выразился обозреватель бельгийской социалистической газеты «Peuple», это послание содержало в себе слова «слишком прекрасные, чтобы соответствовать действительности». «Соединенные Штаты, — заявил Гувер, — не преследуют целей ни территориальной, ни экономической экспансии». Если только слова имеют определенный смысл, то никак нельзя представить себе, чтобы Соединенные Штаты, под руководством Гувера, не вели бы политики экономической экспансии. Это не вяжется не только с общим направлением развития американского капитализма, но и со всей карьерой нового президента САСШ.

О новом президенте приходится судить поэтому не столько по его речам и посланиям, сколько по всей его прошлой деятельности. Ярый сторонник протекционистской политики, которую он проводил в качестве министра торговли в кабинете Кулиджа, он, разумеется, будет проводить ее и в роли президента. А протекционизм сам по себе определяет и все направление внешней политики Соединенных Штатов: затрудняя доступ в САСШ товарам из передовых капиталистических

стран Европы, а значит и вывоз американских товаров в эти страны, протекционизм Соединенных Штатов предполагает борьбу с этими странами за овладение емкими рынками Южной Америки, Дальнего Востока и Советского Союза.

Об отношении Гувера к вопросу о признании СССР, как естественному пути к расширению товарообмена между СССР и САСШ, говорить пока преждевременно, хотя нельзя не отметить, что почти вся европейская пресса склонна считать, что вопрос этот стоит сейчас в порядке дня. О предстоящем усилении борьбы американского капитала за китайский рынок говорит как прошлое Гувера, — как известно, свою международную карьеру он начал с должности советника китайского правительства в деле организации горной промышленности в Китае, — так и тесная связь, которая существует между нанкинским министром финансов Сун-Фо и американскими финансовыми кругами. А о готовящемся усилении экспансии САСШ в Южную Америку говорит тот факт, что промежуток между избранием и вступлением в должность Гувер использовал для поездки в Южную Америку. Хорошо осведомленный нью-йоркский корреспондент «Temps» Ричард Коллингем пишет по этому поводу: «Те, кто поняли весь смысл визита в Южную Америку вновь избранного президента, работающего над равновесием нашего полушария, от устойчивости которого зависит и устойчивость Старого Мира, те поняли его мысль и направление его политики» («Temps» 5 марта 1929 г.).

«Равновесие» в западном полушарии означает превращение всего американского континента в единую политическую и экономическую систему, которая могла бы контролировать «устойчивость» Старого Мира, иначе говоря, диктовать ему свою волю. Таков несомненно тот курс международной политики, который будет проводить — с свойственной ему настойчивостью и методичностью — новый хозяин Белого Дома, претендующий на роль хозяина всего капиталистического мира.

### Америка и Гаагский Трибунал

Хотя президентское обращение Гувера и состоялось, как мы уже указывали, из заявлений «слишком прекрасных, чтобы соответствовать действительности», все же в нем были и кое-какие намеки политического характера, выходявшие за рамки подобающего американскому президенту пуританского благочиния.

Так, Гувер подтвердил в своей речи, что Соединенные Штаты не намерены вступать в Лигу Наций. «Наш народ так решил», заявил он, как бы намекая этим, — так, по крайней мере, поняли его формулировку некоторые европейские газетчики, — что лично он, пожалуй, был бы готов отступить от традиционной американской политики в этом вопросе. Вывод этот, конечно, произволен, — да и чтение в сердцах американского президента не представляет само по себе большого интереса, — но важно другое: Гувер выразил в своей речи готовность смягчить остроту тех оговорок, которые выдвигались до сих пор вашингтонским правительством в вопросе о присоединении Соединенных Штатов к Гаагскому Международному Трибуналу.

«Соединенные Штаты — заявил Гувер, — не намерены домогаться при помощи этих оговорок особых для себя привилегий... Мы будем искать и, надеюсь, найдем пути, которые позволят нам занять наше место в том течении, которое прокладывает дорогу к всеобщему миру». Практически это вербальное заявление сказалось в том, что на заседании комитета юристов в Женеве американский делегат Элли Рут сделал некоторую уступку своим европейским коллегам. Основная американская оговорка заключалась в том, что Гаагский Трибунал не должен без согласия САСШ принимать от Совета Лиги Наций на рассмотрение конфликты, в которых Соединенные Штаты были бы заинтересованы или заявили бы о своей заинтересованности. Не трудно видеть, что такого рода оговорка лишала присоединение Соединенных Штатов к Гаагскому Трибуналу всякого практического значения.

На конференции юристов в Женеве Элиу Рут видоизменил эту оговорку следующим образом: в виду того, что Соединенные Штаты не представлены в Совете Лиги Наций, они сохраняют за собой право представлять отвод при передаче Советом Лиги Наций в Гаагский Трибунал того или иного конфликта. В этом случае Гаагский Трибунал должен приостанавливать рассмотрение дела, пока между Лигой Наций и САСШ не будет достигнуто соглашения. При недостижении соглашения Соединенные Штаты сохраняют за собой право выйти из Гаагского Трибунала.

Формальная уступка заключается в том, что вместо права, так сказать, предварительной цензуры Соединенные Штаты получают право наложение вето на состоявшееся уже постановление Совета Лиги о передаче конфликта в Гаагский Трибунал в тех случаях, когда конфликт затрагивает их интересы. Практически дело меняется мало: Соединенные Штаты по-прежнему сохраняют полную возможность препятствовать передаче в Гаагский Трибунал любой жалобы Никарагуа или Венесуэлы на вмешательство САСШ в их дела.

На практике все эти юридические тонкости имеют мало цены, ибо и независимо от всяких формальных оговорок Лига Наций не имеет обыкновения в спорах между государствами становиться на сторону слабого, но они интересны как показатель американского понимания сотрудничества Соединенных Штатов с Лигой Наций: САСШ благосклонно соглашаются приложить свою руку к разбору конфликтов между другими государствами, но они никогда не позволяют кому бы то ни было разбирать — без своего согласия — свои конфликты с другими государствами, и особенно с государствами Центральной и Южной Америки.

Формула эта явно «обидна» для европейских государств, но комитет юристов в Женеве ее принял. Интересно, что против этого решения протестовал орган германских с.-д. «Vorwärts», вдруг обнаруживший склонность защищать интересы южно-американских республик.

Истинная причина лежит, однако, не в «рыцарстве» с.-д. газеты, а в том, что Германия заинтересована в разобщении Соединенных Штатов и Лиги Наций, ибо эта разобщенность дает Германии возможность искать в Америке поддержку против нажима англо-французской Лиги. С.-д. орган блюдет в данном случае интересы своего «фатерланда».

### Сверхбанк и сверхчеловеки с Уоллстрит

После пятидневной работы международная комиссия экспертов родила свое первое детище — проект создания международного сверхбанка, который был бы органом координирования работы эмиссионных банков отдельных государств в области международных расчетов. По существу дела, речь идет о создании чего-то в роде мирового Госплана, регулирующего экономическую — а значит и политическую — жизнь главнейших капиталистических государств всего мира.

Эта идея представляется внутренней противоречивой, ибо как можно мыслить регулирование из единого центра всей мировой экономики при наличии ведущих между собой отчаянную борьбу отдельных об'единенных по национальному признаку капиталистических группировок, внутри которых сталкиваются вдобавок конкурирующие хозяйственные единицы. Мы увидим ниже, что уже первоначальный проект создания сверхбанка вызвал вокруг себя борьбу за ограничение его функций регулированием чисто репарационных отношений, но попытаемся проследить сначала, как пришла комиссия экспертов к этому — ранее никем не предвиденному — разрешению репарационной проблемы.

Заседания комиссии экспертов начались с докладов германских делегатов Шахта, Фоглера и Кэстле, которые дали обрисовку экономического положения Германии, пытаясь при этом ослабить впечатление от оптимистического изображения германской экономики в докладе агента по репарациям Паркера Гильберта. После этого германским экспертам надлежало внести конкретные предложения о размерах и числе репа-



рационных взносов, которые, по их мнению, Германия в состоянии платить. Но делегаты Германии — по понятным соображениям — предпочли воздержаться от конкретных предложений и указали на необходимость предварительно установить, какую роль будет играть при определении германских платежей так называемый «индекс благосостояния Германии» (в силу которого по плану Дауэса размеры годовых взносов Германии должны увеличиваться или уменьшаться в соответствии с экономическим положением Германии) и так. наз. «трансфертная оговорка», сводящаяся к тому, что союзники признают за Германией право временно приостановить уплату репарационных взносов, если эта уплата ставит под угрозу устойчивость ее валютной системы.

Если вопрос о соответствии взносов с благосостоянием Германии мог быть разрешен сравнительно просто, путем соответствующего соглашения между сторонами, то «трансфертная оговорка» представляет собой очень сложную проблему. Предусматриваемое ею право Германии приостанавливать уплату репарационных платежей было связано в то же время с принципом приоритета этих платежей перед всеми коммерческими долгами Германии, а этот принцип приоритета совершенно исключал возможность коммерциализации германских репарационных платежей, являвшейся, как нам приходилось уже указывать в нашем февральском обзоре, основной задачей комиссии экспертов.

Для разрешения этой проблемы английским экспертом Стампом было внесено предложение о разделении германских платежей на две части, из которых на одну распространялась бы так. наз. трансфертная оговорка, а другая была бы изъята из ее действия и могла бы быть коммерциализована. Однако, проектом Стампа проблема разрешена не была, ибо надлежало еще, во-первых, разрешить вопрос о пропорции между обеими частями германских платежей, а, во-вторых, разрешить вопрос о платежах натурой, которые составляют по действовавшим

до сих пор правилам обязательную часть репарационных платежей.

Для разрешения всех этих вопросов было создано три подкомиссии: по определению размера части платежей, на которые распространяется трансфертная оговорка, по определению размера коммерциализованной части репарационных платежей и, наконец, по вопросу о платежах натурой. Подкомиссии работали самостоятельно, но когда они выступили со своими докладами на пленарном заседании комиссии экспертов, то выяснилось, что между этими тремя теоретически разделенными частями репарационных платежей существует самая тесная связь, предполагающая известное единство в их регулировании.

Тут-то и выступил председатель комиссии, американский экономист Оуэн, с своим проектом создания единого органа, на который была бы возложена и эмиссия облигаций коммерциализованной части репараций, и объявление в случае нужды мораториума (т. е. приостановки платежей) для той части их, на которую распространяется трансфертная оговорка, и распределение между кредиторами Германии платежей натурой.

Само собой разумеется, что существующий в настоящее время орган взимания платежей в лице генерального агента по репарациям оказался непригодным для производства всех этих операций. Они могут быть по плечу лишь могущественному банковскому учреждению. Американская делегация и выдвинула идею создания сверхбанка, который явился бы по существу резервным банком для всех государственных эмиссионных банков и регулировал бы во всех странах высоту учетного процента. Такой банк, конечно, легко справился бы и с задачей распределения платежей натурой и с выпуском соответствующих облигаций коммерциализованной части репарационных платежей и, наконец, легко мог бы устранять — даже и не прибегая к мораториуму — всякие затруднения с трансфертом платежей, поскольку он был бы фактическим хозяином мирового валютного рынка.

Проект этот явился чисто «американским» как по грандиозному размаху деятельности мирового сверхбанка, так и потому, что осуществлен он мог быть лишь силами финансового капитала Америки, где сейчас сосредоточено около половины мирового золотого запаса. Преимущества этого американского проекта с точки зрения разрешения репарационной проблемы ясны сами собой: при создании этого банка разрешение вопроса о покрытии задолженности союзников Америке за счет германских репараций представляет собой лишь арифметическую задачу.

Но тут-то и выплыла наружу вся международно-политическая подоплека работы экспертов, официально разрешивших лишь задачу технического осуществления связанной с репарациями экономической проблемы. И немудрено, что уже в первом официальном сообщении о проекте создания «Банка Международных Расчетов» комиссия экспертов сочла нужным, во-первых, подчеркнуть, что проект носит лишь эскизный характер и впоследствии может быть видоизменен или даже полностью отвергнут, а, во-вторых, указать, что «новый банк ни в коем случае не явится сверхбанком, который мог бы оказывать доминирующее влияние на все существующие учреждения».

Оговорка эта, однако, не достигла цели. В публике за новым банком твердо установилось название «сверхбанка», а «существующие учреждения» в Англии немедленно же обнаружили свое беспокойство. Как сообщает «Daily Telegraph», в коммерческих кругах Англии проект подвергся серьезной критике. С одной стороны, в Англии недовольны тем, что банк будет заниматься распределением платежей натурой, которые наносят прямой ущерб английской торговле (производимый в порядке репараций вывоз угля из Германии в Италию сильно отразился на английском экспорте угля). Во-вторых, коммерческие круги Англии опасаются, что «этот банк под руководством финансистов из враждебного Англии лагеря сможет косвенно

оказывать влияние и на высоту учетного процента в Английском Банке, т. е. сужать при желании кредитные возможности английской торговли».

«Times», подходя к вопросу о сверхбанке с более общей точки зрения, высказывает мнение, что «с течением времени регулирование репараций отойдет в деятельности банка на второе место, за счет чего вырастет его роль как мирового регулятора торговли и кредита». «Times» приводит затем мнение одного «высоко-авторитетного лица», что банк этот «сможет играть для дела всеобщего мира более крупную роль, чем Лига Наций».

Но именно эта перспектива и пугает политические и финансовые круги Англии. По указаниям всей мировой печати, позиция английских участников комиссии экспертов сводится к борьбе за ограничение функций банка исключительно регулированием репарационных платежей без присвоения ему общекредитных функций.

Но как бы ни разрешила вопрос о функциях банка комиссия экспертов, не подлежит сомнению, что в будущем функции банка несомненно выйдут за пределы регулирования репарационных платежей, а это несомненно ослабит позицию Англии в ее борьбе с Америкой за господство на мировом денежном рынке. Ибо проектируемый сверхбанк неизбежно станет орудием сверхмиллионеров с Уоллстрит в Нью-Йорке, ибо контролирующее положение в этом банке будет принадлежать несомненно им.

И, конечно, менее всего может радовать английских империалистов мнение «высоко-авторитетного лица», что в «борьбе за мир» банк будет играть более крупную роль, чем Лига Наций. В переводе на язык реальности это означает, что находящийся под контролем Америки сверхбанк будет более могущественным вершителем мировой политики, чем руководимая Англией и Францией Лига Наций.

В борьбе за мировую гегемонию американская буржуазия получит, таким образом, еще один солидный опорный пункт.

### Угробленные меньшинства

По сравнению с вопросом о сверхбанке и с присоединением Соединенных Штатов к Гаагскому Трибуналу как-то сам собой отошел на второй план вопрос о национальных меньшинствах, который должен был быть самым «боевым» вопросом на последней сессии Совета Лиги Наций. Символический удар Штреземана кулаком по столу на заключительном заседании луганской сессии заставлял предвидеть оживленные прения по этому вопросу на следующей сессии в Женеве. Этого, однако, не случилось и вся принципиальная сторона вопроса о меньшинствах оказалась смазанной.

А между тем, проблема положения национальных меньшинств стоит в послевоенной Европе с ее вновь образованными «по национальному признаку» государствами не менее остро, чем в былых империях Романовых и Габсбургов. И именно новые государства оказались очагом национального угнетения. Достаточно указать, что в Польше собственно польское население составляет лишь около 50 процентов, в Чехо-Словакии чехи составляют не более 40 проц. населения, что в Югославии из 12 млн. жителей сербы, претендующие на роль господствующей нации, составляют лишь 5 млн. человек. А наряду с этим имеются и такие очаги, как Бессарабия, Эльзас, Южный Тироль, Македония, венгерская часть Румынии и т. д.

Учитывая это своеобразие национального состава населения в новых государствах, версальские победители включили — в виде уступки меньшинствам — в договоры об образовании этих государств пункты о гарантиях соблюдения прав меньшинств в области «языка, расы и национальности». Такого рода гарантией должно быть признанное договорами право меньшинства в этих государствах апеллировать на притеснения в Лигу Наций. Такое же обязательство добровольно взяли на себя и образовавшиеся впоследствии прибалтийские государства. Надо указать, что еще в 1919 г. польский президент Падеревский указал

всемогущему тогда Клемансо на неудобство этого положения для Польши с ее наполовину инородческим элементом. Но Клемансо успокоил Падеревского указанием, что включение пункта о меньшинствах в договор об образовании польской республики может лишь упрочить власть Польши над территориями с непольским населением, прозрачно давая ему понять, что на практике этот пункт никакой роли играть не будет.

В эпоху Версальского мира Клемансо мог говорить об этом с полной уверенностью, ибо никто тогда не предполагал, что в Совете Лиги Наций будет когда-либо заседать представитель разгромленной Германии. Но времена меняются, и в эпоху Локарно победители сочли для себя выгодным привлечь Германию в Лигу Наций, считывая использовать ее в качестве участника антисоветского блока. И тогда-то и получилось парадоксальное — с точки зрения версальских победителей — положение с вопросом о меньшинствах. В то время как верные французские вассалы, в роде Польши и Чехо-Словакии, оказались под контролем Лиги Наций в своих отношениях с меньшинствами, Германия, как и другие старые государства, очутились в отношении этих государств Лига Наций не имеет права контроля над положением меньшинств.

Когда Штреземан в Лугано впервые использовал свое положение в Совете Лиги Наций для международного рассмотрения вопроса о положении немецкого населения Польши и заявил, что он внесет определенное предложение по вопросу о применении контроля Лиги Наций над положением меньшинств на следующей сессии, в Лиге Наций начался некоторый переполох. Обиженные поляки стали намекать на то, что нет никакого основания выделять в этом отношении новые государства: если Лига Наций может рассматривать жалобы немецкого населения Польши, то почему оставлять вне контроля Лиги польское население Германии (численно, впрочем, совершенно ничтожное), немецкое население в

итальянском Тироле, эльзасцев во Франции и т. д. Надо или распространить контроль Лиги Наций на все государства, или отменить его для государств, по отношению к которым он существует.

Аргумент этот был, надо признаться, вполне убедительный, но совершенно неприемлемый для Франции и Италии. Дипломатам из Лиги Наций пришлось поэтому срочно заняться изысканием средств к тихой ликвидации всей проблемы национальных меньшинств. Некоторая трудность заключалась в том, что к состоявшейся в марте сессии были представлены, помимо заявления Штреземана, вполне конкретные предложения представителя Канады сенатора Дандюрана по вопросу об изменении порядка рассмотрения жалоб меньшинства на чинимые им притеснения. Предложения эти в основном сводились к тому, что вместо келейного рассмотрения жалоб меньшинств, в результате которого эти жалобы не только не встречали со стороны Лиги Наций никакого удовлетворения, но даже не получали огласки, решения принимались бы авторитетными органами Лиги Наций после публичного разбирательства.

На сессии наиболее цинично выступили против предложений Дандюрана Бриан, Залесский и представитель Румынии Титулеско, заявившие, что эти предложения подрывают престиж суверенных государств, который должен стоять выше прав национальных меньшинств. (Во имя этого «престижа» Лига Наций оставила без рассмотрения 15 заявлений македонцев на притеснения их в Греции и Югославии, как об этом заявил недавно Комитет защиты македонцев.) Несколько более уклончиво держал себя Чемберлен, желавший перед выборами несколько ослабить сложившееся в Англии убеждение, что во внешней политике он действует по указке Бриана.

В результате прений вопрос был похоронен по первому разряду. Образована была комиссия из представителей Японии (Адачи), Англии (Чемберлен) и Испании (Кинонес де-Леон) для представления доклада к июньской

сессии. За три месяца эта «почтенная» комиссия найдет способы окончательно угробить вопрос, столь «некстати» для Франции и ее вассалов поднятый Штреземаном и Дандюраном.

### Неотпразднованный юбилей

Для достижения этого результата комиссии о меньшинствах следует лишь пойти по тому пути, которым шло английское правительство в вопросе о ратификации вашингтонской конвенции о 8-часовом рабочем дне. Эта конвенция могла бы отпраздновать в этом году десятилетний юбилей своего существования, если бы... если бы она существовала как реально действующий международный закон о продолжительности рабочего дня. Но в том-то и дело, что буржуазные правительства, голосовавшие за принятие конвенции в 1919 г., когда самое сохранение капиталистического строя находилось под непосредственной угрозой, за эти 10 лет не только не успели ратифицировать вашингтонской конвенции, но и пошли на попятный.

Честь этого попятного движения принадлежит Англии. В 1926 г. британский министр труда сэр Стиль-Мейтланд созвал в Лондоне конференцию министров труда 5 важнейших стран и предложил «уточнить» нормы, вытекающие из законодательного ограничения рабочего времени. Министры труда Франции, Италии, Германии и Бельгии охотно откликнулись на предложение своего британского коллеги и приняли ряд постановлений, значительно «обезвреживавших» (с точки зрения предпринимателей) применение на практике закона о восьмичасовом рабочем дне.

После лондонской конференции, казалось, можно было уже безобязательно ратифицировать злосчастную конвенцию. Но английский министр продолжал «изучать» вопрос. Плодом этого изучения явились вопросы, которые он поставил на последней сессии административного совета Международного бюро труда. Вопросы эти по существу сводились к тому, что надо различать между часами действительной работы

и временем нахождения на работе; что 48 часов в неделю могут быть распределены и не поровну на 6 рабочих дней, а, например, 5 дней по 9 часов и 1 день—3 часа, и т. п. Смысл всех этих вопросов-поправок сводился к тому, чтобы сделать применение закона о восьмичасовом рабочем дне настолько «гибким», чтобы не мешать администрации предприятий обходить его как угодно.

На сессии сэр Стиль-Мейтланд особого успеха не имел. Представители профсоюзов квалифицировали его предложения — а он заявил, что Англия не ратифицирует конвенции, пока его предложения не будут рассмотрены — как простой саботаж работы Международного бюро труда. Ему указывали довольно язвительно, что если британское правительство считало нужным требовать пересмотра Вашингтонской конвенции по существу, — а к этому сводятся предложения британского министра труда, — то для этого не нужно было размышлять 9 лет.

Против предложений представителя консервативного правительства Англии высказались даже представители правительств Бельгии, Франции, Германии, Италии. Все они признали, что медлить дальше с ратификацией Вашингтонской конвенции невозможно, что начать наново пересматривать эту конвенцию, после того как в целом ряде стран 8-часовой рабочий день уже введен и ведутся подготовительные работы по согласованию соответствующих национальных законов с нормами, предусмотренными конвенцией, было бы в высшей степени неудобно. В виде компромисса германский мин. труда с.-д. Виссель предложил включить в конвенцию постановления лондонской конференции министров труда в качестве дополняющих ее пунктов. Французский министр труда Лушер заявил, что хотя он против излишнего уточнения постановлений Вашингтонской конвенции, но он все же согласен принять предложение Висселя о включении в конвенцию пунктов, принятых на лондонской конференции. «Но, — заявил он, — в предложениях британского министра труда есть новые пункты, а это совер-

шенно неприемлемо, ибо было бы неблагоразумно удлинять список такого рода требований».

Во конце концов, голоса разделились поровну, и вопрос повис в воздухе. Британское правительство достигло цели, и вопрос о ратификации Вашингтонской конвенции отодвинулся в неопределенное будущее. Реформисты всех мастей возмущены до крайности. В течение стольких лет они боролись против коммунистов, указывавших, что рабочему классу нечего ждать улучшения своего положения от Международного бюро труда при Лиге Наций, и убеждали рабочих в том, что вот-вот в согласии с предпринимателями и буржуазными правительствами они проведут в качестве международного соглашения реформу, за которую рабочий класс упорно боролся перед войной.

Выразителем этого разочарования реформистов явился вице-председатель Амстердамского Интернационала Жуо, заявивший, что с провалом Вашингтонской конвенции «Международное бюро труда перестанет быть центром притяжения рабочего класса, и это пойдет лишь на пользу Москвы». Это несомненно верно, но надо сказать, что и до того рабочие массы не возлагали особых надежд на это детище Версальского мира. Провал Вашингтонской конвенции является ударом не по рабочему классу, который будет отстаивать 8-часовую рабочий день собственными силами, а по вождям реформистских союзов, лишаящихся опорного пункта для своей соглашательской деятельности.

### Снова Китай...

Расхождение в мнениях по вопросу о Вашингтонской конвенции не помешало административному совету Международного бюро труда единогласно выразить благодарность своему директору Альберу Тома за его поездку в Китай и Японию для расширения деятельности бюро на Дальнем Востоке. Не это, однако, обстоятельство заставляет нас от Европы и Америки перейти к Китаю, а та напряженная обстановка, которая снова начинает создаваться в этой стране, от хода событий

в которой несомненно будет в значительной степени зависеть все дальнейшее развитие мировой истории.

Это наше утверждение не покоится на субъективном преувеличении роли освободительного движения в Китае. Через какие бы перипетии ни шло дальнейшее развитие китайской революции, несомненно одно: на арену мировой истории выходит народ, который по численности составляет около одной четверти населения всего земного шара. Если прибавить к этому, что в Китае мы имеем запутанный узел противоречащих друг другу империалистических интересов, то становится понятным, какие перспективы открывает борьба китайского народа, стремящегося из объекта международной политики превратиться в один из ее могущественнейших факторов.

Ежедневные длинные телеграммы в «Times» от собственных корреспондентов о положении в Китае в достаточной степени свидетельствуют о том, что империалистическая буржуазия с напряженным вниманием следит за разворачиванием той исторической драмы, которая разворачивается сейчас в бывшей империи богдыханов. Тем более необходимым представляется разобраться в сложном сплетении движущих сил китайской революции друзьям освобождения трудящихся Китая.

Состоявшийся в марте с'езд Гоминдана совпал с моментом обостренной, уже почти дошедшей до вооруженного столкновения борьбы между центральным нанкинским правительством и так называемой гуансийской группировкой, в руках которой находились почти все провинции Южного Китая от Кантона до Ханькоу. Лидерами этой группировки были Ли Тин-син, известный кантонский диктатор, Ли Цзун-жен — председатель уханского (Ханькоу) правительства, и генерал Бай Цзун-чи, известный душитель пролетарских организаций в Шанхае. В последние месяцы Бай Цзун-чи командовал войсками, расположенными севернее Шанхая и Нанкина на границе провинции Шандунь.

Когда Чан Кай-ши, как председатель нанкинского правительства, начал про-

водить политику единой власти в Китае и, в частности, отменил несколько распоряжений уханского областного правительства (дело шло о смещении гуансийцами дружественных Нанкину генералов), гуансийцы демонстративно приступили к стратегическим передвижениям своих войск. Рассчитывая на поддержку Бай Цзун-чи, который должен был ударить на нанкинские войска с севера, гуансийцы надеялись раз навсегда положить предел притязаниям Чан Кай-ши на подчинение ему всех провинциальных правительств.

Маневр этот, однако, не удался. Чан Кай-ши удалось быстро обезвредить Бай Цзун-чи и тем самым отвести стратегическую угрозу с севера. Чан Кай-ши в спешном порядке помирился с своим бывшим заклятым врагом, генералом Тан Шен-чи (в последнее время он был не у дел), бывшим начальником той армии, которой командовал в последнее время Бай Цзун-чи. Тан Шен-чи было предложено снова принять командование своей прежней армией и последняя охотно приняла это назначение, так как Тан Шен-чи в значительной степени был ее основателем и пользовался в ней огромным авторитетом.

Устранение Бай Цзун-чи дало возможность Чан Кай-ши разговаривать с гуансийцами на юге языком победителя. Декретом центрального правительства был распущен уханский политсовет (так называется руководящий орган провинциальных правительств) и арестован кантонский диктатор Ли Тин-син. Председатель уханского политсовета Ли Цзун-жен, уже раньше подавший в отставку, поспешил скрыться из города.

Временно Чан Кай-ши, повидимому, удалось одержать серьезную победу над гуансийцами и значительно поднять авторитет центрального правительства. Эта стратегическая победа была подкреплена также победой течения Чан Кай-ши на с'езде Гоминдана, что, впрочем, объясняется в значительной степени тем, что делегаты на с'езд в большинстве случаев не выбирались местами, а назначались центром, преобладающая роль в котором принадлежала Чан Кай-ши.

Дело, однако, не только в стратегии. Борьба между Чан Кай-ши и гуансийцами носит глубоко политический характер и отражает соотношение классовых сил Китая. Для того, чтобы понять значение происходящей борьбы, необходимо присмотреться к тому, что представляют собою обе борющиеся группировки.

Чан Кай-ши является вождем буржуазной китайской интеллигенции и промышленной буржуазии Центрального Китая. Основным устремлением этой буржуазии является создание единого Китая на основе буржуазного государственного порядка. Она за компромисс с империалистами, но все же стремится к тому, чтобы этот компромисс не привел бы к расчленению Китая и полной потере им своей независимости. Она ориентируется поэтому преимущественно на американский капитал, который был бы противовесом хищническому империализму Японии, пытающейся закрепить свои экономические позиции в Северном Китае отторжением этих провинций от китайской республики. Нанкинский министр финансов Сун-Фо ведет переговоры с Соединенными Штатами о займе, но американские капиталисты по своему обыкновению требует предварительного упорядочения финансовой системы Китая и в этих целях наделили Сун-Фо своими советниками.

Чан Кай-ши понимает также, что одними только штыками не удержишься у власти, особенно в такой стране, как Китай, которая еще не вышла из состояния революционного брожения. Он пытается создать для себя опору в массах, и в последнее время организованная по его инициативе Центральная комиссия массового воспитания при исполнении Гоминдана усиленно взялась за организацию рабочих союзов и рабочих кооперативов, совершенно разгромленных в 1927—1928 годах. Такие союзы уже созданы среди железнодорожников, моряков и горняков.

О характере этих союзов можно составить себе представление по издаваемой комиссией массового воспитания литературе. В одном из воззваний, выпущенном отделением этой комиссии в Ханькоу, говорится, что роспуск

профсоюзов отнюдь не является целью Гоминдана и был лишь временной тактической мерой, принятой для того, чтобы устранить влияние коммунистов, подчинивших себе союзы и отступивших от трех принципов Сун Ят-сена. «Народ должен понять, — говорится в этом воззвании, — что его врагами являются империалисты, милитаристы, коммунисты, анархисты, фашисты, компраторы (спекулянты), джентри и старое чиновничество, а вовсе не фабриканты и купцы, или мелкие и средние землевладельцы».

Смысл этого воззвания ясен. Чан Кай-ши проведет единый фронт буржуазии и пролетариата против остатков феодализма и пытается на этой основе восстановить прежнее влияние Гоминдана в массах. В успехе, однако, позволительно сомневаться, ибо Центральный Китай с его «европейски» развитой промышленностью и «азиатскими» формами эксплуатации трудящихся является мало подходящей ареной для пропаганды классового мира и единства интересов буржуазии и пролетариата.

Сунятсеновское учение уже потеряло свое притягательное значение для масс. Если в 1925 и 1926 гг. — особенно в связи с поведением Сун Ят-сена в последние годы его жизни — компартия еще уживалась внутри Гоминдана в качестве его левого крыла, то сейчас между компартией и Гоминданом идет борьба по всей линии. Нелегальные воззвания, выпускаемые в Шанхае коммунистической партией, уже прямо говорят о трех принципах Сун Ят-сена, как о буржуазной идеологии, и этот идейный рост китайской компартии свидетельствует в то же время о повышении классового сознания промышленных рабочих Китая.

О том же свидетельствует и полное банкротство левого крыла Гоминдана, сторонники которого собрали на съезде Гоминдана всего 13 голосов. Вождь этого течения Ван Тин-вей сейчас плачется о том, что Чан Кай-ши переборщил в борьбе с коммунизмом, забывая о том, что в 1927 г. он дал свое «левое» благословение на расправу чанкайшистских генералов с рабочими и крестьянами Китая.

Зато более серьезным чем Ван Тин-вей противником для Чан Кай-ши являются гуансийцы. Не потому только, что в их распоряжении имеется реальная сила, мы уже видели, что Чан Кай-ши, занимая центральную позицию и пользуясь авторитетом центральной власти, умеет довольно искусно лавировать между генералами, натравливая одного на другого, и, пожалуй, сумел бы одержать победу над гуансийцами, если бы дело дошло до прямой войны.

Нет, влияние гуансийцев в южном Китае имеет свою опору в экономических особенностях всего этого района. Там нет крупной индустрии, господствующим классом являются не фабриканты, а купцы, население в городах состоит не из фабричных рабочих, а из кустарей, ремесленников, мелких торговцев. Если китайские фабриканты в Шанхае видят засилье своих иностранных конкурентов, то кантонские купцы ведут оживленную внешнюю торговлю, вывозя сельскохозяйственные продукты и изделия местных кустарей и покупая в обмен иностранные фабрикаты. Компрадоры, т. е. спекулятивного типа посредники между иностранными купцами и населением, не вызывают здесь такой ненависти, как в Шанхае. Среди местного населения очень сильны сепаратистские тенденции,—местные купцы признают только такую центральную власть, которая возможно меньше вмешивается в их дела,—и эти сепаратистские тенденции всячески раздуваются англичанами, имеющими свою базу на расположенном против Кантона острове Гонконг. Гонконгские банки финансируют всю кантонскую торговлю.

Очень любопытны сообщения кантонского корреспондента «Таймс». Он всячески восхваляет кантонского диктатора Ли Тин-сина и с нескрываемой злобой говорит о нанкинцах, особенно о нанкинском мин. финансов Сун-Фо «с его американскими друзьями». Так и в назревающей сейчас борьбе между крупно-промышленным центром Китая и более отсталым Югом дает себя чувствовать англо-американское соперничество.

В нашем очерке борющихся политических группировок Китая мы ни слова не сказали о Фын Юй-сяне, который держит в своих руках огромные провинции Шеньси, Ганьсу и Хэнань, а в последнее время все больше распространяет свое влияние и на провинцию Шандунь. В борьбе Чан Кай-ши с гуансийцами он не принимал активного участия, хотя под предлогом выполнения приказаний нанкинского правительства расширил, как мы уже указывали, свои провинции в Шандуне и несколько передвинулся в направлении Ханькоу. Но в то же время он послал в Нанкин заявление об отказе от поста военного министра нанкинского правительства, и когда заявление это не было напечатано в нанкинских газетах, опубликовал его особым циркуляром по всему Китаю. В с'езде Гоминдана он не принял никакого участия, а гоминдановские организации в подчиненных ему провинциях послали с'езду протест против нажима исполкома при назначении кандидатов.

Если принять во внимание, что Фын Юй-сян командует наилучшей дисциплинированной армией в Китае, а также исключительную осторожность и неограниченное честолюбие этого маршала, то следует признать, что Чан Кай-ши имеет в нем очень серьезного противника, вдобавок противника, который никогда не примирится с ролью второго лица после Чан Кай-ши.

А наличие в Китае трех могущественных военных группировок (Чан Кай-ши, Фын Юй-сян и гуансийцы), отношения между которыми уже в данный момент весьма напряженные, заставляет думать, что Китай далеко еще не изжил полосу междоусобных войн. А в процессе этих войн не может не выдвинуться новая сила—многомиллионные массы рабочих и крестьянских масс, интересы которых не отражает ни одна из борющихся военных группировок. Китайская революция еще не умерла,—Китаю придется пережить не только полосу междоусобных войн, но и грандиозную гражданскую войну, которая расчистит почву для нового, подлинно независимого Китая.



## Книжное обозрение

1. А. МАКАРОВ «Путь секундной стрелки». А. Лежнева.—2. НИКОЛАЙ КОЛОКОВ «Мед и кровь». Бориса Анибала.—3. ИВ. ТАЧАЛОВ «Мрачная повесть». Арк. Глаголева.—4. ДИКАЛО ЗАМАНА. Д. Фибиха.—5. А. П. БИБИК «Полное собрание сочинений». Т. Ш. Старый токарь. Бориса Гроссмана.—6. ПЕТРО ПАНЧ «Голубые эшелоны». С. Пакентрейгера. 7.—К. МИТРЕЙКИН «Бронза». И. Поступальского.—8. БЕЛА ИЛЛЕШ «Тисса говорит». Б. Песиса.—9. Эм. МИНДЛИН «На Красине». НИК. ШПАНОВ «Во льды за Италией». Ник. Смирнова.—10. Т. ГРИЦ, В. ТРЕНИН, М. НИКИТИН «Словестность и коммерция». Н. Прянишникова.—11. «СКАЗКИ ИЗ РАЗНЫХ МЕСТ СИБИРИ». Р. Шор.—12. Я. ТУГЕНДХОЛЬД «Художественная культура Запада». Б. Терновца.—13. ТАРАС ГУЩА «В глуши Полесья». Б. Гроссмана.—14. МИХАИЛ КОЦЮБИНСКИЙ «Сочинения». Л. Тимофеева.

**А. Макаров.**—«Путь секундной стрелки». «Федерация». Стр. 178. Цена 1 р. 50 к. Папка 10 к.

Для рассказов А. Макарова характерно проникающее их лирическое начало. Оно деформирует их сюжетное построение, вернее—оттесняет сюжет куда-то вглубину, на «третий», на далекий план, как ландшафт на картинах старинных мастеров. События происходят какой-то алогической, невнятной цепью,—и скрепа рассказа—основное настроение, основная лирическая тема, проходящая сквозь него. Герои Макарова—на одно лицо. Но это лицо любопытно. Пред нами человек без твердых принципов, без выработанной жизненной философии, относящийся к людям ровно и равнодушно. Он почти с одинаковым вероятием и успехом может и помочь человеку и, походя, его убить. Этическое его безразличие иногда удивляет (повесть «Путь секундной стрелки»). Но есть одно, что если не примиряет с ним, то, по крайней мере, делает его понятным. Это—тонкая лирическая настроенность, огромная любовь к жизни, поэтическая полнота ощущений. «Уж очень я люблю весну, и поэтому мне многое простительно», говорит один из его персонажей. Эти слова можно поставить эпиграфом к книге. Конечно, автор не отвечает за своих героев: они живут собственной,

автономной жизнью. Их равнодушие (к людям)—не его равнодушие. Но есть в самой манере Макарова кое-что, роднящее его с его героями. То же сильное лирическое дыхание, та же любовь и жажда жизни наполняют и его страницы. Те рассказы, где он изменяет (да и то наполовину) своим излюбленным персонажам («Карьера товарища Османа») — менее удачны. Но социальную природу макаровских героев установить не трудно: они сродни странникам Багрицкого, босякам и чудакам Горького. Это люди, у которых слабая связь с коллективом, желание итти собственным, пусть окольным, путем. Они где-то между богемой и люмпен-пролетариатом. От центрального образа писателя следовало бы заключить и о его собственной социальной природе. Но это было бы, пожалуй, слишком поспешно, принимая во внимание, что Макаров-прозаик только начал раскрываться настоящим образом.

Но то, что вне сомнения, это — его своеобразный талант, не затасканные, свои, тонкие средства выразительности, мягкий юмор, большая поэтическая искренность. Писательский путь Макарова скользок, на нем легко оступиться, но про Макарова можно сказать словами его героя: уж очень он любит весну, и поэтому ему многое простительно.

*А. Лежнев.*

**Николай Колоколов.** — «Мед и кровь». Роман. Изд. «Федерация» Москва 1928. Стр. 233. Ц. 1 р. 75 к., в переплете—2 р.

«Мед и кровь» — своеобразная хроника маленького провинциального городишки, славного своими пчеловодами и огородниками, в глухую жизнь которого вторгается сначала война, потом революция.

Забытое начальством и обойденное железной дорогой захолустье, так, как оно изображено автором, мало чем отличается от описаний провинции, ставших общим местом для произведений такого рода и поэтому интереса не представляет.

Ничего нового не сказал Колоколов и о большевиках, казавшихся обывателям городка необыкновенно страшными и непонятными.

Стоящий в центре их предчека Накатов уже знаком нам по читанным много раз раньше рассказам, повестям и романам о революции: «Накатов... невысок, худ, сутуловат... нависал... огромный лоб. И было лицо тяжело каменным оцепененьем, а... глаза непроницаемы...» (стр. 147).

В противоположность ему доктор Долгов, неусыпно заботившийся о том, чтобы никто не кашлял и не чихал, и все его семейство обильно вымазаны медом, тем самым, которым славился городок.

Центр тяжести романа — в столкновении двух мировоззрений: большевистского, представителем которого является предчека, и непротивленческого, представляемого доктором.

Проповедуемые последним христианское непротивленчество и аполитичность медицины оказываются несостоятельными, когда Накатов, беспощадно расправляющийся с врагами революции, заболев, попадает в больницу, и доктор, из любви к дальним и ближним, расстреленным Накатовым, хочет его отравить, но, не решившись на это, отказывается лечить больного, несмотря на то, что это противоречит его убеждениям лечить всех, кто бы то ни был и как бы ни поступал.

Это положение, завершенное смертью Накатова, оставленного доктором без медицинской помощи, дано Колоколо-

вым довольно остро и останавливает на себе внимание читателя.

Тему — становление советской власти — автор взял трудную, но не показал того, что советская власть не могла не быть, не могла не раздавить зеленых и белоофицерской контрреволюции.

Кроме того, у Колоколова всю тяжесть борьбы выносит один человек — Накатов, а массы читатель не видит из-за спин обывателей и банды зеленых.

Как на достоинство автора, следует указать его легкий и мягкий слог и не плохо зарисованные фигуры отдельных персонажей романа, напр., студента Соболева.

Внешность книги довольно приятна.

*Борис Анибал.*

**Ив. Тачалов.** — «Мрачная повесть». С предисл. М. Горького. Изд. «Федерация». М. 1929. Стр. 171. Ц. 1 р. 20 к., перепл. 25 к.

Книжка Ивана Тачалова должна оцениваться не как чисто беллетристическое произведение, а как «человеческий документ». Здесь нет никакой литературной «выдумки», вымышленных героев и т. п., здесь только простая безыскусственная автобиография писателя. Глубиной и остротой пережитого Тачаловым определяется значение его «повести».

Тачалов прошел тот мучительный жизненный путь, который в царской России проходило большинство так называемых писателей-«самоучек». Дорога жизни Тачалова была особенно мрачна и тяжела. Выходец из деревни, давно оторвавшийся от нее, Тачалов принужден был почти вплоть до Октябрьской революции обретаться на самом дне жизни. Автор с большой силой слова набрасывает хотя и хорошо знакомые, но вновь подлинно потрясающие картины этой черной жизни «на дне» с ее беспросветным пьянством, абсолютной нищетой, буйной поножовщиной, вечными голодовками, беспризорностью детей, рабской приниженностью женщины... Этот кошмарный быт, во мраке которого люди гибли бес-

смысленно и бесполезно, Тачаловым обнажается во всей его неприглядной и жуткой «красе».

Подробно останавливаясь на изображении мрачных сторон своей жизни, автор уделяет гораздо меньше внимания зарисовкам тех светлых моментов, которые порой все-таки озаряли тягостное существование писателя. Так, например, Тачалов почти совершенно воздерживается от сколько-нибудь подробной обрисовки того, как «захватил и всколыхнул» его «905—906 год», как он «начал знакомиться с революционными кружками и участвовать на массовках и митингах». Мало касается Тачалов и своей жизни после Октября.

Нельзя не согласиться с М. Горьким, указывающим на поучительность книжки Тачалова для нашей молодежи.

*Арк. Глаголев.*

«**Диало замана**». (Записки Никиты Лукьянова. Найдены и опубликованы Дзахо Гатуевым). Изд. ЗИФ. Стр. 156. Цена 1 р. 50 к.

Записки старика-партизана о «диало замана» (гикаловских временах, по-чеченски), о героической борьбе красногвардейского отряда Гикало на Северном Кавказе,—уверяет Дзахо Гатуев,—нашел он случайно, на глухой горской мельнице.

Литература знает многие случаи «мистификаций», когда автор скрывается за надуманной им фигурой, от лица которой ведется рассказ. Но в данном случае Гатуеву приходится верить на слово. Даже писателю, вооруженному богатейшими знаниями местной этнографии, трудно было бы передать весь тот колорит, то очарование примитивного и свежего восприятия мира, которыми пропитана книга.

«Что тут написано, в этой книге, я общупал своими руками,—говорит Лукьянов,—осмотрел своими глазами, сообразил своей головой в чистом поле, между дикими народами, где не понимали русского языка, не понимали, что такое русский человек». И этому веришь, слушая эпически-наивный рассказ Лукьянова о своих похождениях

в Чечне и Дагестане. Местный старожил, батрак, мукомол, связанный с революционной работой еще с девяностых годов, в 19-ом году он становится главным лазутчиком и фуражиром, доставляющим продовольствие засевшему в скалах красноармейскому отряду, окруженному денкинцами и фанатичными горскими племенами.

Художественное в своей безыскусственности повествование дышит искренним революционным пафосом.

«Неужели такие сильные эти бойцы, горские орлы? Разувшие, раздвешие, голодные, холодные! Ни рубашки, ни сапог, ни штанов, ни белья. Честь героям, сизокрылым орлам! У этих орлов крылья отрастают: заявляют войну всему миру буржуазии».

Рассказывает Лукьянов об отступлении отряда из Грозного, о боях в горах Чечни, о своих приключениях в районах, занятых белыми. Как известно, гикаловский большевистский отряд составлял «армию» Узуна-Хаджи (Узун-Гажи, по лукьяновской транскрипции), фанатика-арабиста, задавшегося целью создать шариатскую монархию на Северном Кавказе. Один из парадоксов революции на Востоке!.. В условиях абсолютного политического невежества, горских племен, дикарства и разжигаемого мусульманским духовенством религиозного фанатизма приходилось горсточке красных партизан воевать и насаждать основы революционного самосознания. Успеху значительно содействовала вражда горцев к казакам вообще, а еще больше хозяйничанье денкинцев в захваченных ими районах. Чеченцы и дагестанцы то и дело пополняли отряд свежими силами.

Бесхитростные и колоритные записки участника гражданской войны на Кавказе, знакомящие читателя с одной из интереснейших страниц нашего недавнего прошлого, имеют полное право не только на свое существование, но и на успех. Особенно в наше время, когда так велик и так симптоматичен интерес читательской массы ко всякого рода мемуарной литературе.

*Д. Фибих.*

**А. П. Бирик.**—«Полное собрание сочинений». Т. III. «Старый токарь». Расказы. Изд. «Недра». М. 1929. Стр. 182. Ц. 1 р. 50 к.; лалка 25 коп.

Третий том собрания сочинений А. П. Бирика тематически связан с революцией 1905 года. Центральный мотив рассказов, написанных до пятого года, — стремление пролетариата к свободе, предчувствие революции; но и в позднейших вещах автор так или иначе отталкивается от той же эпохи.

Главный персонаж рассказов — рабочий, преимущественно токарь, не оторванный от своего класса, а живущий в нем и ради него. Сознательному пролетарию-революционеру иногда противопоставляется либо отсталый рабочий, ограничивающий круг своих интересов станком, семьей и пивной — таков Михайла, отец молодого токаря Леньки («Приятели»), либо доносчик — такое Суслов («Старый токарь»).

Не биографической справкой (Бирик в течение ряда лет работал на производстве) определяется в конечном счете социальное лицо автора. Важно, что свой опыт и знания он сумел оформить художественно. Принадлежность Бирика к пролетарской литературе обуславливается не только его идеологией, персонажами, но и совокупностью всех элементов стиля. Образная структура прозы Бирика насыщена производственными метафорами и сравнениями. Краб воспринимается токарем Шелестовым («К морю») как «живая диковинка чугунного литья». Думы и чувства действующих лиц приобретают тоже производственный оттенок.

Все эти «гайки» и «диковинки чугунного литья» вполне уместны. Они органичны, вытекают из мироощущения автора и его персонажей.

Однако, при сугубой материальности, конкретности рассказов, в них есть «космизм» (последний вообще встречается у Бирика). Особенно показателен слабый «символично-революционный» рассказ «Свирель сатаны». Рабочий Гудимов рвется куда-то ввысь, — и язык становится возвышенно-шаблонным. Когда Бирик прибегает к наивному пафосу и «женственным» образам («Волна...» неизменно упала на берег, разверну-

лась на гравии шалью с кружевной бахромой, прошептала. И сейчас же обратнo, сверкнет и уносит прозрачную шаль», стр. 81), открывается от «своих» выразительных средств, — проза его становится расплывчатой, неубедительной; повествование ведется вяло, в нем мало динамики.

Хороши описания массы, быта, производственных процессов. Слабее — обрисовка персонажей.

Наиболее удачные вещи в третьем томе — «К морю», «День причастия», «Приятели».

*Борис Гроссман.*

**Петро Панч.** — «Голубые эшелоны». Рассказы. Перевод с украинского Н. А. Хоменко и Н. М. Рудина. Издательство «Федерация». Стр. 409. Ц. 2 руб. 30 коп.

В двух работах Панча особенно ощутимо сказываются поиски нового стиля и нового жанра. В рассказе «С моря», посвященном одному из драматических эпизодов потемкинского восстания, Панч прибегает к приемам кино, — они использованы, однако, только с внешней стороны; у кино взята эффектная, по преимуществу, зрительная сила воздействия; автором не найдены способы передачи внутренней жизни своих персонажей, но и в передаче внешнего действия чувствуется еще неопытная, ищущая рука оператора. В «Повести наших дней», посвященной восстановлению стекольного завода, Панч пытается рабковский язык поднять на некую художественную высоту, стилизовать, оттолкнувшись от документальности, непосредственности, наивности начинающего писать рабочего. Очень может быть, что не совсем удачный перевод не дает возможности уловить удачу Панча на этом пути.

Только два рассказа — «Без козыря» и «Голубые эшелоны» — написаны без подчеркнутых формальных экспериментов. В обоих сказывается эволюционность писателя, несмотря на то, что он почти не прибегает к новшествам. В первом рассказе повествуется о среднем, примелькавшемся, несколько ограниченном человеке, постепенно постигающем идиотизм империалистической войны и кончающем самоубий-

ством. Второй рассказ тоже посвящен мятущемуся середняку, украинскому интеллигенту-романтику, на собственном опыте постигающем смысл домо-рощенного национально-политического движения. Противопоставленная ему, законспирировавшаяся в обличье избалованной аристократической дамочки большевичка Нина Георгиевна проведена автором через весь рассказ, как фигура, скрепляющая интригу. Ее подлинная суть так и остается неизвестной читателю, хотя она очень эффективно объявляет себя под конец коммунисткой.

И в этих последних рассказах про-биваются некоторые поиски: желание найти способ одним штрихом исчерпать доминирующую черту действующего в массе человека, но найдя такой штрих, автор так часто повторяет его, что он быстро теряет силу своего воздействия.

Необходимо отметить, что перевод сделан поверхностно, внешне, что в редких случаях снисходительный юмор автора звучит в русском контексте и что, очевидно, промахов в переводе очень много. Мы судим о буквальности перевода по следующему. Приводятся украинские четверостишия, а в примечании русский перевод. Одна строка дана так: «Зачем по ножкам лошадь скачет?» Получается смешная бессмыслица. Украинское «в ниженьках» может быть понято двояко: в ногах (умершего казака) или же внизу. Такие юмористические лягусы в переводе вряд ли содействуют передаче авторского юмора.

*С. Пакентрейгер.*

**К. Митрейкин.** — «Бронза». Отделение Всесоюзн. объедин. раб.-кр. писателей. «Перевал». Ульяновск. 1928. Стр. 32. Ц. 20 к.

Изданная в провинции, эта маленькая книжка может быть отмеченной. В стихах провинциала очень редко находишь тяготение к настоящей квалификации и отсутствие пустых риторических возгласов. «Бронза» ульяновского поэта, несомненно, еще во многом является и сырым материалом, но и это сырье довольно доброкачественно. В К. Митрейкине и после беглого про-

смотра «Бронзы» чувствуется поэтически одаренный человек.

Красные соколики  
Клевали католиков,  
Крыльями шуршали  
По

Над

Варшавой.

Высоко — высоко ли  
Пролетали соколы,  
Цокали пули,  
Целуя на-смерть...

Уже в этом втором стихотворении книжки видна работа над словом. Поляки стали исключительно «католика-ми» (прием распространения в народной песне, — здесь, правда, незаконный, потому что под Варшавой наши войска меньше всего думали о «католиках»...), стих инструментовал достаточно толково. «На стройке» — по существу сплошной перепев многочисленных «строительных» стихов и ничем не выделяется ритмически, но и в ней сразу замечается уместное сравнение. «И там, и тут среди балок деревянных мелькает остов крепким кирпичом, как будто из рубахи враной наружу прет румяное плечо...». Стихотворения «Плаванье», «Шиплет перья рука виртуоза» и «Забастовка» сработаны в виде развернутых метафор — задание, обличающее наличие в К. Митрейкине изобретательности. Рифмовка поэта не обнаруживает в нем обычной для провинции косности. Наконец, совершенно ясен весь ученический путь (безусловно, далеко не законченный), от блуждания в слепую — к выучке у акмеистов, Пастернака, Сельвинского.

Идеи стихов К. Митрейкина покамест, конечно, новизной не блещут, но в них нет ничего, что могло бы повредить гражданскому росту поэта (если не считать «католиков»). К Митрейкин радуется бодростью, непоказным веселием. Он трезво увлечен предметным окружающим, его лирический двойник из пикла «Дом отдыха» здоров до исступления:

На солнце прожарившись до пузырей,  
Всю ночь извивался в огненных просты-  
нях...

...В окна билась о стекла свирель,  
И звезды лупились коростой.

Положительная оценка дебютной книжки К. Митрейкина, однако, не долж-

на помешать хотя бы краткому разбору слабых сторон «Бронзы». Ясное дело, в книжке много очень наивных и банальных строк. «Голодные кони» у К. Митрейкина потрясающе страшно «скрипят зубами»; «упругие льдины» у поэта «блестящие, словно сталь». Инструментовка в «Партизаньей», переходит в детскую игру («Свинцовые стайки вдогонку: дзынь, дзынь! — Стой-ка, стой-ка, дзукин-дзын...»). Развернутая метафора в «Плавани» разработана чересчур напыщенно («море рычало», «вздыхались смерчи» и т. п. — все это слишком громко и незамысловато для «плавания» на зачете...). «Обрыв» местами эстетически сделан сочно, но беспомощно повторяет старые темы Зенкевича, «чувство шестое» в заключении прямо вырвано из Гумилева и никакого нового идейного выхода К. Митрейкин здесь не нашел. Молодому поэту еще не хватает вкуса и умения по-своему изменять и комбинировать приемы и замыслы учителей.

Выводы: К Митрейкину необходимо работать углубленно; поэтические данные у него имеются; «Бронза» же должна для него иметь значение только дебюта.

### *И. Поступальский.*

**Бела Иллеш. — «Тисса горит».** (По стопам революции в Средней Европе). Роман, книга 1. Предисловие Бела Куна. Перевод Сергея Бернер. Изд-во Моск. Рабочий. М.-Л. 1929. Стр. 335. Ц. 2 р.

События венгерской революции уже вполне обозримы, — они могут быть показаны в известной перспективе. Построив такую перспективу, углубив ее до периода империалистической войны и предвоенной эпохи, автор решил при этом не только задачу коммуниста, политика, которому важно после «переоценок» венгерской революции врагами показать ее настоящую цену, но и задачу писателя, романиста. Книга Иллеша действительно представляет «великие надежды, великие разочарования... широкую, большую, связанную картину»... Цельностью, органичностью «Тиссы» Иллеш обязан ясной идеологической концепции

своего романа. Наряду с политическим диагнозом дается психологический анализ, бытовые характеристики, драматическое изображение событий венгерской революции. Драма победившего венгерского пролетариата — в пленении его хитроумным аппаратом трусливой, ханжествующей социал-демократии, с которой рабочий класс Венгрии пытался ужиться, отчасти ради того, чтобы дольше продержаться и таким образом отвлечь на себя удар антантовских войск, предназначавшихся для нападения на Советскую Россию. В сущности, это книга о двух революциях, — «младшей» венгерской и «старшей» русской. В одной из глав описан знаменитый разговор Ленина и Бела Куна: «Советская Россия. Советская Венгрия. Будапешт. Москва. Радиостанция — Чепель. Радиостанция — Москва»... Во всей книге слышится этот диалог, голоса двух революций.

Начав с эпического описания последних дней и боев советской Венгрии, автор отодвигает свою повесть назад, к предвоенным годам. В книгу вступает автобиография, жизнеописание, наряду с историей венгерской революции — история молодого революционера Петра Кавача, крестьянского сына, потом рабочего, солдата, большевика. Старшее поколение. — это Пойтек, настоящий рабочий вождь, мастер революционной работы, Отто Корвин, интеллигент-революционер, старый крестьян, бунтарь Кечкеш. Особое место занимает Анталфи, красноармеец, бывший актер, в котором революционный темперамент соединяется с либелльным «размахом» авантюриста.

Почти не прибегая к сатире, Иллеш дает уничтожающее изображение другого лагеря — венгерских «эсдемов» и австрийских социал-демократов, партийных чиновников, проповедующих вегетарианство в классовой борьбе и в личной жизни.

Так складывается бытовой облик революции — пролетарская масса, заводские дворы, революционная улица, фронт; с другой стороны — буржуазная толпа, мещанские дома и кафе, эсдемовские «комитеты».

Для изображения Будапешта 1919 г., его политической разногласности, революционного подъема, смятения буржуазии и ее пособников Иллеш прибегает к абзацированной прозе кричащих газетных заголовков и плакатных лозунгов, перемежающейся лирико-публицистическими отступлениями автора.

Этот отчасти афористический, отчасти «шумовой» язык расшевеливает несколько сухое, несвободное от перепадов и растянутостей повествование «Тиссы». Неудачны некоторые образы. Например, рассуждение о том, что: «Лицо мира меняется теперь за день сильнее, чем прежде за годы» предваряется таким наивным анимистическим лубком: «Медленно ползет по нему (небу — Б. П.) бледное солнце. Не угнаться ему за жизнью. То и дело прячется оно., закрывает глаза, не хочет ни на что глядеть, недоумевает, что тут происходит»... (Курсив мой — Б. П.) Стандартно выглядит некая рыжая буржуазная дама, соблазняющая Петра по правилам романов, с которыми книга Иллеша не должна иметь ничего общего. Вообще же недостатки «Тиссы» не приводят к срывам и могут быть легко устранены.

Первая книга этого романа — значительное достижение в писательской работе Бела Иллеша.

*Б. Песис.*

**Эм. Миндлин.** — «На «Красине», повесть о днях красинского похода. ЗИФ, 1929 г. Стр. 278.

**Ник. Шпанов.** — «Во льды за Италией», вступительная статья Б. Г. Чухновского, «Молодая Гвардия». Стр. 222.

Героическая экспедиция «Красина» останется одной из самых великодушных страниц в истории великих арктических походов.

Книги Эм. Миндлина и Ник. Шпанова, непосредственных наблюдателей похода, имеют неоспоримую фактическую ценность. Однако, ценность их далеко не равнозначна.

От авторов книг, как от журналистов-бытописателей, читатель вправе требовать точной и строгой документально-

сти, соединенной с увлекательной живостью повествования — свойств, являющихся неременной основой художественного репортажа.

Книга Эм. Миндлина, задуманная как «повесть о человеке племени красинцев» и написанная с настойчиво-утомляющими претензиями на углубленную «беллетристичность», неудачна. Выпавшая из рамок репортерски-информационного жанра, она оставляет впечатление тематической и стилистической хаотичности. В ней, наряду с неуместным эстетским любованием «природой», чувствуется и несомненное наличие выдумки, окрашенной в фальшиво-театральные, оперные тона, что особенно заметно, например, в воображаемом разговоре Дзаппи и Марино во льдах. Разговор двух заброшенных, гибнущих людей ведется в книге Миндлина в таком «стиле»:

«—... Ты сильный и крепкий, Дзаппи. Ты дойдешь до земли, найдешь людей и скажешь, где находится генерал и другие. Тогда всех спасут. Ты поклонись от меня нашей земле Италии и родным...».

Или еще:

«— Самолет, летит самолет! Он летит, чтобы спасти тебя и меня. Мы еще будем жить, Мариано. Я буду любить тебя всю жизнь. Мы теперь связаны навсегда...».

Декоративность логически пополняется в книге сентиментальностью. Многие характеристики и зарисовки Миндлина выдержаны в пасторально-«грациозной» форме — больше раздражающей, чем убеждающей.

«Чухновский напоминает девушку... Но над девушкиными глазами Чухновского сдвигались иногда мужественнейшие брови...»

«Мать финна Мальмгрена... была вся в черном, с большим черным монистом на шее, в лаковых туфельках — седая женщина, лет шестидесяти, с подстриженными волосами, похожими на великодушную седую гриву».

Неприятен в книге и язык, — искусственно-ритмичный, навязчиво-«эффектный», утомляюще-кудрявый.

Книга Миндлина, за которой нельзя, разумеется, отрицать документального значения, может с успехом выполнить роль... учебного руководства — под заголовком:

«Как не надо писать журналисту».

Недостатки, обесценивающие работу Миндлина, присущи, отчасти, и книге Ник. Шпанова, — они особенно сказываются в языке, опять-таки, лишенном необходимой строгости и простоты. Но в целом книга Шпанова удачна и значительна. Автор, ограничившись скромной задачей, — правдивого воспроизведения действительности, — сумел предельно наполнить свою книгу ценнейшим, хорошо проработанным и систематизированным материалом. Б. Г. Чухновский пишет в предисловии к книге: «не сбиваясь на роман, Шпанов сумел напитать дневник достаточно интересными эпизодами, которые, несомненно, с интересом будут читаться...»

Ник. Шпанов, действительно, не стремился к беллетристическим формам, но все же книга его читается как увлекательнейший — в хорошем смысле — роман. Напряженность действия, заострение внимания на типических деталях, выразительные и яркие образы людей, уверенных покорителей стихии — таковы главнейшие достоинства книги Шпанова. Художественное оформление документа и факта выдержано в книге с необходимым тактом и вкусом.

Кроме всего, в книге Шпанова есть ряд эпизодов и данных, частично разъясняющих и освещающих наиболее трагические моменты итальянской экспедиции. Особенно интересны приводимые автором подробные рассказы: Дзаппи — о смерти Мальмгрена, и чешского ученого Бегоунека — о катастрофе «Италии».

Как со стороны документальности, так и со стороны художественной обработки, книга Ник. Шпанова — одна из лучших русских книг о походе «Красина».

Обе довольно хорошо изданные книги снабжены чрезвычайно ценными иллюстрациями. В смысле полноты и обилия иллюстраций первенство при-

надлежит, однако, книге Эм. Миндлина, — если даже не считать портретов, изображающих автора.

*Ник. Смирнов.*

**Т. Гриц, В. Тренин, М. Никитин. — «Словесность и коммерция». (Книжная лавка А. Ф. Смирдина).** Под редакцией В. Б. Шкловского и Б. М. Эйхенбаума. Изд. «Федерация» М. Стр. 373. Ц. 3 руб. 25 коп.

Тема и даже самое заглавие книги, оказывается, не новы. Еще в 1835 г. проф. Шевырев поместил в «Московском наблюдателе» статью под заглавием «Словесность и торговля», в которой вскрыл «торговое направление» современной ему словесности с такой четкостью и обстоятельностью, что авторам нашей книги, говоря о той эпохе, нечего было прибавить от себя, а оставалось лишь обильно цитировать статью Шевырева и отклики на нее в тогдашней журналистике (стр. 279—297). Книга вообще сделана в излюбленном у формалистов жанре «лит-монтажа», являясь чем-то в роде сводки свидетельств современников о книжной торговле в России в XVIII в. и в первой половине XIX века.

Такая сводка, вообще говоря, была бы очень полезна, но рецензируемая книга лишь похожа на сводку: для настоящей сводки по указанному вопросу она очень неполна (есть Смирдин, но отсутствуют или почти отсутствуют Глазуновы, Сленин, Плюшар и др.), загромождена посторонним материалом и бессистемна (о чем ниже), а главное — интервалы из разных источников заполнены не научно-деловыми комментариями, а безответственным и подчас маловразумительным разглагольствованием на формалистском жаргоне, не помогающим, а — напротив — мешающим читателю осмыслить цитатный материал.

На стр. 59 авторы заявляют: «В плане нашей работы нам интересно не отвлеченное изучение русской книжной торговли, а исследование вопроса о воздействии книжной торговли на литературный ряд». Но вопреки этой декларации, вопреки мобилизованному материалу, вразрез с общей установкой книги, поскольку она выражена в са-



мом заглавии ее, авторы с упрямством начечкиков твердят формалистские зады на тему об автономности «литературного ряда». Оказывается, Карамзин «при издании альманаха... не рассчитывал на рынок и не преследовал коммерческих целей, а выполнял историческое задание(?), продиктованное ростом лирических жанров в русской поэзии» (Стр. 190. Курсив везде наш. — Н. П.). Успех бес-тужеворылеевской «Полярной звезды» объясняется тем, что «как раз в это время определилась тенденция(?) создания русской прозы, и потому «Полярная звезда» (включившая в себя эту прозу) попала в ялосу литературного внимания» (стр. 194). На стр. 207—208 авторы не согласны с утверждением «Северной пчелы», что «падение альманахов всецело обусловлено спекулятивной деятельностью их издателей». «Здесь были, — возражают они, — и другие причины, чисто литературного порядка. В 30-х годах XIX в. произошел отлив поэтической волны. Движущие центры литературы переместились.

От «автономности» литературного ряда один шаг до утверждения его примата. На стр. 346 кризис книжной торговли начала 40-х годов объясняется главным образом возросшей ролью толстого журнала, при чем это обстоятельство трактуется, как «своеобразное воздействие литературной формы (журнала) на экономический ряд». Эта историко-литературная метафизика вполне естественна для авторов-формалистов, но вводить ее в книгу о «Словесности и коммерции», да еще вопреки ясно выраженному собственному намерению вывести первую из последней — по меньшей мере странно.

Неволью является мысль, что авторы хотели просто спекулировать марксистски звучащим заглавием, тем более что книга вообще халтурна. Авторы имели неосторожность привести на стр. 284 одно место из Шевырева, являющееся для них убийственным. Сетуя по поводу коммерческого характера современной ему литературной продукции и выводя из условий гонорага самый стиль ее, Шевырев писал: «Куда

девалась заветная краткость, о которой проповедывал Гораций?.. Посмотри, как наш писатель то, что можно сказать одним словом, выражает предложением, а предложение... вытягивает в длинный предлинный период, период — в убористую страницу, страницу — в огромный лист печатный... В чем тайна всего этого? В том, что цена печатного листа есть 200 или 300 рублей.. Нынче слова — деньги, слог, чем грузнее, тем выгоднее. От такого слога растет статья, толстеют листы книги, вздувается самая книга, как калач у пекаря... Извини, что мое сравнение пахнет дымом пекарни, но оно вполне выражает мысль мою». Это не в бровь, а прямо в глаз нашим авторам. При внимательном просмотре их книги получается впечатление, что главной задачей авторов было не решение поставленной проблемы, а стремление «сделать» во что бы то ни стало книгу, и при том толстую книгу.

В самом деле: история книжной лавки Смирдина, долженствовавшая, согласно подзаголовку, составить центральное ядро книги, отодвинута в самый конец ее, занимая три последних главы (из десяти). Остальные главы, очевидно, должны служить «рассредоточению» Смирдина, о чем говорится в предисловии, т. е. отысканию его предшественников в предыдущую эпоху. Кое-что в этом направлении сделано: подчеркнут товарный характер лубочной литературы XVIII в., выяснена роль академических переводчиков в процессе профессионализации русских литераторов. Но число страниц, отведенное этим вопросам, не превышает 50, между тем как все «рассредоточение» заняло 200 страниц с лишним. Что же там еще? А вот не угодно ли: глава IV, посвященная «академическому переводчику и срамному поэту Баркову», глава совершенно не увязанная с темой книги и включенная в нее с явным «коммерческим» расчетом, как некий гвоздь книги. С темой книги увязан другой академический переводчик, Кондратович, но ему уделено всего-на-всего две страницы, — очевидно в виду непопулярности его именно у «широкой публики». Восхитительно, между прочим, объяснение барковщины:

«Эпоха Баркова детерминировала его нецензурное творчество тем, что в печати могли существовать только определенные лирические жанры. И так как Барков не находил пути в печать, он начал писать стихи, которые вообще не могут быть напечатаны, стихи, предназначенные для распространения в быту» (стр. 143). Если так, то совершенно непонятно, почему не сделался порнографом вышеупомянутый Кондратович или другой литературный неудачник из того же сословия казенных переводчиков — некий Золотницкий (стр. 148). Любопытно также это представление о быте и бытовой поэзии, как о чем-то сплошь похабном: «Нецензурные стихи Баркова представляют собой крайнее выражение бытовой поэзии — поэзии, установленной на быт» (стр. 142).

Глава VII (Эволюция альманахов) — чисто «академический» очерк, составленный в полном отрыве от какой-либо «коммерции» и годный скорее для литературной энциклопедии, если бы он не был так формалистически специфичен. («Мелкие стиховые жанры, диалектически сменившие высокую оду, поднялись из быта в литературу и потребовали своей канонизации». Интересно, — из какого быта? Приличного или неприличного?).

Главы I—III и V, посвященные книжно-рыночным отношениям досмирдинской эпохи, говорят по-разному об одном и том же. Так, о литературном гонимом говорится в трех разных местах: очевидно, авторы складчинной книги так спешили с ее выпуском, что даже не договорились как следует, кому о чем писать. В конце II гл. на 12 страницах сообщаются общеизвестные сведения о просветительской деятельности Новикова, служащие явно к заполнению пространства, так как в конце очерка о Новикове автор главы прямо говорит: «Лубочная литература, пользовавшаяся успехом у купеческого и мещанского читателя, не только не издавалась Новиковым, но он боролся с ней. Поэтому Смирдин не является продолжателем Новикова» (стр. 90).

А чтобы читателю не было очень скучно, его время от времени угощают разными острыми вещами, в роде из-

вестного памфлета Воейкова «Дом сумасшедших» и его же «Парнасского адрес-календаря», совершенно некстати помещенных в 1-й главе, носящей заглавие: «Литературный рынок до Смирдина и лубочная литература».

Что касается изложения, то шевыревский упрек в употреблении «длинных предлинных периодов» к нашим авторам неприменим. Они пишут короткими, лапидарными фразами, «под Шкловского», но у них есть другое «стилистическое» средство для утолщения книги: почти каждое предложение они начинают с красной строки. Они, конечно, могут ссылаться на необходимость «графически-интонационного выделения» синтаксических единиц, но читателю читать эту рубленую прозу так же трудно, как если бы красных строк совсем не было: злоупотребление красной строкой равносильно упразднению ее, в том и другом случае читателю приходится самому производить логическое членение текста.

Когда-то противники твердого знака высчитывали, насколько этот лишний графический знак утолщал книгу. Думается, что манера начинать каждое предложение с красной строки в этом смысле гораздо действительнее.

Книга имеет довольно изящную внешность, в ней дюжина недурных репродукций, но тем более хочется предостеречь от нее широкого читателя, особенно такого, для которого платить 3 рубля за виньетку и картинки — накладно. Редактура Шкловского и Эйхенбаума, вероятно, мнимая, или же она крайне небрежна. Скорее всего, лидеры формализма дали свои имена для рекламы, и недаром авторы книги так часто и с таким пиететом ссылаются на них, особенно на первого, при чем всякий раз, не ограничиваясь инициалами, выписывают имя отчество «метра» полностью. Что это: почтительность или... стремление и тут выгнать лишнюю страницу?

*Н. Прянишников.*

**«Сказки из разных мест Сибири».**  
Под редакцией проф. М. К. Азадовского. Труды кабинета русской литературы при педагогическом факультете Ир-

кутского государственного университета. Том первый. Иркутск. 1928. Стр. VIII+170. Ц. 3 р.

Перерождение жанров в устной словесности — одна из интереснейших проблем современной русской фольклористики. Под влиянием коренной ломки деревенского быта, более широкого проникновения в деревню книги и, в особенности, газеты, распространения грамотности — исчезают старые жанры анонимной устной словесности, сменяясь обычными формами индивидуального творчества. Но исчезают они не сразу, а своеобразно эволюционируя, порождая в своем исчезновении ряд промежуточных между устными и письменными жанров. Особенно интересна в этом отношении эволюция устной прозы: прежняя бывальщина, сказка уступают сейчас место таким жанрам, как устные новеллы, устные мемуары и автобиографии и даже устные романы (ударение на первом слоге); фантастическая и архаическая тематика сменяется мотивами актуальной действительности, воспоминаниями гражданской войны; изменяется самый язык, ломается торжественная застылость обрядового сказа; ярче выступает творческая личность рассказчика.

Перед современной русской фольклористикой стоит, таким образом, ответственная и важная задача — уловить, зафиксировать и сохранить это отражение смены двух эпох в творчестве народных масс. И поэтому нельзя не порадоваться появлению тщательно обработанных и умело собранных материалов по современной сказке Сибири.

Двадцать записанных текстов сборника, — в том числе замечательные по мастерству сказа сказки Широшника и Скабелина, — по своей тематике — еще наследие старины: это — или волшебные сказки («Старик-охотник и заветная птичка», «Иван-царевич и Чудище», «О трех богатырях» и др.), или нравоучительные новеллы, связанные с древней письменной литературой (сказка «Любовь жены» воспроизводит, напр., сюжет древнерусской «Повести о Карпе Сутулове»). В волшебной тематике характерны отголоски мифических ска-

заний сибирских татар («Татарин-охотник»).

Эти особенности собранного материала легко объясняются и возрастом сказочников (52, 65 и даже 79 лет) и отдаленностью глухих местностей, где производилась запись. И все же в этой старине можно уже уловить проблески нового.

Прежде всего — в языке. У нас почему-то принято считать, что крестьянство отталкивается от «новых слов и словечек». В действительности, как показывает беспристрастная запись, сказочник охотно украшает свою речь этими новыми словечками—словечками городского быта, военной службы, газеты («как ваше семейное положение?», «маршлут», «человек образованной, очень развитой», «в плепорцию», «доказать фактична», «был я царем, а теперь сделался самым низким спикулльбтом», и т. д.).

Наблюдаются некоторые изменения и в области тематики. Если сюжеты и остаются традиционными, то все оформление их приобретает явно реалистическую окраску — сказочник не только широко пользуется мотивами городского и, в частности, казарменного быта (что, впрочем, типично и для старой «солдатской сказки»), но и старается исторически уточнить действие («Ат старизмах я не аташол» — важно заявляет один из сказочников), придает своему рассказу книжный облик. Характерно, напр., «заглавие» старой по сюжету сказки: «Исторический роман, «Дом терпимости» сочинения Гоголя».

И наконец, — что особенно важно, — чувствуется сдвиг и в идеологии сказки, начинают острее звучать некоторые социальные мотивы. Так, в сказке «Любовь жены» сказочник—пожилой крестьянин — влагает в уста распутного патриарха следующие рассуждения: «Вот я от архирея получил доходности — подати церквей. Хресвянская шея толста. Пойдут с божьей матерью, много наберут денек, хлеба и холста. Дак вот тебе за твой дорогой привет сто рублей... Што жалеть хресьян: у них веть всево много. Собираецца копечками, петачками, а у меня составляющца сотни»...

Не менее характерны примечания другого сказочника Антона Чирюшника к рассказываемой сказке: «Именитый купец был, буржуй парядашний», «Раньше ведь разбойники буржуйчиков щупали»...

А ведь оба эти сказочника — люди пожилые, уже перевалившие за полвека!

К сожалению, размеры журнальной рецензии не позволяют подробно остановиться на сказках разбираемого сборника, представляющего, бесспорно, полезный вклад в русскую фольклористику не только по характеру собранных материалов, но и по удачному их изданию. Краткое, но содержательное предисловие проф. Азадовского, вводные статьи собирателей с характеристиками изученных ими сказочников, указатель параллелей в важнейших сборниках сказок значительно облегчают пользование сборником. Не вполне четкой представляется лишь фонетическая сторона записей.

Внешность сборника, использующего в качестве заставок орнаментальные мотивы сибирских кустарей, очень хороша.

*Р. Шор.*

**Я. Тугендхольд.** — «Художественная культура Запада». Сб. ст. ГИЗ. М.—Л. 1928. Стр. 190. Тир. 3.000 экз. Ц. 4 руб.

Сборнику Я. А. Тугендхольда «Художественная культура Запада» суждено было стать последней книгой, вышедшей при жизни писателя. В сборник включены наиболее значительные из статей, написанных Я. А. Тугендхольдом за последние годы. Читатели «Печати и Революции» с удовольствием встретят знакомые им по прежним годам журнала этюды: «Предвестник Оноре Домье» (напечатано было в «П. и Р.» 1924 г., кн. 5-я «Оноре Домье»), «Современные течения» (см. «П. и Р.», кн. 4-я «К характеристике современной французской живописи»), «Плакат на Западе» (см. «П. и Р.», 1927, кн. 1-я «Плакат на Западе»), «Стиль нашего времени» (см. «П. и Р.», 1925 г., кн. 7-я «Стиль 1925 года»). Статьи перенесены в сборник почти без изменений.

Кое-где Тугендхольд внес незначительные дополнения, в большинстве же случаев первоначальный текст остается интактным.

Написанные по случайным обстоятельствам (смерть Кл. Моне, выставка немецкого искусства в Москве, выставка революционного искусства Залада в Москве, Парижская выставка декоративных искусств, и т. п.), на темы часто друг другу далекие, статьи сборника, тем не менее, получают удачную спайку, и не только внешнюю, создаваемую искусным разнесением их на основные отделы («Социальный жанр в искусстве Запада», «Живопись современной Франции», «Художественная промышленность»), но и внутреннюю, коренящуюся в единстве общего подхода писателя к рассматриваемым явлениям. Не будучи законченным представителем последовательной марксистской методологии, Тугендхольд практически, в ряде случаев, близок к марксизму; эта близость делает его анализ плодотворным и острым. Написанные увлекательно, живым языком, статьи сборника обнаруживают характерные для Тугендхольда свойства: ясность в постановке задач, меткость характеристик, выпуклость создаваемого образа. Тугендхольд не только пишет об искусстве, он сам является художником в блестящем своем красноречии, в творческом горении, сквозящем на любой странице. Коренная черта Тугендхольда в его отношении к искусству, это — любовь, увлечение, с которым он относится к описываемому явлению. Сила Тугендхольда не в полемике, не в разоблачении, а в горячей любви, в убежденности, заражающей читателя, в пламенной апологетике.

Заваленный повседневной журнальной работой, Тугендхольд мечтал в последние годы о написании большого, научно проработанного труда, посвященного проблемам современного искусства, труда, обобщающего его долготелние наблюдения и опыт. Судьба не позволила ему выполнить свое намерение и, конечно, рассматриваемая книга лишь в малой степени может вознаградить нас за эту потерю.

Сборник открывается статьей, посвященной Домье, быть может, наиболее удачной работой Тугендхольда за последние годы. Блестящий популяризатор, Тугендхольд особенно ценен тогда, тогда подводит читателя к ясно для него самого выкристаллизовавшемуся историческому образу. Таков Домье Тугендхольда—«живой учитель графического мастерства», «мастер воинствующей сатиры», «беспощадный разоблачитель буржуазного строя», чье искусство было «огненным сплавом реализма с романтикой, быта с героикой». Сочными, полными жизни мазками Тугендхольд воссоздает монументальный, художественно четкий образ великого романтика.

Пафос Тугендхольда несколько снижается, когда от героической фигуры Домье он переходит к рассмотрению явлений, более близких нашей современности (см., напр., характеристики Бренгвина, Стейнлена, Мазерееля в статье «Художники-современники»). С этой точки зрения особенно интересен этюд, посвященный Клоду Моне. Пламенный пропагандист импрессионизма, Тугендхольд выступает здесь с известной переоценкой этого художественного течения, стремясь «разложить» на его составные, положительные и отрицательные элементы. Он совершенно правильно выявляет «ограниченность буржуазной художественной мысли», сказавшуюся в импрессионизме, его «иллюзорность», его «пассивный характер». Можно только согласиться с утверждением Тугендхольда, что «нам ближе искусство, пытающееся подойти к миру не только с чисто колористическими, но и с активно творческими, конструктивными и композиционными намерениями».

Поиском современности посвящена наиболее ответственная и привлекающая внимание статья «Современные течения». Она создавалась в 1925 г., в результате короткой поездки Тугендхольда в Париж на международную выставку декоративных искусств (которая дала автору также и материал для статьи «Стиль нашего времени»). Несмотря на длительный разрыв с Западом, Тугендхольду удалось пра-

вильно констатировать и выявить некоторые существенные черты переживаемых французским искусством сложных процессов. Правда, в его отношении к французской живописи чувствуется известная двойственность, отмеченная им же самим. С одной стороны, он вынужден констатировать, что «боевой пыл французского художества простыл, его пульс бьется менее полно, его лозунги измельчали». Настала пора индивидуализма и эклектизма... Гегемония Парижа над мировыми зкусами поколебалась»; этому несколько противоречат заключительные выводы статьи, данные после беглого, и, как всегда, блестящего, очерка современных течений: «надо думать, это современное французское искусство сочетает классическую волю к «организации», к «порядку» с буйным темпераментом романтизма... Великое своей здоровой сущностью, своей связью с природой, с «натурой», искусство Франции таит в себе, в своих собственных традициях, источники и ресурсы омоложения и оздоровления». Можно не соглашаться с Тугендхольдом в ряде частных (напр., с выдвижением Андре Лота, типичного эклектика-рационалиста, в первую шеренгу французских живописцев), можно отметить ряд досадных неточностей, происшедших от слишком беглого соприкосновения с материалом (утверждение, что Кислинг—немец, и т. д.), можно жалеть об отсутствии в общей картине характеристик ряда крупнейших явлений (Сегонзака, Моро и др.), но нельзя не быть увлеченным широко и смело набросанной картиной современного французского искусства. В частности, безусловно удачной получилась у автора обрисовка как кубистического течения, так и неоромантизма, идущего ему на смену. Заметим, что эту последнюю проблему Тугендхольд выдвинул одним из первых.

Прекрасно изданная, с обильным, разнообразно подобранным иллюстративным материалом, книга Тугендхольда несомненно ответит давно назревшей потребности читателя в знакомстве с основными явлениями художественной жизни Запада.

*Б. Терновец.*

**Тарас Гуца (Якуб Колас).—«В глуши Полесья».** Перевод с белорусского К. Яковчика. Гиз. «Творчество народов СССР». М.—Л. 1929. Стр. 211. Ц. 1 р. 50 к.

Тарас Гуца (Якуб Колас) известен в Белоруссии не только как писатель, но и как революционер. Активный участник национально-освободительного движения («белорусское возрожденчество») Константин Мицкевич (настоящая фамилия) подвергался репрессиям, сидел в тюрьме. Его литературная деятельность началась до Октябрьской революции (газеты «Наша Доля» и «Наша Нива»). Якубу Коласу принадлежит много отдельных изданий: сборники стихов — «Песни жалбы», «Водгульле» (1923), поэмы — «Сымон Музыка» (1925), «Новая зямля» (1927, 2-е изд.), художественная проза — «Апавяданьні» (1908), «Родны зьявы» (1912), «Крок за кроком» (1924), «На просторах жыцця», драма «Антось Лата» (1918) и другие стихотворные и прозаические произведения. Они проникнуты страданием за белорусский народ, стремлением к его освобождению от великодержавного гнета. В них — песни грусти, «жалбы», иногда уступающие место бодрым призывам; революционные тенденции писателя носят, главным образом, народнический характер.

Повесть «В глуши Полесья» написана в 1921—22 гг. Время действия — начало 900-х годов. Персонажи — сельская интеллигенция, крестьянство. Центральный человеческий образ — учитель. На общем фоне обывательской жизни сельской интеллигенции, с одной стороны и, инертности крестьян — с другой, выделяется Лобанович — учитель, пришедший в глушь с благородными намерениями. Он пытается пробудить здесь интерес к знаниям, отойти от преподавательского штампа. Беседы Лобановича с крестьянами не выходят, однако, за пределы круга вопросов, возбуждаемых самим учителем, ибо полешуки — люди забытые, привыкшие относиться ко всему с опаской. Лобанович стал хорошим учителем, но не смог вытащить жителей глуши из рутинны. Лобанович требует ультра-идеального отношения

к женщине, он противник интриг, но и здесь взгляды и порывы учителя разбиваются о косность и пошлость окружающих. Несколько человек, сочувствующих Лобановичу, ничего сделать не могут, да и не пытаются.

Тарас Гуца хорошо воспроизводит быт, описывает будни сельского населения Полесья. Повесть лишена динамически развивающегося действия, занимательной фабулы. Эмоционально насыщенные лирические отступления гармонируют с характером вещи — в них тоже звучат ноты «жалбы». Типы четко обрисованы, они запоминаются. Иногда повествование походит на скучноватую идиллию, особенно в тех местах, где автор воспевае любовь Лобановича к дочери обездчика, панне Ядвисе. Некоторые описания слишком подробны, протокольны («описательство»). Не всегда Гуце хватает ярких выразительных средств; отсюда пристрастие к малозначущим определениям («Ядвися была необыкновенно привлекательна». «Это был необыкновенно мрачный, чернородый батюшка», и т. п.).

В повести Тараса Гуцы много недостатков. Но эту вещь нельзя расценивать как художественное произведение литературного сегодня. Необходимо учесть, что написана она вскоре после революции, когда и русская литература не отличалась большими художественными достоинствами. «В глуши Полесья» обладает определенной общественной значимостью, ибо автор в образе Лобановича дал обобщенный тип учителя-народника, характерный для данной среды и данного времени. Автор сам не считает тему исчерпанной и разрабатывает ее «в дальнейших произведениях, которые и будут служить продолжением этой повести». Его книга «У глыбі Палесься» (вышла в 1927 г., на русский язык не переведена), посвящена той же теме.

*Борис Гроссман.*

**Михаил Коцюбинский.** — «Сочинения». Том I. Избранные произведения. Перевод с укр. под ред. Ф. Конара. ГИЗ. 1929. Стр. 454. Ц. 2 р. 50 к.

М. Коцюбинский — одна из наиболее крупных фигур дореволюционной

украинской литературы. До войны он был переведен почти целиком, новому же читателю М. Коцюбинский почти совершенно неизвестен. Между тем, творчество этого писателя, в котором выразились лучшие традиции старой украинской интеллигенции, вполне заслуживает внимания как своим содержанием, — и до сих пор социально интересным, — так и выдающимися литературными достоинствами.

Деятельность свою Коцюбинский начинал как писатель реалистически-бытового направления («Харитя», «Пятизлотник»), типа Нечуя-Левницкого и Гринченко, однако, он быстро перешел к яркому импрессионизму, который как нельзя более соответствовал глубокому психологизму его творческой манеры. Для Коцюбинского существенны не столько действия его героев, сколько их переживания и настроения (в этом отношении очень характерен рассказ «В дороге»). Даже такая большая вещь, как «Фата Моргана», рисующая дореволюционное село, разгром помещичьего дома и затем самосуд крестьян, — несмотря на такую насыщенность событиями, все же почти не ощущается как сюжетная и проводится Коцюбинским с большим мастерством на психологических и импрессионистических деталях. Коцюбинский является очень интересным мастером психологической новеллы, и такие его вещи, как «Что написано в книгу жизни», «Цвет яблони», «Смех» — поистине блестящие образцы этого жанра. Чрезвычайно характерным для Коцюбинского является также исключительное место, которое он отводит природе в своем творчестве («Хоть мне и стыдно, — писал он в одном из писем, — но я должен сознаться, что больше люблю природу, чем людей»). «Природа, — как заметил один из его критиков, — является одним из его главных героев» (см. напр., такие вещи, как «Intermezzo», «На острове», не

включенные в этот том, «Тени забытых предков», и др.). Это отношение к природе тесно связано у Коцюбинского с культом красоты и гармонии, вытекавшим из его индивидуалистической установки. Творчество его тем в особенности и любопытно, что оно очень ярко выражает позицию украинской интеллигенции того времени, которая, с одной стороны, под давлением реакции культивировала индивидуалистические настроения, поиски красоты и гармонии в природе, так как их не было в обществе, а с другой, — под влиянием нараставшего общественного движения, неизбежно должна была с особым, напряженным вниманием присматриваться к этому движению, в особенности на Украине — к движению крестьянскому (это двойственное устремление очень ярко видно в рассказе «Intermezzo»).

Большое изобразительное умение, тонкий, а иногда прямо беспощадный («Цвет яблони») психологический анализ, большая наблюдательность, прекрасная, яркая и в то же время лаконичная язык, все это — наряду с глубоким содержанием, не устаревшим еще во многом и до сих пор, — делает Коцюбинского незаурядной величиной не только в масштабе дореволюционной украинской литературы. В рецензируемом первом томе его сочинений собраны наиболее яркие рассказы и повесть «Фата Моргана». Не совсем понятно их расположение, нарушающее хронологический порядок, и почему-то не везде указаны даты написания рассказа. Если еще имело смысл помещать рассказ «Харитя», как образец первого периода творчества Коцюбинского, то включение «Маленького грешника», в особенности «Нюрнбергского яйца» — рваных и слабых опытов — необъяснимо. Перевод, за исключением некоторых небольших промахов, удовлетворителен.

*Л. Тимофеев.*

# КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ОТЗЫВ

ГОС. ИЗДАТЕЛЬСТВО.

«П Р И В О Й».

ЛЕСАЖ, АЛЭН-РЕИС.—История Жиль Блаза де-Сантильяна. Роман. Обработка и предисл. А. Дермана. С иллюстр. 1929. Стр. 402. Цена 2 р. 75 к.

ЛЕБЕДЕВ, Д. А.—Домик на Сакмаре. Роман из жизни Башкирии. 1929. Стр. 246. Ц. 1 р. 75 к.

ОРАНКОКИЙ, С. А.—Основные вопросы марксистской социологии. Том I. 1929. Стр. 245. Ц. 2 р. 50 к.

ШИРВАНЗАДЕ, А. М.—Злой дух. Повесть. Пер. с арм. 1929. Стр. 94. Ц. 60 к.

МОРУА, Андре.—Путешествие в страну эстетов. 1929. Стр. 64. Ц. 30 к.

«Н Е Д Р А».

СЕРАФИМОВИЧ, А.—Революция, фронт и тыл. 1929. Стр. 293. Ц. 1 р. 25 к.

КУРАЗОВ, И. Ф.—Введение в методологию педагогики. 1929. Стр. 121. Ц. 1 р.

ВЕРЕСАЕВ, В. — Эллинические поэты (собр. соч., т. X). 1929. Стр. 268. Ц. 2 р. 50 к.

РЕЙЗИН, А.—Рассказы и новеллы. Пер. с еврейского. 1929. Стр. 179. Ц. 1 р. 25 к.

ВАНЕК, Карел.—Приключения бравого солдата Швейка. Часть 8-я. 1929. Стр. 221. Ц. 1 р. 25 к.

ЕГО ЖЕ. — Живая жизнь. Часть 2-я (собр. соч., т. VII). 1921. Стр. 250. Ц. 2 р.

ГУЩА, Тарас.—В глуши Полесья. Перев. с белорусск. 1929. Стр. 211. Ц. 1 р. 50 к.

ГРИН, А.—Джесси и Моргиана. Роман. 1929. Стр. 270. Ц. 2 р.

БИБИК, А.—К широкой дороге. Роман. Изд. 8-е (собр. соч., т. I). 1929. Ц. 2 р. 75 к.

«ФЕДЕРАЦИЯ».

ГАРТНЫЙ, Ц.—Повести и рассказы. Пер. с белорусск. 1929. Стр. 213. Ц. 1 р. 50 к.

ИЗД. «КРАСНАЯ ГАЗЕТА».

ВИННИЧЕНКО, В. — Борьба. Пер. с укр. 1929. Стр. 259. Ц. 1 р. 90 к.

ГЕЛСУОРСИ, Дж.—Остров фариесов. Роман. 1929. Стр. 200. (Прилож. к журн. «Кр. Панорама»).

ЗАМОЙКИЙ, П. — Канитель. Повести и рассказы. 1929. Стр. 204. Ц. 1 р. 75 к.

ЕГО ЖЕ, Талисман. Пер. с укр. 1929. Стр. 289. Ц. 2 р.

«ГОЛОС РАБОЧЕГО ЧИТАТЕЛЯ».—Соврем. худож. литература в свете массовой рабочей критики. 1929. Стр. 206. Ц. 1 р.

КЛЫЧКОВ, С.—Сахарный немец. Роман. Изд. 2-е. 1929. Стр. 404. Ц. 3 р. 20 к.

ФРАНКО, Иван. — Борислав смеется. Повесть. Пер. с укр. 1928. Стр. 287. Ц. 1 р. 60 к.

ЕГУДИН, Г.—Метеоролог-любитель. 1929. Стр. 38. Ц. 15 к.

ШКЛОВСКИЙ, В. — Сентиментальное путешествие. 1929. Стр. 330. Ц. 2 р. 75 к.

«КАНТОНСКАЯ КОММУНА».—Сборник статей и материалов. 1929. Стр. 320. Ц. 4 р.

КОСТЕР-де, Шарль. — Легенда об Уленшпигеле. 1929. Стр. 160 + 180 (не окончено).

ЧЕШИХИН, В.—Г. И. Успенский. Критико-биограф. очерк. 1929. Стр. 382. Ц. 4 р.

«ПУГАЧЕВЩИНА».—Том 2-й. Из следственных материалов и официальной переписки (Центрархив). 1929. Стр. 494. Ц. 5 р.

КУКЛИН, Г. — Ребята и кони. 5 рассказов из жизни деревенских ребят. 1929. Стр. 42. Ц. 30 к.

«ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА».

РУДНЕВ, В. В. — Горький - революционер. 1929. Стр. 125. Ц. 75 к.

ФЛОБЕР, Г.—Собр. соч. Т. I. Госпожа Бовари. Роман. 1929. Стр. 160 (не окончено).

«ВОКРУГ СВЕТА».—Путешествия и приключения №№ 1, 2, 3, 4. 1929. Ц. 10 к. номер.

СЕРАФИМОВИЧ, А.—Железный поток. 1929. Стр. 189. Ц. 30 коп.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».

ФАДЕВ, А.—Разгром. 1929. Стр. 191. Ц. 30 к.

МАЦКЕВИЧ, С.—Днепрострой. О пред. проф. А. Горева. 1929. Стр. 95. Ц. 80 к.

ЛИДИН, Вл.—Обычай ветра. Рассказы 1926—1928. 1929 г. Стр. 203. Ц. 2 р. 20 к.

КОЛОДНАЯ, А. И.—Интересы рабочего подростка. 1929. Стр. 101. Ц. 90 к.

«ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ».—Ежемесячн. иллюстр. журнал № 1. 1929. Стр. 79. Ц. 50 к.

КОРОБКОВ, Як.—На острове ножа. Воспоминания. Том II. 1929. Стр. 253. Ц. 2 р. 50 к.

СИНЕГУБ, С.—Записки чайковца. 1929. Стр. 341. Ц. 1 р. 90 коп.

ВСЕМИРНЫЙ ТУРИСТ.—Журнал. № 1. 1929. Стр. 31. Цена 15 коп.

«МОСК. Т-ВО ПИСАТЕЛЕЙ».

КАМАНИН, Ф.—Свадьба моей жены. Роман. 1929. Стр. 152. Ц. 1 р. 50 р.

ЛЕОНОВ, Николай. — Голубые потемки. 1929. Стр. 131. Ц. 1 р. 30 к.

## ПО П Р А В К А.

В книге третьей журнала «Новый Мир», на стр. 171 напечатано:

А вот что читаем мы в статье Сергея Рыльского:

«Этот ликующий, упивающийся своим триумфом павлин, — лающий и воющий...».

Следует читать:

А вот что читаем мы в статье Сергея Рыльского:

«Этот ликующий, упивающийся своим триумфом филин, — лающий и воющий...».